



Дафна Дю Морье
Стеклодувы

Annotation

Пятидесятилетняя француженка Зоэ Розиио случайно знакомится на вечеринке со своим двоюродным братом-англичанином, о существовании которого она до сих пор даже не подозревала. Оказывается, в жизни ее дяди Робера была тайна, известная лишь матери Зоэ, престарелой мадам Дюваль...

История Великой французской революции, рассказанная через историю простой французской семьи.

- [Дафна Дю Морье](#)
 - [Пролог](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)

- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Эпилог](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)

- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Дафна Дю Морье
Стеклодувы

Пролог

Однажды в июне 1844 года мадам Софи Дюваль, урожденная Бюссон, дама восьмидесяти лет от роду, которая приходилась матерью мэру Вибрейе, небольшого городка в департаменте Сарт, поднялась с кресла в гостиной своего дома в Ге-де-Лоне, выбрала из стойки в холле свою любимую трость, позвала собаку и направилась, как обычно по вторникам в это время дня, по короткой подъездной аллее к воротам.

Она шла бодро, быстрым шагом человека, не подверженного – или не желавшего поддаваться – обычным слабостям преклонного возраста; ее живые синие глаза – заметная черта ее, в общем, ничем не примечательного лица – внимательно смотрели по сторонам, то вправо, то влево; она отметила, что нынче утром не разровняли гравий на аллее, бросила взгляд на не подвязанную должным образом лилию, увидела неаккуратно подстриженный бордюр на клумбе.

Все эти огрехи будут в свое время исправлены, об этом позаботятся ее сын-мэр или она сама; ибо, несмотря на то что Пьер-Франсуа исполнял должность мэра Вибрейе вот уже четырнадцать лет и возраст его приближался к пятидесяти годам, он тем не менее прекрасно знал, что дом и все имение Ге-де-Лоне являются собственностью его матери и что во всех делах, касающихся ухода за домом и его содержания, окончательное слово принадлежит именно ей. Это имение, которое мадам Дюваль и ее муж в свое время, на рубеже двух веков, приобрели с тем, чтобы поселиться там, когда они удалятся от дел, было невелико, всего несколько акров земли и небольшой дом; но это была их собственность, они его купили, заплатили за него деньги, что дало им право на статус землевладельцев, приравняв, к великой их гордости, к «бывшим», к владетельным сеньорам, которые кичились тем, что владеют землей по праву рождения.

Мадам Дюваль поправила вдовий чепчик, покрывающий пышные седые волосы, собранные в высокую прическу. Она еще не успела дойти до конца подъездной аллеи, как услышала давно ожидаемые звуки: звякнула калитка, потом она закрылась, и вот уже садовник –

ему еще предстояло получить выговор, – который был в то же время грумом, посыльным и вообще выполнял все необходимые работы по дому, шел ей навстречу, держа в руках почту, принесенную из Вибрейе.

Почту обычно приносил ее сын-мэр по вечерам, возвращаясь домой, если было что приносить; но раз в неделю, каждый вторник, приходило совсем особое письмо из Парижа, письмо от ее замужней дочери мадам Розии, и поскольку это было самое драгоценное событие в жизни старой дамы за всю неделю, она не могла дотерпеть до вечера. И вот уже несколько месяцев, с тех пор как супруги Розии переселились из Мамера в Париж, садовник по особому распоряжению мадам отправлялся за несколько километров в Вибрейе, спрашивал на почте письма, адресованные в Ге-де-Лоне, приносил их и отдавал ей в собственные руки.

Это он и проделал сейчас; сняв шляпу, он вручил ей ожидаемое письмо, сопровождая привычным замечанием:

– Мадам может быть довольна.

– Благодарю, Жозеф, – ответила она. – Ты знаешь, как пройти на кухню, пойдешь посмотреть, не осталось ли там для тебя кофе.

Можно было подумать, что человеку, проработавшему в Ге-де-Лоне добрых тридцать лет, надо было напоминать о том, что он знает, где находится кухня. Она подождала, пока садовник скроется из виду, и только тогда пошла следом за ним, так как это тоже было частью ритуала: дожидаться, пока слуга отойдет на почтительное расстояние, и только тогда мерным шагом, в сопровождении собаки, направиться вслед за ним, держа в руках нераспечатанное письмо; подняться по ступенькам, войти в дом, затем в гостиную, снова сесть в кресло у окна и предаться наконец долгожданному удовольствию – прочесть письмо от дочери.

Мать и дочь были связаны между собой крепкими узами, так же как некогда, много лет тому назад, Софи Дюваль была связана со своей матерью Магдаленой. У сыновей, даже если живешь с ними под одной крышей, свои заботы, свои дела, жена, политические интересы, а вот дочь, даже если у нее есть муж, как, например, у Зоэ, – кстати сказать, довольно способный доктор, – всегда остается частью матери, она всегда ее дитя, ее поверенный, с ней можно разделить радость и горе, она хранит семейные словечки, давно забытые сыновьями.

Горести дочери были отлично известны – если не сейчас, то в прошлом – самой матери: мелкие размолвки между мужем и женой, которые порой встречаются в семейной жизни, были знакомы и мадам Дюваль, ей случалось их пережить, так же как и всевозможные хозяйственные затруднения, высокие цены на рынке, внезапные болезни, необходимость рассчитать прислугу – словом, все те разнообразные обстоятельства, из которых состоит жизнь женщины.

Письмо было ответом на то, которое она написала дочери неделю назад в связи с днем ее рождения. Двадцать седьмого мая Зоэ исполнился пятьдесят один год. Этому трудно было поверить. Более полувека прошло с того дня, когда она впервые поднесла к груди крошечный комочек человеческой плоти – своего третьего ребенка и первого из оставшихся в живых. Как хорошо она помнит этот летний день, когда все окна были широко распахнуты в сад, в комнате слышался горьковатый запах дыма от стекловарной печи, а звуки шагов и разговоры рабочих, сновавших по двору между заводскими помещениями, заглушали стоны роженицы.

Девяносто третий год, первый год республики... Какое ужасное время для появления на свет ребенка – бушует вандейское восстание, [1] страна охвачена войной, предатели-жирондисты [2] стремятся сокрушить Конвент, патриот Марат убит молодой истеричкой, бывшую королеву, несчастную Марию-Антуанетту, держат в заточении в Тампле, а затем гильотинируют в наказание за все те беды, которые она принесла Франции.

Такое тяжелое и в то же время волнующее время. Дни, наполненные то триумфом и ликованием, то отчаянием. Все это сейчас перешло в область истории, люди в большинстве своем забыли эти события, они отступили на задний план, вытесненные подвигами Императора и достижениями его эпохи. И сама она все это вспомнила только тогда, когда узнала о смерти одного из своих сверстников; тут прошлое снова встало перед глазами, и она вспомнила, словно это было вчера, что этот человек, которого только что положили в могилу на кладбище в Вибрейе, состоял в Национальной гвардии под командованием ее брата Мишеля и что эти двое, Мишель и он, вместе с ее мужем Франсуа в ноябре девяностого года повели отряд, состоявший из рабочих их стекольного завода громить замок Шарбоньер.

Говорить о таких вещах в присутствии ее сына-мэра было нельзя. В конце концов, он был верным подданным короля Луи-Филиппа и вряд ли ему могли понравиться воспоминания о том, какую роль играли его отец и дядюшка в те бурные революционные дни, еще до того как он родился; хотя, видит Бог, ее так и подмывало это сделать, когда тот начинал слишком уж важничать, разглагольствуя о своих буржуазных принципах.

Мадам Дюваль вскрыла письмо и расправила листки, густо исписанные неразборчивым почерком дочери, где то и дело встречались зачеркнутые и перечеркнутые слова и строчки. Слава богу, она обходилась без очков, несмотря на свои восемьдесят лет. «Дорогая моя матушка...»

Прежде всего Зоэ благодарила за подарок ко дню рождения (пестрое лоскутное одеяло, которое шилось дома в зимние и весенние месяцы), затем шли мелкие семейные новости: ее муж, врач по профессии, написал доклад об астме, который он должен прочесть в медицинском обществе; у ее дочери Клементины новый и очень хороший учитель музыки, и она делает большие успехи; и наконец – почерк становился все более небрежным из-за волнения, вызванного важностью сообщаемого, – главная новость, приберегаемая напоследок в качестве сюрприза.

«В воскресенье вечером мы были у соседей в Фобур Сен-Жермен, – писала она, – там, как обычно, было много врачей и ученых и велись очень интересные разговоры. Мы с мужем обратили внимание на одного человека, который впервые появился в нашем маленьком кружке; у него приятные манеры, и с ним было интересно разговаривать. Он оказался изобретателем: получил патент на переносную лампу и надеялся заработать на этом немало денег. Нас познакомили, и вообрази себе мое удивление, когда я узнала, что его зовут Луи Матюрен Бюссон, что он родился и вырос в Англии, родители его были эмигрантами, и приехал он в Париж совсем молодым человеком вскоре после Реставрации вместе со своей матерью – ныне покойной, – братом и сестрой. С тех пор он живет то в Париже, то в Лондоне, зарабатывая на жизнь, насколько я понимаю, своими изобретениями. И там и тут у него имеются коммерческие предприятия. Женат он на англичанке, у него есть дети и дом на улице Помп, а также мастерская в Фобур-Пуассоньер. Я бы не обратила на

это особого внимания, если бы не странное сочетание двух имен: Бюссон и Матюрен – и не упоминание об отце-эмигранте. Я вела себя осторожно, постаралась ничем себя не выдать, не сказать, что твоя девичья фамилия – Бюссон, а Матюрен – традиционное семейное имя, но когда я как бы между прочим спросила, была ли у его отца какая-нибудь профессия или же имелся независимый доход, позволявший ему жить в праздности, он не задумываясь и с заметной гордостью ответил: „О да, он был мастером-стеклодувом и одновременно хозяином – ему до революции принадлежало несколько стекольных мануфактур. Одно время он был первым гравировщиком по хрустальному в Сен-Клу, на королевской мануфактуре, которой покровительствовала сама королева. Естественно, что, когда разразилась революция, он последовал примеру духовенства и аристократии и эмигрировал в Англию вместе со своей молодой женой, моей матерью, и вследствие этого ему пришлось терпеть всевозможные лишения и нужду. Его полное имя было – Робер Матюрен Бюссон Дю Морье, и умер он внезапно и трагически в тысяча восемьсот втором году, сразу после Амьенского мира,^[3] когда приехал во Францию в надежде вернуть фамильные владения. После его отъезда моя бедная мать осталась в Англии с малыми детьми, не подозревая о том, что расстается с ним навсегда. Мне было в ту пору пять лет, и я не сохранил о нем воспоминаний, но моя мать воспитала в нас глубокое уважение к отцу, внушая нам, что это был человек самых высоких принципов и честности и, конечно, роялист до мозга костей”.

Матушка... Я кивала головой, что-то говорила, пытаюсь собраться с мыслями. Ведь я права, не так ли? Этот человек должен быть моим кузеном, он сын вашего любимого брата и моего дядюшки Робера. Но что означают все эти разговоры о том, что его зовут Дю Морье, что он оставил семью в Англии и умер в тысяча восемьсот втором году, тогда как нам прекрасно известно, что он умер вдовцом и что его сын Жак был капралом в Великой Армии? Ну как же, мне было восемнадцать лет, когда умер дядя Робер, он же был учителем в Туре. Почему же этот изобретатель мсье Бюссон, который, судя по всему, должен быть его сыном, рассказывает о своем отце совсем другое, совсем не то, что говорила нам ты? И он, очевидно, ничего не знает о том, как на самом деле умер его отец, и даже не подозревает о твоём существовании.

Я спросила его, есть ли у него здесь родня. Он ответил, что, по его мнению, нет. Все они были гильотинированы во время Террора, а шато Морье вместе с мануфактурами были уничтожены. Справок он не наводил. Так было лучше. Прошлое минуло и забыто. Тут наша хозяйка прервала нас, и мы расстались. Я больше с ним не разговаривала. Но я нашла его адрес: номер тридцать один по улице Помп в Пасси, это на случай, если вы захотите, чтобы я с ним связалась. Как вы думаете, матушка, что мне следует делать?»

Мадам Дюваль отложила письмо дочери и задумчиво посмотрела в окно. Итак... это случилось. Понадобилось более тридцати лет, но все-таки случилось. То, что, по мнению Робера, было абсолютно невозможно. «Эти дети вырастут в Англии и останутся там жить, – говорил он. – Зачем они поедут во Францию, в особенности если будут знать, что их отец умер? Нет, с этой частью моей жизни покончено раз и навсегда, так же как и с прошлым вообще».

Мадам Дюваль снова взяла письмо и перечитала его еще раз от начала до конца. Перед ней было два пути. Первый: она могла написать Зоэ и сказать ей, чтобы она не делала дальнейших попыток связаться с человеком, назвавшим себя Луи Матюреном Бюссоном. И второй путь: ехать незамедлительно в Париж, явиться к мсье Бюссону в дом номер тридцать один по улице Помп, сообщить об их родственных связях и увидеть наконец перед смертью сына своего брата.

Первую возможность она отвергла, едва та появилась в ее сознании. Следовать по этому пути означало бы изменить семье, то есть пойти против всего, что было ей дорого. Надо было следовать по второму пути, и немедленно, сразу как только можно будет это практически осуществить.

В тот вечер, когда ее сын-мэр вернулся из Вибрейе, мать сообщила ему свои новости, и было условлено, что она поедет в Париж на следующей неделе и остановится там у дочери в Фобур Сен-Жермен. Все попытки сына ее отговорить оказались тщетными. Она была тверда. «Если этот человек – обманщик, мне достаточно будет на него посмотреть и я сразу это увижу, – сказала она. – Если нет, тогда я исполню свой долг».

Вечером накануне отъезда в Париж она подошла к шкафчику, стоявшему в уголке гостиной, открыла его ключом, который

находился в медальоне, висевшем у нее на груди, и достала оттуда кожаный футляр. Этот футляр она аккуратно уложила вместе с несколькими платьями, которые собиралась взять с собой.

В воскресенье на следующей неделе около четырех часов мадам Дюваль вместе с дочерью, мадам Розио, явилась с визитом в дом номер тридцать один по улице Помп в Пасси. Дом был расположен в хорошем месте, на углу улиц Помп и Тур, напротив школы для мальчиков. Позади дома находился сад и длинная аллея, обсаженная деревьями, которая вела прямо к Булонскому лесу.

Дверь им открыла приветливая горничная, она взяла их визитные карточки и проводила в красивую комнату, выходящую окнами в сад, из которого слышались крики играющих детей. Через минуту-другую на пороге стеклянной двери, ведущей в сад, показался мужчина, и мадам Розио, коротко объяснив цель визита и извинившись за вторжение, представила свою мать.

Одного взгляда оказалось достаточно. Голубые глаза, светлые волосы, посадка головы, быстрая любезная улыбка, говорящая о желании понравиться в сочетании с намерением обернуть обстоятельства в свою пользу, если только есть такая возможность, – тут был весь Робер, каким она помнила его сорок, пятьдесят, шестьдесят лет тому назад.

Мадам Дюваль обеими руками взяла его протянутую руку и долго не выпускала, устремив пристальный взгляд своих глаз, как две капли воды похожих на его глаза, на лицо этого человека.

– Простите меня, – сказала она, – но у меня есть все основания полагать, что вы мой племянник, сын моего старшего брата Робера Матюрена.

– Ваш племянник? – Он с удивлением смотрел то на мать, то на дочь. – Но боюсь, что я не понимаю... Я впервые встретил мадам... мадам Розио две недели тому назад. Я не имел удовольствия встречаться с вами раньше, до этого, и...

– Да, да, – перебила его мадам Дюваль. – Я знаю, как вы познакомились, но она была слишком удивлена, когда узнала ваше имя, и поэтому не сказала, что девичья фамилия ее матери – Бюссон и что ее дядей был Робер Матюрен Бюссон, мастер-стеклодув, который эмигрировал... Короче говоря, я ее мать, а ваша тетушка Софи, и я ждала этого момента почти полвека.

Они подвели мадам к креслу и заставили сесть, а та отирала слезы – так глупо, говорила она, не выдержать и расплакаться, и как стал бы смеяться над ней Робер. Через несколько минут она успокоилась и в достаточной мере овладела собой для того, чтобы осознать тот факт, что ее племянник, правда, высказал большую радость, обнаружив родственные отношения между ними, но в то же время был в некотором недоумении по поводу того, что его тетушка и кузина оказались скромными провинциалками, а не высокородными титулованными дамами и не могли похвастаться ни обширными поместьями, ни разрушенными замками.

– Но самое имя Бюссон, – настаивал он. – Я привык думать, что мы принадлежим к аристократическому бретонскому роду, который ведет свое начало от четырнадцатого века, что мой отец, мастер-дворянин, сделался гравировщиком исключительно для своего удовольствия, что наш девиз – «Abret ag Aroag», то есть «Первый и главный» – принадлежал средневековым рыцарям Бретани. Неужели вы хотите сказать, что все это неправда?

Мадам Дюваль смерила своего племянника скептическим взглядом.

– Ваш отец был первым, наиглавнейшим и самым неисправимым выдумщиком из всех, которые только существуют на свете, – холодно сказала она, – и если Робер рассказывал эти басни в Англии, у него, несомненно, были на это свои основания.

– Но шато Морье, – возражал изобретатель, – замок, который крестьяне сожгли до основания во время Революции?

– Это простая ферма, – отвечала его тетушка, – и она так и стоит с тех самых пор, как ваш отец родился там в тысяча семьсот сорок девятом году. Там до сих пор живут наши родственники.

Племянник уставился на нее в полном недоумении.

– Здесь, наверное, что-нибудь не то, – сказал он. – Моя мать, наверное, ничего об этом не знала. Разве что... – Он внезапно замолчал, не зная, что сказать, и, судя по выражению его лица, она поняла, что ее откровенные слова разрушили некую иллюзию, которую он лелеял с самого детства, что его уверенность в себе поколеблена и что он, возможно, стал сомневаться в своих силах.

– Скажите мне только одно, – спросила мадам Дюваль. – Она была вам хорошей матерью?

– О да, – ответил он. – Самой лучшей на свете. А пришлось ей нелегко, должен вам сказать, после того как мы остались без отца. Но у матери были отличные друзья во французской колонии.

Был организован специальный фонд помощи. Мы получили отличное образование в одной из школ, основанных аббатом Карроном, вместе с детьми других эмигрантов – Полиньяков, Лабурдоменов и прочих. – В голосе его послышались горделивые нотки, он не заметил, как его тетушка поморщилась, когда он произносил имена, которые все они – она сама и ее братья – ненавидели более пятидесяти лет тому назад.

– Моя сестра, – продолжал он, – компаньонка герцога Пальмеллы в Лиссабоне. Брат Джемс живет в Гамбурге, у него там свое дело. А сам я, с помощью влиятельных друзей, надеюсь выпустить на мировой рынок лампу моего собственного изобретения. Нам нечего стыдиться, ни у кого из нас нет для этого никаких оснований, у нас прекрасные перспективы... – Он снова замолчал, остановившись на полуфразе. В его глазах мелькнуло оценивающее выражение, странным образом напомнившее его отца. Эта тетушка из провинции, конечно же, не принадлежит к аристократии, но, может быть, у нее водятся деньги, которые она отложила на черный день?

Мадам Дюваль без труда прочла его мысли, так же как в свое время читала мысли своего брата Робера.

– Вы такой же оптимист, как ваш отец, – сказала она племяннику. – Тем лучше для вас. Так гораздо проще жить.

Он снова стал очаровательно-любезен, к нему вернулось прежнее обаяние, шарм Робера. подкупающее пленительное выражение лица, перед которым она никогда не могла устоять.

– Расскажите мне об отце, – попросил он. – Вы, конечно, все знаете. С самого начала. Даже если он родился на ферме, как вы говорите, а не в замке. Даже если он на самом деле не аристократ...

– А авантюрист, – закончила тетушка.

В этот момент в комнату вошла из сада жена ее племянника, а за ней – трое ребятишек. Горничная принесла чай. Беседа стала общей. Мадам Розию, которой показалось, что мать слишком бесцеремонна, стала расспрашивать жену новообретенного кузена о жизни в Лондоне, о том, чем эта жизнь отличается от парижской. Изобретатель показал модель своей портативной лампы, которая

должна была принести ему богатство. Мадам Дюваль хранила молчание, рассматривая поочередно каждого из троих детей, ища в них фамильное сходство. Да, конечно, малютка Изабель, резвая живая девчушка, немного похожа на ее собственную сестру Эдме, когда та была в этом возрасте. Второй мальчик, Эжен, или Жижи, не вызвал в ней никаких воспоминаний, а вот старший, десятилетний Джордж, которого дома называли Кики, – это Пьер в миниатюре: те же задумчивые глаза, та же манера стоять, скрестив ноги и засунув руки в карманы.

– А ты, Кики, – обратилась она к нему, – что ты собираешься делать, когда вырастешь?

– Отец хочет, чтобы я стал аптекарем, – ответил мальчик, – но я сомневаюсь, сумею ли выдержать экзамены. Больше всего я люблю рисовать.

– Покажи мне свои рисунки, – шепотом попросила она.

Он выбежал из комнаты, довольный проявленным интересом, и через минуту возвратился с папкой, в которой лежали его работы. Она вынимала из папки один рисунок за другим, внимательно рассматривая каждый.

– У тебя талант, – сказала она ему. – Когда-нибудь ты употребишь его на пользу людям. Это у тебя в крови.

После этого мадам Дюваль обернулась к своему племяннику-изобретателю, прервав оживленную беседу, в которой он принимал участие.

– Я бы хотела подарить вашему сыну Джорджу одну вещь, – сказала она. – Этот предмет должен принадлежать ему по праву наследования.

Она нащупала во внутреннем кармане своей широкой мантильи сверток, достала его и стала медленно разворачивать. Бумага упала на пол, обнаружив кожаный футляр. Мадам Дюваль открыла его и вынула хрустальный кубок, на котором были выгравированы королевские лилии и переплетенные между собой буквы L. R. XV.

– Этот кубок был изготовлен на стекольном заводе Ла-Пьер, в Кудресье, – сказала она. – Гравировка на нем сделана моим отцом, Матюреном Бюссоном по случаю визита короля Людовика Пятнадцатого. Этот кубок имеет свою, весьма любопытную историю, но вот уже много лет он хранится у меня. Мой отец, бывало, говорил,

что, пока кубок не разобьется, пока он хранится в семье Бюссонов, в ней не иссякнет творческий дар, в той или иной форме он будет передаваться от одного поколения к другому.

В полном молчании новообретенный племянник, а также его жена и дети смотрели на кубок. Затем мадам Дюваль снова положила его в футляр.

– Ну вот, – сказала она маленькому Джорджу, – оставайся верным своему таланту, и кубок принесет тебе счастье. Если же ты изменишь своему дару, пренебрежешь им, как это сделал мой брат, кубок тут же опустеет, счастье вытечет из него.

Она передала футляр мальчику и улыбнулась, а потом обернулась к племяннику-изобретателю.

– Завтра я возвращаюсь к себе домой в Ге-де-Лоне. – объявила мадам Дюваль. – Возможно, мы никогда больше не увидимся. Впрочем, я вам еще напишу, для того чтобы рассказать – насколько это будет в моих силах – историю вашей семьи. Стеклодув – запомните это – вдыхает в сосуд жизнь, придает ему образ и форму, а иногда и красоту; но тем же самым дыханием он может разбить сосуд, нарушить красоту, уничтожить ее. Если вам не понравится то, что я напишу, это не важно. Выбросьте все в огонь, не читая, и ваши иллюзии останутся при вас. Что же до меня, то я всегда предпочитаю правду.

На следующий день она уехала из Парижа и вернулась домой. Она не стала подробно рассказывать сыну, мэру Вибрейе, о своем визите, сказала только, что знакомство с племянником и его семейством всколыхнуло старые воспоминания. В течение последующих недель, вместо того чтобы отдавать распоряжения по имению и инспектировать свои фруктовые деревья, овощи и цветы, она все время проводила за письменным столом в гостиной, исписывая страницу за страницей своим твердым прямым почерком.

Часть первая

LA REYNE D'HONGRIE [\[4\]](#)

Глава первая

– Если ты выйдешь замуж за стеклодела, – предупреждал Пьер Лабе мою мать, а его дочь Магдалену в 1747 году, – тебе придется распротиться со всем, к чему ты привыкла, и войти в совершенно иной мир.

Ей было двадцать два года, а ее будущему мужу Матюрену Бюссону – мастеру-стеклодуву из соседней деревни Шеню – на четыре года больше, и они были с детских лет влюблены друг в друга. Это случилось с ними в первую же встречу, и с тех пор ни он, ни она ни разу не посмотрели ни на кого другого. Мой отец, сын купца, торговавшего стекольным товаром, осиротел в раннем возрасте и был взят вместе с братом Мишелем в подмастерья на стекольную мануфактуру, известную под названием Брюлоннери в Вандоме, что между Бюлу и Виль-о-Клерком. Оба брата оказались весьма смышленными, и мой отец Матюрен быстро выдвинулся, получил звание мастера-гравировщика и стал работать под руководством самого Робера Броссара, хозяина мануфактуры, который принадлежал к одной из четырех знаменитых фамилий мастеров-стеклоделов во Франции.

– Я не сомневаюсь, что твой Матюрен Бюссон добьется успеха в любом деле, которым пожелает заняться, – продолжал Пьер Лабе, который сам был бейлифом в Сен-Кристофе и исполнял должность блюстителя закона в своей округе, словом, занимал достаточно высокое положение. – Он надежный, работающий человек и отличный мастер своего дела; но то, что он собирается взять жену со стороны, а не из своей общины, есть нарушение традиции. И тебе будет трудно приспособиться к их образу жизни.

Отец знал, о чем говорит. И дочь тоже это знала. Она не боялась. Мир стеклоделов был весьма своеобразен. У него были свои законы, свои правила и обычаи, и особый язык, передававшийся не только от отца к сыну, но и от мастера к подмастерью и возникший бог знает как давно в тех местах, где стеклоделы основывали свои мануфактуры – в Нормандии, в Лорени, на Луаре, – но всегда, разумеется, в лесах, ведь лес это пища для стекловарни, самая основа ее существования.

Законы, обычаи и привилегии, существовавшие в замкнутом мире стеклоделов, соблюдались даже строже, чем феодальные права аристократии; в них к тому же было больше справедливости и больше здравого смысла. Это был поистине замкнутый круг, тесная община, в которой каждый человек, будь то мужчина, женщина или ребенок, точно знал свое место, начиная от хозяина, который работал бок о бок со своими подчиненными, наравне с ними, носил точно такую же одежду, но был в то же время господином и повелителем для всех остальных, и до шести-, семилетнего ребенка, который исполнял должность «подайпринеси», выходил на работу в одной смене со взрослыми, дожидаясь того времени, когда он сможет занять свое место у плавильной печи.

«То, что я делаю, – говорила мадемуазель Лабе, моя мать, – я делаю с открытыми глазами, не предаваясь пустым мечтам о легкой жизни. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, чтобы мне прислуживали. Матюрен уже разуверил меня на этот счет».

И все-таки, когда она стояла в тот день, восемнадцатого сентября тысяча семьсот сорок седьмого года, рядом с женихом в церкви родной деревни Сен-Кристоф в Турени и смотрела сначала на собственных своих родных – на богатого дядюшку Жорже и другого дядю-адвоката Тези, на своего отца в форменном мундире бейлифа, – а потом переводила взгляд в другую сторону, туда, где стояли родственники жениха вместе с рабочими и их женами, которые бросали на нее подозрительные, чуть ли не враждебные взгляды, в ее душе, как она рассказывала впоследствии нам, детям, возникли сомнения; она отказывалась назвать это страхом.

«Я испытывала такое же чувство, – говорила она, – какое должен испытывать белый человек, стоя в окружении американских индейцев и зная, что, едва зайдет солнце, ему предстоит войти в их лагерь, с тем чтобы никогда больше не возвращаться назад».

На стеклоделах не было, конечно, боевой раскраски, однако их черные блузы и панталоны, а также плоские черные шляпы, которые все они надевали по праздникам, резко отделяли их от родни моей матери, придавая им вид членов какой-то религиозной секты.

Так же особняком держались они и позже, во время свадебного завтрака, который, в силу того что Пьер Лабе занимал весьма высокое положение в Сен-Кристофе, был достаточно значительным событием

и в нем принимала участие чуть ли не вся округа. Они стояли в стороне, сбившись в кучку. Перекинуться шуткой с другими гостями или сказать им что-нибудь приятное им, должно быть, не позволяла гордость, поэтому они разговаривали, шутили и смеялись исключительно между собой, создавая немалый шум.

Единственный человек, который чувствовал себя совершенно свободно, был мсье Боссар, хозяин, у которого работал мой отец. Но ведь он был, во-первых, дворянином по рождению, а во-вторых, ему, кроме Брюлоннери, принадлежали еще три-четыре стекловарни, и, согласившись присутствовать на свадьбе, он оказал моему отцу великую честь. Он это сделал потому, что высоко ценил моего отца и обещал через год-другой сделать его управляющим Брюлоннери.

Свадьба состоялась в полдень, так что счастливая чета, а также сопровождавший их кортеж прибыли к месту назначения – в противоположном конце Вандома – еще до полуночи. После того как был произнесен последний тост, моей матери пришлось снять элегантный подвенечный наряд, переодеться в дорожное платье и занять место, вместе со всеми остальными, в одном из фургонов, в которых прибыли гости, для того чтобы отправиться в свой новый дом в лесах Фретваля. Господин Броссар с ними не поехал, его путь лежал в противоположном направлении. Мой отец Матюрен и моя мать Магдалена, а также его сестра Франсуаза с мужем Луи Демере – он тоже был мастер-стеклодел – уселись впереди, рядом с кучером, а на задних скамьях, строго по старшинству, разместились мастера со своими женами: стеклодувы, плавильщики и флюсовщики; кочегары и сушильщики поместились во втором фургоне, а третий заполнили подмастерья под началом брата моего отца, Мишеля.

Всю первую половину путешествия, рассказывала моя мать, она слушала пение, ибо все стеклоделы были в какой-то степени музыкантами: они играли на разных инструментах, у них были свои собственные песни, в которых пелось о вещах, относящихся к их ремеслу. Напевшись вдоволь, они начали обсуждать планы на следующий день, а потом и на всю неделю. Для нее, нового человека, все эти дела не представляли никакого интереса, и, когда стало смеркаться, она почувствовала такую усталость – от волнения, от мыслей о новой, неведомой жизни, – что заснула, положив голову на

плечо мужа, и не просыпалась, пока кортеж не достиг лесов Фретваля, проехав через весь Вандом.

Проснувшись она внезапно, ибо фургоны ехали уже не по шоссе, и, открыв глаза, не увидела ничего, так как вокруг царил непроницаемый мрак. Не было видно даже звезд – ветви деревьев, переплетаясь между собой, образовали сплошной свод, полностью закрыв от глаз небо. Под стать темноте была и тишина.

Фургоны двигались совершенно беззвучно по мягкой земле грунтовой дороги. По мере того как они углублялись в глухую лесную чашу, Магдалене снова пришла в голову мысль об индейцах и индейском лагере.

И вдруг, совершенно неожиданно, она увидела костры углежогов и вдохнула впервые в жизни запах обугленного дерева и золы, который будет сопровождать ее на протяжении всей семейной жизни, запах, который будет так хорошо знаком и нам, детям, ибо он проникнет в нашу жизнь с первым же плотком воздуха и станет символом нашего существования.

Тишины уже больше не было. В чащобах в глубине леса задвигались человеческие фигуры, которые сразу же устремились к повозкам. Вдруг послышались громкие крики, раздался смех. «В этот момент, – рассказывала моя мать, – у меня действительно было такое ощущение, что я нахожусь в индейском поселении, ибо лачуги углежогов напоминали нечто вроде форпостов, опоясывающих стекловарню, а сами они, здоровенные парни, черные от копоти, с длинными, до плеч, волосами, первыми приветствовали меня, молодую жену, на новом месте. То, что я приняла за нападение на наши повозки, оказалось на самом деле приветствием.

Все это показалось бы нам, детям, крайне удивительным, поскольку мы выросли бок о бок с углежогами, называли их по имени, смотрели, как они работают, бывали у них в домах, навещая их, когда они хворали; но для моей матери, дочери бейлифа из Сен-Кристофа, получившей деликатное воспитание и привыкшей к грамотной правильной речи, грубые крики этих диких лесовиков, нарушившие тишину глубокой ночи, показались не менее страшными, чем звуки, исходящие из самого ада. Они, конечно же, должны были посмотреть на нее при свете пылающих факелов, а потом мой отец с дружеским смехом помахал им рукой, пожелал доброй ночи, и повозки снова

двинулись с поляны в лес по оставшемуся отрезку дороги, ведущей к самой стекловарне. Брюлоннери в то время состояла из самой плавильной печи, которую окружали разные производственные строения: складские помещения, горшечная мастерская и сушилки. За ними шел длинный ряд домишек для рабочих, а немного поодаль, за широким двором, – дома, в которых жили мастера. В первый раз в жизни увидев плавильную печь, моя мать решила, что случился пожар: в воздухе металась языки пламени, во все стороны летели искры – само извержение вулкана не могло бы выглядеть страшнее.

– Мы приехали как раз вовремя, – решительно сказала она.

– Что значит вовремя? – спросил отец.

– Чтобы тушить пожар, – ответила она, указывая на печь.

Через секунду мама поняла свою ошибку и готова была откусить язык за то, что поставила себя в такое идиотское положение, едва успев ступить на территорию стекловарни. Само собой разумеется, что ее слова со смехом подхватили все ехавшие вместе с ней в фургоне, а потом они перелетели и в другие фургоны, так что мамин приезд, вместо чинного ритуала, при котором рабочие расступаются, чтобы дать ей дорогу, превратился в веселое шествие вместе с толпой смеющихся людей к самой печи, для того чтобы она могла посмотреть на «пожар», который был источником самого их существования.

«Так я и стояла, – рассказывала она, – на пороге обширного сводчатого строения длиной около девяноста футов, в центре которого помещались две печи, закрытые, конечно, так что самого огня не было видно. Было время перерыва – между полуночью и половиной второго, – так что некоторые рабочие спали где придется, прямо на полу и, по возможности, поближе к печи. Среди них были и дети, в то время как остальные рабочие пили из больших кружек крепкий черный кофе, который варили для них женщины. Тут же находились кочегары, обнаженные по пояс, готовые снова разжечь огонь в обеих печах для следующей смены. Мне казалось, что я попала в ад, что свернувшиеся клубочком дети это жертвы, приготовленные для того, чтобы бросить их в чаны и расплавить. Рабочие, пившие кофе, оставили свои кружки и уставились на меня, то же самое сделали и женщины – все они ждали, что я стану делать.

– И что же вы сделали? – спрашивали мы, ибо это была самая любимая часть рассказа и нам никогда не надоедало об этом слушать.

– Я сделала единственное, что можно было сделать в этом случае, – отвечала она нам. – Сняла свою дорожную накидку, подошла к женщинам и спросила, не могу ли я им помочь варить и разливать кофе. Они настолько удивились моей смелости, что, не говоря ни слова, протянули мне кофейник. Возможно, это было не самым подходящим занятием для первой брачной ночи, зато после этого уже никто не мог сказать, что я неженка, неспособная делать дело, никто не смел меня дразнить, называя бейлифовой дочкой.

Мне-то кажется, что никому не могло бы прийти в голову дразнить мою мать, что бы она ни сделала. Было в ее взгляде что-то такое, – как говорил нам отец – что даже в те дни, когда ей было всего двадцать два года, заставляло умолкнуть всякого, кто решился бы на какую-нибудь вольность по отношению к ней. Она была очень высокого для женщины роста, что-то около пяти футов десяти дюймов,^[5] стройная и широкоплечая, на голову выше всех остальных женщин в поселке. Даже мой отец, мужчина среднего роста, казался рядом с ней коротышкой. Свои белокурые волосы она убирала в высокую прическу, что еще больше подчеркивало ее горделивую осанку, которую мама сохранила на всю жизнь; мне кажется, это было предметом ее тайной гордости.

«Вот так я и вошла в тот мир, приобщилась к стекольному делу, – рассказывала она нам. – На следующее утро началась новая смена, и я видела, как мой молодой муж надевает свою рабочую блузу и направляется к плавильной печи, предоставив мне самостоятельно привыкать к запаху древесного дыма и виду окружавших меня сараев, где за поселковой оградой тянулся лес, один только лес, и ничего, кроме леса».

Когда поздним утром ее золовка Франсуаза Демере пришла к ней, чтобы помочь распаковать вещи, она увидела, что все уже распаковано и прибрано, белье и платье разложены по местам, а моя мать Магдалена отправилась в мастерские, чтобы поговорить с флюсовщиком, мастером, который готовит поташ. Она хотела посмотреть, как просеивают золу, как смешивают ее с известью и как закладывают в котел, чтобы там все это прокипело, прежде чем поступит к плавильщику.

Моя тетушка Демере была шокирована. Ее муж, мой дядя Демере, был одним из самых важных людей на всем заводе. Он был

мастер-плавильщик, это значит, что он готовил смесь для горшков, следил за тем, чтобы горшки были должным образом наполнены, прежде чем они поступят в печь для очередной плавки. Однако ни одного раза за все время их семейной жизни тетушка Демере не поинтересовалась, как ее муж готовит поташ, и никогда не видела, как это делается.

– Первейший долг жены мастера заключается в том, чтобы к моменту окончания смены для мужа была приготовлена еда, – поучала она мою мать. – Помимо этого, она должна заботиться о женщинах и детях тех рабочих, которые работают непосредственно у ее мужа, и ухаживать за ними, если они заболеют. Работа на самой фабрике и вне ее никакого отношения к нам не имеет.

Моя мать Магдалена с минуту помолчала. Она была достаточно благоразумна и не стала спорить с женщиной, столь хорошо знакомой с законами этого мира.

– Обед для Матюрена будет готов, когда он вернется домой с работы, – сказала она наконец. – А если я нарушила какое-нибудь правило, мне очень жаль и я прошу меня извинить.

– Дело тут не в правилах, – ответила тетушка Демере. – Это вопрос принципа.

В течение следующих нескольких дней моя мать оставалась дома, где ее поведение не могло дать пищи для сплетен, но потом она больше не могла совладать со своей любознательностью и снова нарушила традицию. Она отправилась на мельницу, как ее там называли, где глыбы кварца размельчались в порошок, который после тщательного просеивания и является основой стекольной массы. Прежде чем размельчать, кварц необходимо отсортировать, то есть отделить от всех примесей, и этим как раз занимаются женщины; стоя на коленях вдоль ручья, они сортируют кварц на широких лотках. Моя мать Магдалена напрямик направилась к женщине, которая, как ей показалось, была старшей среди них, назвала себя и спросила, нельзя ли ей тоже встать в ряд со всеми остальными и научиться исполнять эту работу.

Их, должно быть, слишком удивило ее появление и ее просьба, потому что они ничего не сказали и просто дали ей возможность взять лоток и работать вместе с ними до полудня, когда мальчик-звонильщик ударил в огромный колокол и женщины, мужья которых

должны были прийти с работы, отправились кормить их обедом. К этому времени, конечно, слух о том, что случилось, уже разнесся по всему поселку – в таких местах это делается очень быстро, – и когда мой отец, вернувшись домой, скинул рабочую блузу и переделся в воскресное платье, мама сразу поняла, что что-то неладно. К тому же вид у него был очень серьезный.

– Я должен повидать мсье Броссара, – объявил он, – по поводу твоего поведения. Он, наверное, все уже знает и ждет объяснений.

«Это был очень серьезный проступок, – говорила нам мать, – который мог оказать влияние на все наше будущее. И надо же было этому случиться в первую же неделю нашей совместной жизни!»

– Я совершила дурной поступок, работая с этими женщинами? – спросила она у мужа.

– Нет, – ответил он. – Но жена мастера занимает особое положение, иное по сравнению с женами рабочих. Она не должна выполнять физическую работу, это роняет ее в глазах других.

И снова матушка не стала спорить. Однако она тоже переделась, и когда отец пошел к мсье Броссару, отправилась вместе с ним.

Мсье Броссар встретил их в доме привратника, которым он пользовался как приемной, когда приезжал на стекловарню. Он редко задерживался в одном месте дольше одного-двух дней и в тот же вечер собирался ехать дальше. Он вел себя значительно более сдержанно, чем на свадьбе, говорила матушка, когда предложил тост за здоровье жениха и невесты и поцеловал ее в щечку. Теперь это был господин, хозяин Брюлоннери, а мой отец – всего лишь мастер-стеклодув, работающий на его мануфактуре.

– Вы знаете, почему я послал за вами, мсье Бюссон? – спросил он. Тогда, на свадьбе, он называл отца Матюреном, но здесь, на территории мануфактуры, отношения между хозяином и мастером носили строго официальный характер.

– Да, мсье Броссар, – ответил мой отец, – и я пришел извиниться за то, что произошло сегодня утром на мельнице. Моя жена, движимая любопытством, позволила себе позабыть о чувстве приличия и о том, как ей следует себя вести согласно ее положению. Как вы знаете, она находится здесь всего одну неделю.

Мсье Броссар кивнул и обратился к моей матери.

– Вы скоро ознакомитесь с нашими обычаями и свыкнетесь с нашими традициями, – сказал он. – Если у вас встретятся какие-нибудь затруднения, если вы не будете знать, как следует поступить в том или ином случае, а мужа вашего не будет дома, вы всегда можете обратиться к вашей золовке мадам Демере, которой отлично известны все стороны жизни на стекольной мануфактуре.

Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. Мсье Броссар был человек невысокий, хотя держался с большим достоинством, и на мою мать ему приходилось смотреть снизу вверх – она была выше его по крайней мере на четыре дюйма.

– Позволительно ли мне сказать несколько слов? – спросила она.

Мсье Броссар поклонился.

– Разумеется, мадам Бюссон, – ответил он.

– Как вам известно, я дочь бейлифа, – сказала она, – и мне с ранних лет приходилось наблюдать за работой отца. Мне случалось и помогать ему – разбираться в бумагах, подбирать документы, необходимые для очередного процесса, – одним словом, я разбираюсь в законах.

Мсье Броссар снова поклонился.

– Я не сомневаюсь, что вы были ему хорошей помощницей, – сказал он.

– Это действительно так, – подтвердила моя мать. – И я хочу быть помощницей своему мужу тоже. Вы обещали сделать его в скором времени управляющим – либо здесь, либо на какой-нибудь другой мануфактуре, где он будет отвечать за всю работу. Когда это произойдет и когда ему придется отлучаться, я хочу быть в состоянии его заменить и руководить работой мануфактуры. Я не сумею этого сделать, не ознакомившись предварительно с тем, каким образом производится эта работа. Сегодня утром я получила свой первый урок на сортировке кварца.

Мсье Броссар с изумлением смотрел на мою мать, так же как и мой отец.

Она не дала им возможности что-нибудь сказать в ответ и продолжала свою речь.

– Матюрен, как вы знаете, изобретатель, – говорила она. – Его голова занята всевозможными проектами. Вот и сейчас он думает не обо мне, а изобретает какую-нибудь новинку. Когда он станет

управляющим собственной мануфактуры, то будет слишком занят изобретениями и ему некогда будет заниматься текущими делами. Я намерена взять это на себя.

Мсье Броссар был в полном недоумении. Ни одному из его мастеров не случалось брать себе в жены такую решительную женщину.

– Мадам Бюссон, – сказал он, – все это очень похвально, однако вы забываете о первом и главном своем долге, о своей будущей семье.

– Я об этом не забываю, – возразила она. – Большая семья это только часть моей работы. Благодарение богу, я достаточно сильна. Рождение и воспитание детей меня не беспокоит. Если вы считаете, что работа вместе с женщинами унизит достоинство Матюрена, я больше не буду этого делать. Но если я вам это обещаю, вы, в свою очередь, возможно, сделаете кое-что для меня. Я бы хотела знать, как ведутся конторские книги стекольной мануфактуры и как осуществляются сделки по продаже товара, – я имею в виду отношения с торговцами. Мне кажется, что это весьма важная сторона дела.

Матушка добила своего. Она не стала доискиваться, чему она этим обязана – своей ли красоте или же силе воли и настойчивости, мне кажется, что и отец этого не знал, – но не прошло и месяца, как в ее распоряжении оказались все книги и счета, а мсье Броссар отдал распоряжение торговцам – владельцам лавок, – чтобы они ознакомили ее со всеми вопросами, касающимися финансовой стороны дела. Возможно, он считал, что это лучший способ удержать ее дома, отвлечь ее внимание от рабочих и их жен. Все это, однако, не мешало ей вставать среди ночи вместе с другими женщинами, когда отец работал в ночную смену, идти через двор в стекловарню и готовить ему кофе. Это была традиция, которой она считала необходимым следовать, и мне кажется, что за всю свою жизнь она не пропустила ни одной ночной смены. Я мало знаю о том, что думали о ней жены других мастеров, – не было ли у них зависти к моей матери, оттого что она была умнее и образованнее их или оттого что к ней так благоволил мсье Броссар, но мне кажется, что не было. Ведь ни одна из них, если не считать тетюшку Демере, не умела ни читать, ни писать, и конечно же, они не имели ни малейшего понятия о цифрах и о том, как вести конторские книги.

Впрочем, независимо от того, как относились к ней женщины, именно в первые годы ее пребывания в лесах Фретваля мама получила свое прозвище, которое сопровождало ее до конца дней и под которым она была известна не только в других местах, где им с отцом приходилось впоследствии работать, но и вообще повсюду в пределах нашего стекольного ремесла.

В эти первые годы брака моего отца обуревали честолюбивые стремления. Он изобретал и конструировал для Парижа, а также для сбыта на Американском континенте лабораторную посуду и, кроме того, разнообразные приборы из стекла, которые использовались в химии и астрономии, – это было время, когда новые идеи получили быстрое и широкое распространение. Он всегда был впереди своего времени, и в этот период своей работы в Брюлоннери он сделал несколько интереснейших и ценных изобретений: ему удалось сконструировать и изготовить изделия совершенно новой, необычной формы. Эти инструменты изготавливаются теперь в массовом порядке, ими пользуются врачи и аптекари по всей Франции, и имени моего отца теперь никто уже не помнит, а вот сто лет тому назад каждый аптекарь во Франции, покупая лабораторный инструмент, стремился найти именно то, что было изготовлено в Брюлоннери.

Спрос на продукцию Брюлоннери перекинулся и на торговлю парфюмерией. Знатные придворные дамы желали иметь на своем туалетном столике флаконы и флакончики самой затейливой формы, и чем изысканнее, тем лучше, ибо в те поры влияние госпожи Помпадур на короля было безгранично, и в великосветских кругах царила самая изысканная роскошь. Мсье Броссар, которого со всех сторон атаковали торговцы и парфюмеры, желавшие составить себе на этом состоянии, умоляли моего отца забыть на время свои научные инструменты и придумать такой флакон, который удовлетворил бы требованиям самых высокопоставленных покупателей в стране.

У отца все началось с шутки. Он попросил мою мать встать и постоять перед ним, чтобы он мог ее нарисовать, сделать набросок с ее фигуры. Голова, потом прямые широкие плечи, столь необычные для женщины, затем высокая изящная фигура и стройные бедра. Он сравнил свой рисунок с последним эскизом аптекарской бутылки, которую собирался пустить в производство, – контуры совпадали почти полностью.

– Я понимаю, в чем тут дело, – сказал он моей матери. – Я-то считал, что эскиз построен на основе математических расчетов, а на самом деле я просто работал по вдохновению, потому что думал все время о тебе.

Он надел рабочую блузу и отправился в мастерскую к своей печи и своим чанам. Никому и до сей поры не известно, что послужило моделью новому изделию: аптекарская ли бутылка, или фигура моей матери – он говорил, что последняя, – но только этот флакон, который он изготовил для парижских парфюмеров, был восторженно принят как продавцами, так и покупателями. Во флакон наливалась туалетная вода под названием «La Reyne d'Hongrie» в честь Елизаветы Венгерской, которая сохранила свою красоту до глубокой старости, до семидесяти лет. Отец очень смеялся и рассказал об этом всем своим друзьям в мастерской и в поселке. Матушка была немало раздосадована, но как бы то ни было с этого момента она стала «la Reyne d'Hongrie», под каковым прозвищем и была известна всем и каждому в нашем стекольном деле вплоть до самой революции, после которой она превратилась в гражданку Бюссон, благоразумно отказавшись от королевского титула.

И все-таки порой о нем вспоминали; чаще всего мой младший брат Мишель, когда ему хотелось быть особенно язвительным. Он, бывало, говорил своим рабочим, стараясь, чтобы слышала матушка, что, как известно всему Парижу, трупы знатных дам, чьи головы только что скатились в корзину, пахнут именно теми духами, которые сорок лет назад своими собственными прелестными ручками готовила и разливала по флаконам хозяйка некоей стекольной мануфактуры на потребу версальским прелестницам.

Глава вторая

В числе знакомых мсье Броссара был маркиз де Шербон, чьи предки построили в прошлом веке небольшую стекольную мануфактуру в своих владениях, прилежащих к замку Шериньи, расположенному всего в нескольких милях от Шену, родной деревни отца, и Сен-Кристофа, родины моей матери. Стекловарная печь этой мануфактуры находилась в довольно плачевном состоянии из-за небрежения и неумелой эксплуатации, а маркиз де Шербон, который незадолго до описываемых событий унаследовал это имение и одновременно женился, решил привести этот заводик в порядок, с тем чтобы получать от него доход. Он посоветовался с мсье Броссаром, который тут же порекомендовал ему моего отца в качестве арендатора и управляющего, считая, что для него это будет прекрасной возможностью попробовать свои силы в новом качестве. Он сможет проявить себя не только как отличный мастер своего дела, но и как человек, способный организовать работу других, сделав свое предприятие прибыльным и процветающим.

Маркиз де Шербон был очень доволен. Он был уже знаком с моим отцом, знал и Жорже из Сен-Патерна, который приходился дядюшкой моей матери, и был уверен, что управление мануфактурой попадет в надежные руки.

Моя мать Магдалена вместе с моим отцом приехали в Шериньи весной тысяча семьсот сорок девятого года, и здесь в сентябре родился мой брат Робер, а три года спустя второй мой брат, Пьер.

Обстановка там была совершенно иная по сравнению с Брюлоннери. Здесь, в Шериньи, стекловарня находилась на территории самого имения знатного землевладельца и состояла из небольшой плавильной печи, окруженной производственными помещениями, возле которых ютились домишки работников, – все это в нескольких сотнях ярдов от шато. Работников было немного – не более четверти того количества, что было занято на работах в Брюлоннери, и вообще Шериньи можно было считать семейным предприятием, поскольку маркиз де Шербон живо интересовался всем, что делалось на заводе, хотя сам никогда не вмешивался в дела.

Мой дядюшка Демере остался в Брюлоннери, а вот брат отца, Мишель Бюссон, перебрался вместе с моими родителями в Шериньи, а другая его сестра, Анна, вскоре вышла замуж за Жака Вио, мастера-плавильщика в Шериньи. Все члены этой маленькой общины были тесно связаны между собой, однако различия в статусе каждого члена по-прежнему соблюдались весьма строго, и мои родители жили отдельно от всех остальных в фермерском доме, который носил название Ле-Морье и находился примерно в пяти минутах ходьбы от стекловарни. Это не только давало им возможность жить обособленно, своей семьей, чего они были лишены в Брюлоннери, но и ставило их на более высокую ступень иерархии, которая так строго соблюдалась в корпорации стеклоделов.

В то же время для матушки это означало лишнюю работу. Помимо ведения счетов и переписки с торговцами – эти обязанности она взяла на себя – на ее попечение оказалась еще и ферма: надо было следить, чтобы коровы были вовремя подоены и выгнаны на пастбище, заботиться о птице, наблюдать за тем, как колют свиней, как пашут, сеют и убирают урожай с полей, принадлежащих ферме. Все это ее не смущало.

После целого дня хлопот по дому и по хозяйству на ферме она способна была написать письмо на три страницы по поводу цены на партию товара, отправляемого в Париж, потом бежать и варить кофе отцу и остальным мастерам, работающим в ночной смене, вернуться домой, поспать час-другой, а потом встать в пять часов, чтобы присмотреть за утренней дойкой.

То, что она в это время носила, а потом кормила моего брата Робера, ни в малой степени не мешало ей вести такой образ жизни. Здесь, в Ле-Морье, она была свободна, могла организовать свою жизнь так, как она считала нужным. Здесь не было строгих глаз, которые могли бы за ней следить, некому было ее критиковать или обвинять в нарушении традиций или обычаев, а если родственники ее мужа и осмеливались это делать, то она ведь была женой управляющего, и у них быстро пропадала охота повторить свои попытки.

Одним из приятнейших обстоятельств жизни моих родителей при заводе в Жериньи были их дружеские отношения с маркизом де Шербон и его женой. В отличие от других аристократов того времени, они почти постоянно находились в своем имении, редко выезжая

оттуда надолго, никогда не бывали при дворе и пользовались любовью и уважением своих арендаторов и крестьян. Маркиза в особенности полюбила мою мать Магдалену – они были приблизительно одного возраста, к тому же де Шербоны поженились всего на два года раньше моих родителей, и когда матушке удавалось улучшить минутку, свободную от домашних или хозяйственных дел, она отправлялась в шато, [6] взяв с собой моего брата, и обе молодые женщины – моя мать и маркиза – вместе читали, пели или играли, в то время как Робер ползал по ковру у их ног, а потом делал свои первые неверные шаги, ковыляя от одной к другой.

Мне всегда представлялось важным то обстоятельство, что первыми воспоминаниями Робера – он любил о них рассказывать – были не дом на ферме Ле-Морье, не мычание скотины, квохтанье кур или какие-нибудь другие звуки сельской жизни и даже не рев пламени стекловарной печи, но всегда только громадный салон, как он называл эту комнату, весь в зеркалах, с обтянутой атласом мебелью, с клавикордами, стоящими в уголке, и изящная дама – не матушка, – которая брала его на руки и целовала, а потом кормила сахарным печеньем.

«Ты не можешь себе представить, – говорил он, бывало, мне, – как живы до сих пор эти воспоминания. Как восхитительно было сидеть на коленях у этой дамы, трогать ее платье, вдыхать запах ее духов; а потом она, бывало, спустит меня с колен и хлопает в ладоши, пока я ковыляю с одного конца огромной – так мне казалось – комнаты до другого. Высокие стеклянные двери выходили на террасу, а от террасы во все стороны шли тропинки, ведущие неведомо куда. У меня было такое чувство, что все это мое – шато, парк, клавикорды и эта прекрасная дама».

Если бы только матушка знала, какое зерно желания она заронила в душу моего брата, во все его существо, зерно, которое выросло впоследствии в *folie de grandeur*, [7] едва не разбило сердце моего отца и, конечно же, способствовало его ранней кончине, она не стала бы так часто брать Робера в шато, где его ласкала и кормила сладостями маркиза. Она оставляла бы его на дворе фермы Ле-Морье, и он играл бы там с курами и поросятами.

Моя мать была виновата. Но могла ли она в то время предвидеть, что это баловство окажет столь губительное влияние на ее первенца,

которого она так безумно любила? Что могло быть естественнее, чем воспользоваться гостеприимством доброй и милостивой дамы, маркизы де Шербон?

Надо сказать, что матушка ценила дружбу не только ради удовольствия, которое доставляло ей общество подруги, но и потому, что это давало ей возможность замолвить при случае словечко за моего отца, рассказать о его честолюбивых устремлениях: как он надеялся занять со временем такое же положение, какое занимал мсье Броссар, – который, разумеется, был крестным отцом Робера, – то есть стать управляющим самого лучшего во всей Франции стекольного завода, а то и нескольких сразу.

«Мы понимаем, что на это потребуется время, – говорила матушка маркизе, – но ведь уже и сейчас, с тех пор как Матюрен стал управляющим в Шарины, количество товара, который мы поставляем в Париж, увеличилось вдвое, и нам пришлось нанять еще работников, а сам наш завод удостоился упоминания в „Almanach des Merchands"».

[8]

Матушка не хвасталась. Это была чистая правда. Стекольный завод в Шерины зарекомендовал себя как самая значительная из «малых мануфактур», как их тогда называли в нашем ремесле, специализирующихся на производстве стеклянной столовой посуды, а также бокалов и графинов для вина.

Маркиз де Шербон и мсье Броссар, объединив усилия, занялись устройством все новых стекольных мануфактур не только в Брюлоннери, где управляющим был мой дядюшка Демере совместно с моим отцом, который работал одновременно и там, и в Шерины, но в Ла-Пьере, Кудресье, расположенном в самом сердце лесов Ла-Пьера и Вибрейе. Это было огромное имение, принадлежавшее одной вдове, мадам ле Гра де Люар. Здесь маркиз де Шербон сделал временным управляющим моего дядю Мишеля Бюссона, который женился на племяннице дядюшки Демере, однако дядя Мишель – отличный гравировщик по хрустальному – оказался никудышным администратором, и завод в Ла-Пьере начал хиреть и приносить сплошные убытки.

Примерно в это время, где-то между рождением моих братьев – Пьера, в тысяча семьсот пятьдесят втором году, и Мишеля, в пятьдесят шестом, – маркиза де Шербон умерла родами, к великому горю моей матери. Маркиз вскоре снова женился – чего она никогда не могла ему

простить, хотя неизменно сохраняла почтительное к нему отношение, – взяв жену из соседнего с Кудресье прихода. Земли нового тестя соседствовали с его обширными угодьями, принадлежавшими мадам ле Гра де Люар в Ла-Пьере, и маркизу, естественно, не хотелось мириться с тем, что тамошний завод работает в убыток. После длительных многомесячных переговоров между всеми заинтересованными лицами мой отец отважился на решительный и рискованный шаг. Взяв в качестве партнеров дядюшку Демере и одного парижского купца, Элюа де Риша, он откупил аренду у маркиза де Шербона и стал, таким образом, самостоятельным арендатором мадам ле Гра де Люар, которая, к счастью для моих родителей – семья у них разрасталась, – не захотела жить в имении, унаследованном после покойного мужа.

Договор аренды, который входил в силу в День Всех Святых тысяча семьсот шестидесятого года, давал моим родителям право эксплуатировать в течение девяти лет стекловарню, расположенную на территории поместья, включая все относящиеся к ней службы, а также рубить и жечь лес, потребный для производства, и использовать для жилья шато. За все это им полагалось уплатить восемьсот восемьдесят ливров и, в добавление к этому, поставить мадам ле Гра де Люар восемь дюжин стаканов, рюмок и бокалов для ее стола. Мой дядя Демере не собирался расставаться с Брюлоннери, мсье Элюа де Риш жил в Париже, и, таким образом, мои родители получили в свое распоряжение шато – огромный дом в Ла-Пьере. Какая перемена после фермерского дома в Ле-Морье и скромного жилища мастера в Брюлоннери!

Мне кажется, что тень покойной маркизы де Шербон все еще витала над моей матерью, когда она поднималась в качестве хозяйки по широкой лестнице и открывала одну за другой огромные, расположенные анфиладой, комнаты, которыми могла теперь распоряжаться по собственному усмотрению. Для себя и мужа она выбрала просторную спальню, которая выходила окнами в парк, переходящий в бескрайний лес. Она знала, что здесь будут расти ее дети, которые смогут свободно бегать и играть где им заблагорассудится, так же как это делали дети живших здесь прежде сеньоров. У них будет даже больше свободы, ибо здесь не будет ни пудренных камердинеров, ни лакеев, ни поваров, которые могли бы им

что-нибудь запретить, ведь за порядком будет следить только она сама да две-три женщины, жены работников стекловарни, которых она решила нанять себе в помощь. Половина комнат в шато оставались нежилыми, мебель там была покрыта чехлами от пыли, но в них далеко не всегда было тихо, так как мои братья бегали и кричали по всему дому, гоняясь друг за другом по огромным комнатам, уставленным мебелью, аukaлись в коридорах, залезали даже на чердак под массивной крышей.

Для Робера, в то время уже десятилетнего мальчугана, Ла-Пьер был воплощением всех его мечтаний и даже превзошел их. Он не только жил в шато, который был больше и роскошнее Шериньи, но, более того, дом принадлежал его родителям, они были там хозяевами – по крайней мере, так считал Робер. Он ухитрился тем или иным способом завладеть ключом от парадной залы, сняв его со связки матери, и забирался туда потихоньку от всех. Откинув полотняный чехол, он усаживался в парчовое кресло и воображал, что пустая безмолвная комната полна гостей, а он сам – созвавший их хозяин.

У Пьера и Мишеля таких фантазий не было. Под самыми окнами их комнаты начинался лес, и им ничего больше не было нужно, в особенности Пьеру. В отличие от уютных рощ и перелесков Шериньи, пересеченных широкими дорожками, здешние леса были густы, суровы и даже опасны, они простирались насколько хватал глаз, если смотреть из окна сторожевой башни шато. Там водились дикие кабаны и, возможно, даже разбойники. Пьер постоянно попадал во всякие переделки: он забирался на самые высокие деревья и падал оттуда; его постоянно приходилось переодевать, так как он то и дело оказывался в воде, свалившись в какой-нибудь ручей; приносил домой птиц, летучих мышей, хомяков и лисиц, прятал их в пустых комнатах и пытался приручить, вызывая тем самым немалый гнев матушки.

Здесь, в Ла-Пьере, матушка была хозяйкой стекловарни, а также хозяйкой и хранительницей шато. На ней лежала ответственность не только за благополучие всех работников и их жен – а их насчитывалось не менее сотни, не считая углежогов, живших в лесах, – но также за целостность и сохранность всего того, что находилось в пределах шато. Наличие трех шаловливых сыновей отнюдь не облегчало эту задачу, хотя Робер обучался французскому языку и латыни – благодаря рекомендации мсье Броссара и маркиза де

Шербона, ему давал уроки кюре из Кудресье, у которого в то же самое время обучался сын мадам ле Гра де Люар. У моей матери умерли в младенческом возрасте двое детей, мальчик и девочка, и только после этого в тысяча семьсот шестьдесят третьем году родилась я, а вслед за мной через три года – моя сестра Эдме. Это завершило состав нашего семейства, в котором все были очень дружны и привязаны друг к другу – старшие братья попеременно то дразнили, то ласкали младших сестреночек.

Если и существовали какие-либо разногласия между родителями и детьми, то причиной обычно было заикание моего брата Мишеля. Мы с сестрой не знали того времени, когда он не заикался, и не придавали этому никакого значения, думая, что так и должно быть, но матушка рассказала нам, что заикаться он стал после того, как появились на свет его маленькие сестренка и братишка – Франсуаза и Проспер. Они родились один за другим и вскоре же умерли, когда Мишелю было года четыре-пять.

Произошло ли это оттого, что малыш видел, как они родились, как мать кормила их грудью и как они внезапно исчезли, причинив матери большое горе, или была какая-то другая причина – сказать никто не мог. Дети не рассказывают о таких вещах. Возможно, Мишель боялся, что тоже исчезнет, как исчезли они, и с ними вместе пропадет все, что он знает и любит на свете. Во всяком случае, он стал сильно заикаться приблизительно в это время, вскоре после того как родители переселились в Ла-Пьер, и они ничего не могли сделать, для того чтобы он излечился. Мишель был необычайно умен, у него были блестящие способности, если не считать этого недостатка, и мои родители, особенно отец, приходили в отчаяние, глядя, как он бьется, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, словно подражая судорогам, сопровождавшим смерть несчастных младенцев.

«Он делает это нарочно, – строго говорил отец. – Он умеет говорить совершенно правильно, если только пожелает». Отец отсылал Мишеля прочь из комнаты, давая ему книгу, из которой мальчик должен был выучить наизусть большой кусок, а потом ответить без запинки. Однако это ни к чему хорошему не приводило. Мишель упрямялся и бунтовал, а иногда убегал и скрывался на долгие часы, отсиживаясь у углежогов, которые охотно давали ему приют. Им-то было безразлично, заикается он или нет, даже наоборот, они

забавлялись, обучая его всяким грубым простонародным словечкам, чтобы посмотреть, как они у него получаются.

Мишеля, разумеется, за это наказывали. Отец был очень строгим воспитателем, но матушка иногда вмешивалась и просила простить мальчика, и тогда ему позволялось пойти вместе с отцом в стекловарню и смотреть, что там делается и как идет работа, – а это ему нравилось больше всего на свете. Мы с сестрой Эдме были значительно младше братьев, и наша жизнь шла совершенно иначе. С нами, девочками, отец был всегда ласков и нежен, он сажал нас к себе на колени, привозил нам подарки, когда ему случалось ездить в Париж, смеялся и пел вместе с нами, участвовал в наших играх – словом, мы были для него единственным развлечением, с нами он отдыхал от трудов и забот.

С мальчиками все было по-иному. Они должны были вставать, когда отец входил в комнату, не смели сесть, пока не сядет он, и за столом должны были молчать, им разрешалось только отвечать, когда к ним обращались. Когда наступал их черед и братья становились подмастерьями в стекловарне, они были обязаны выполнять все правила. С них спрашивали строже и заставляли работать больше, чем сыновей других мастеров, – подметать, например, пол в мастерской и делать другую черную работу.

Мой брат Робер, несмотря на то что он получил великолепное образование под руководством доброго кюре из Кудресье, не возражал против столь сурового обращения. Он хотел стать таким же мастером-стеклодувом, как и его отец, даже лучше, как мсье Броссар, у которого было так много друзей среди аристократии; а для того чтобы этого добиться – он это знал, – нужно было начинать с самого низа.

То же самое и Мишель. Он, правда, бунтовал против отца, однако не гнушался никакой работой, и чем она была тяжелее и грязнее, тем для него было лучше. Ему нравилось находиться среди рабочих, трудиться вместе с ними, и никогда он не был так счастлив и доволен, как когда возвращался домой прямо от печи, в прожженной, покрытой пятнами блузе, ибо это означало, что он отстоял смену наравне со своими товарищами и все у него ладилось – или не ладилось – так же, как и у них.

Труднее всего отцу приходилось с Пьером – это был покладистый парень, но совершенно *sans-souci*,^[9] его невозможно было чему-

нибудь научить. Его, конечно, тоже определили в стекловарню подмастерьем, Пьер он то и дело норовил оттуда удрать – собирал в лесу землянику или просто бродил где придется и возвращался когда ему вздумается. Наказывать его было бесполезно. Розги, так же как и похвалы, он принимал с одинаковым равнодушием.

«Пьер просто ненормальный, – говорил наш отец, пожимая плечами, когда речь заходила о среднем сыне. – Он никогда ничего не добьется в жизни. Если уж ему так нравится находиться на свежем воздухе, пусть отправляется в Америку, в колонии, и живет там».

Пьеру в это время было лет семнадцать, и отец, у которого были весьма широкие деловые связи, устроил так, что его отправили на Мартинику к одному богатому плантатору. Мне тогда было шесть лет, и я отлично помню отчаяние и слезы во всем доме – ведь все три брата были так привязаны друг к другу, – а также сжатые губы и молчание матушки, когда она укладывала в дорожный сундук вещи Пьера, думая о том, увидит ли она еще когда-нибудь своего сына. Даже отец, когда настал час расставания, казалось, испытывал огорчение и сам проводил Пьера в Нант, где брат должен был сесть на корабль. Отец посылал с ним довольно большую партию стекла не особенно высокого качества, с тем чтобы Пьер мог его продать и составить себе таким образом небольшой капитал.

Без Пьера в доме стало очень скучно. Его веселый нрав и забавные выходки оживляли атмосферу нашего дома, которая порой казалась несколько мрачноватой нам с Эдме, двум маленьким девочкам, предоставленным самим себе, поскольку братья работали в мастерских, а мать была постоянно занята либо счетами и торговыми книгами – на ней по-прежнему лежала вся деловая часть отцовского предприятия, – либо хлопотами по хозяйству. Вскоре, однако, мы забыли о Пьере, ибо в следующие месяцы произошли два события, которые запечатлелись в моей памяти как некие поворотные моменты.

Первое из них заключалось в том, что мой брат Робер, отбыв положенные три года подмастерьем, стал мастером-стеклодувом. Вторым же событием был визит короля в нашу стекольную мануфактуру в Ла-Пьере. Оба они относились к тысяча семьсот шестьдесят девятому году.

Первое пришлось на одно из воскресений в июне. В два часа дня все мастера и работники в праздничной одежде собрались в ожидании

прибытия музыкантов. Накануне матушка и другие жены мастеров приготовили в помещении стекловарни длинные деревянные столы – праздник состоялся в перерыве между «топками», как мы их называли, и печь на некоторое время остыла, – и теперь столы были уставлены яствами для всех работников стекловарни, а также для гостей. Приглашенных было довольно много. Пришли, разумеется, все наши родственники, торговцы и мануфактурщики, с которыми у отца были дела; помимо них были приглашены мэр Кудресье, бейлиф, егеря и лесничие имения и все женщины и дети, жившие по соседству.

Выстроилась длинная процессия, во главе которой встали музыканты, за ними – два старших мастера, в данном случае это были мой дядя Мишель и еще один гравер, а между ними – будущий мастер, мой брат Робер; за ними, строго по старшинству, следовали все члены нашего общего «стекольного дома». Первыми шли наши мастера, за ними – пришлые, работающие по найму, и возчики-комиссионеры, потом кочегары, подмастерья и так далее и, наконец, женщины и дети. Шествие началось от стекловарной печи, проследовало через двор, потом через огромные ворота в парк и подошло к самому шато, где их ожидали отец и матушка вместе с кюре, мэром и остальными официальными лицами.

Здесь состоялась краткая церемония. Новый мастер принес клятву, получил благословение кюре, после чего произносились речи. Затем вся процессия повернула назад и возвратилась в мастерскую. Я помню, что, когда мой брат Робер произносил клятву, я случайно взглянула на матушку и заметила у нее на глазах слезы.

У отца и матери в честь такого события были напудрены волосы – вероятно, они считали, что являются представителями отсутствующего семейства ле Гра де Люар. – матушка была в парчовом платье, а отец – в атласных панталонах.

– Из него получится прекрасный человек, – шепнул кюре моему отцу, когда процессия приближалась к дому и они готовились ее встретить. – Я возлагаю большие надежды на его способности и надеюсь, что вы разделяете мое мнение.

Отец ответил не сразу. Он тоже был глубоко тронут, глядя на то, как его старший сын готовится принести клятву, которую он сам приносил двадцать лет тому назад.

– Что-нибудь да получится, – сказал отец, – если, конечно, он не потеряет голову.

Смысл этих слов был для меня непонятен. Я не видела никого и ничего, кроме Робера, который казался мне, его шестилетней сестренке, самым замечательным человеком во всей процессии. Высокий, стройный, светловолосый – матушка в последний момент помешала ему напудрить волосы, – он, как мне казалось, никак не мог что-то потерять. Держался он очень прямо и подошел к ступеням шато с таким гордым видом, словно ему предстояло стать по меньшей мере маркизом, а не простым мастером-стеклодувом.

Обряд принесения клятвы сопровождался взрывами аплодисментов и приветствий. Робер поклонился всем собравшимся – гостям и всей этой толпе мастеров, работников с их женами и детишками, и я заметила, что он бросил быстрый взгляд в сторону моей матери Магдалены, взгляд гордый и вызывающий, словно он хотел сказать: «Именно этого ты от меня ждала, ведь правда? Мы оба этого желали». Мне показалось, что она кивнула в ответ, не только моему брату, но и самой себе; высокая, прекрасная в своем великолепном парчовом наряде, странно изменившаяся благодаря напудренным волосам, она казалась мне, шестилетней девчонке, чем-то большим, чем просто наша мать; она казалась каким-то божеством, более могущественной, чем даже статуя Пресвятой Девы, что стояла в церкви в Кудресье, она казалась равной самому Богу.

Второе событие произвело на меня совсем иное впечатление, вероятно потому, что в нем моим родителям была отведена второстепенная роль. Придя однажды вечером домой, отец торжественно сообщил:

– Мы удостоены высокой чести. Король, который охотится в наших краях, в лесах Вибрейе, изъявил желание посетить стекольный завод в Ла-Пьере.

Все в доме пришло в страшное волнение. Король... Что он скажет? Что сделает? Чем его нужно угощать, как развлекать? Матушка сразу же стала готовить парадные апартаменты, которыми до этого времени никто не пользовался, и всех женщин, находившихся в поместье и на заводе, тут же отрядили мыть, чистить, мести и наводить блеск. Но потом, за несколько дней до самого визита короля,

прибыла мадам ле Гра де Люар вместе с сыном, с тем чтобы лично приветствовать его величество в своем доме.

– Совершенно естественно, – заявила она моей матери (я была рядом и слышала все от слова до слова), – что во время такого великого события – сам король удостоивает визита наш дом – мы с сыном должны находиться на месте. Я не сомневаюсь, что вы и ваша семья найдете себе пристанище на это время.

– Разумеется, – ответила матушка, которой, сказать по правде, втайне хотелось выступить в роли *châte-laine*.^[10] – Я надеюсь, что вы найдете дом в должном порядке. Правда, времени у нас было не очень много, нас предупредили совсем недавно.

– О, об этом не беспокойтесь, – ответила мадам ле Гра де Люар, – прислуга сделает все, что надо.

А потом прибыли кареты, экипажи и целая вереница самых разнообразных телег и повозок, привезя толпу лакеев, официантов, поваров, поварят и судомоек. Они расхаживали по дому как хозяева – перевернули все вверх дном в кухне, сорвали с постелей покрывала и постелили новые, те, что привезли с собой, а с матушкой разговаривали так, словно она была у них прислугой, которую только что рассчитали. Нас попросту выгнали из дома, мы только-только успели снести все наши вещи в одну комнату, повернуть ключ в замке и сразу же отправились через двор к моему дяде Мишелю, прося, чтобы они с женой нас приютили.

– Этого следовало ожидать, – спокойно сказал отец. – Мадам ле Гра де Люар имела полное право поступить так, как она поступила.

– П-п-право? – с трудом выговорил Мишель, которому в то время было лет четырнадцать. – Какое п-право имеет эта п-п-проклятая старуха выгонять нас из дома?

– Придержи язык, – строго приказал ему отец, – и запомни, что в шато Ла-Пьер мы всего лишь арендаторы. Ни дом, ни сам завод никогда нам не принадлежали и принадлежать не могут.

Бедный Мишель был просто ошарашен. Он, наверное, считал, так же как и я сама, что мы хозяева Ла-Пьера и что он наша собственность на вечные времена. Брат страшно побледнел, как это всегда с ним случалось, когда он сердился и не мог выговорить какое-нибудь слово, и отправился в стекловарню, чтобы попытаться объяснить ситуацию своим друзьям-кочегарам.

Единственным из всей семьи, кто всей душой с нетерпением ждал приезда короля, был мой старший брат Робер. Он должен был участвовать в показательных работах – продемонстрировать вместе с другими мастерами свое искусство стеклодува, ибо король, как сказал нам отец, выразил желание наблюдать все стадии изготовления изделия – с того момента, как на конце трубки образуется пузырь из жидкого стекла, и до того, как на готовую вещь наносится гравировка, – это делали мой отец и дядя Мишель.

Наконец великий день наступил. Все мы поднялись ни свет ни заря, меня и мою сестру Эдме нарядили в самые лучшие наши белые платья. А вот мама, к великому моему разочарованию, не стала надевать свое красивое парчовое платье, а надела обычное темное воскресное, добавив к нему только кружевной воротничок. Я собиралась запротестовать, но она не дала мне сказать ни слова.

– Пусть другие рядятся в павлиньи перья, если им это нравится, – сказала она. – Я чувствую себя более достойно в своем обычном наряде.

Я никак не могла понять, почему она надевала роскошный туалет из парчи ради моего брата и всего-навсего воскресное платье для встречи короля. Но отец, по-видимому, одобрил это, так как кивнул головой, когда увидел ее, и заметил:

– Так лучше.

Но я все-таки была с этим не согласна. И вдруг, не успели мы опомниться, как к нам нагрянуло все общество из шато. Мадам ле Гра де Люар подъехала к воротам парка в своей карете, сын сопровождал ее верхом, а с ним еще множество всадников, и среди них несколько дам, все в охотничьих костюмах, которые, как мне показалось, были в некотором беспорядке. Вокруг ехали грумы и егери. На мой вкус, все это было совсем не похоже на королевский кортеж.

– Король, – шепотом обратилась я к матери, – где же король?

– Тише, – прошептала она. – Вон он там, слезает с лошади, разговаривает с мадам ле Гра де Люар.

Я чуть не расплакалась от разочарования – этот пожилой господин, перед которым мадам ле Гра де Люар присела в глубоком реверансе, ничем не отличался от остальных, на нем были охотничья куртка и панталоны, и парик его даже не был завит. Возможно, утешала я себя, это потому, что он весь день провел на охоте, а

лучший его парик возят в специальном сундучке. Оплядев толпу женщин вокруг – жен мастеров и работников, которые собрались, чтобы его приветствовать, король небрежно помахал им рукой и усталым голосом обратился к хозяйке:

– Мы все рано позавтракали и умираем с голода. Где мы обедаем?

Таким образом, программа изменилась, и визит в мастерские, который стоял на первом месте, отложили. Моментально отдали приказания и изменили весь ход работы у печи, хотя это было нелегко и крайне неудобно, а король вместе со своими гостями проследовал в шато обедать на добрые три часа раньше, чем предполагалось. Мне потом передавали, что мадам ле Гра де Люар настолько растерялась, что ей пришлось принимать сердечные лекарства, и я подумала: так ей и надо, она это заслужила, за то что так грубо разговаривала с мамой. После того как все работники, занятые у печи, прождали несколько часов, король вместе со всей свитой вернулся в мастерские, хорошо отдохнув и подкрепившись. У нас же в животах было пусто. Гости были в отличном настроении, смеялись и болтали между собой, а дамы то и дело восторженно вскрикивали, увидев тот или иной предмет, но тут же, взглянув на что-нибудь другое, отворачивались, – словом, создалось впечатление, что они не понимают решительно ничего.

Матушку представили королю, который сказал что-то через плечо одному из своих приближенных, – мне кажется, речь шла о ее росте, она ведь была значительно выше его, – а потом все пошли дальше, а мы следом за ними, чтобы посмотреть, как работает Робер, как он манипулирует своей стеклодувной трубкой. Он проделал всю операцию с необыкновенным изяществом, поворачивая трубку то так, то эдак, вертя ее в руках так небрежно, словно вокруг никого не было и никто на него не смотрел, тогда как я прекрасно знала, что он видит и короля, стоявшего в двух шагах от него, и дам, которые им любят.

– Какое великолепное зрелище! – сказала одна из них, и даже я, в свои шесть лет, понимала, что она имеет в виду не трубку и не то, что с ней делал Робер, но самого моего брата. А потом случилась ужасная вещь. Мой брат Мишель, который стоял позади в толпе подмастерьев, ступил вперед, чтобы получше рассмотреть королевскую свиту, поскользнулся и растянулся во весь рост у самых ног короля.

Отчаянно покраснев от стыда, он поднялся на ноги, но король добродушно похлопал его по плечу.

– Постарайся, чтобы такого с тобой не случилось, когда сделаешься стеклодувом, – сказал он. – Ты давно здесь работаешь?

И тут случилось неизбежное. Бедняга Мишель пытался что-то сказать, но не мог выговорить ни слова – все его попытки справиться с собой оказались тщетными.

Он ловил ртом воздух, брызгал слюной, голова его дергалась при каждом звуке, вылетавшем из горла, как всегда, когда он нервничал, и все высокие гости стали смеяться.

– Этому малому следует поберечь горло для стеклодувной трубки, – сказал король среди всеобщего веселья, и двинулся дальше, познакомиться со следующим этапом работы. Я заметила, что один из подмастерьев, из тех, что постарше, оттеснил брата назад, туда, где стояли все остальные, чтобы спрятать его за спинами товарищей.

Все остальное было для меня безнадежно испорчено. Мне даже не хотелось смотреть, как дядя Мишель будет наносить гравировку на готовый бокал, – обычно это зрелище доставляло мне огромное удовольствие. Ничто не могло быть компенсацией за тот стыд, который пришлось терпеть бедному брату, и когда мой отец протянул королю кубок, взяв его из груды готовых изделий, которые мастера изготовили в знаменательный день, на глазах гостей, – на нем были выгравированы инициалы короля и королевские лилии, – я готова была пожелать, чтобы он упал на пол и разбился вдребезги.

Наконец все было кончено. Король со свитой покинули стекловарню, дамы и кавалеры снова сели на лошадей у ворот шато, и мы проводили их, наблюдая, как они скрываются в лесу, направляясь в сторону Семюра. Усталая и огорченная, я тащилась вслед за мамой к дядиному дому. Эдме уже спала у нее на руках. Вскоре пришли отец, дядя и братья; на лицах взрослых было написано облегчение по поводу того, что тяжелое испытание наконец закончилось.

– Все сошло хорошо, – с удовлетворением заметил отец. – Король был чрезвычайно милостив. Ему, должно быть, понравилось то, что он видел.

– Я никогда не думал, что придется гравировать бокал для самого короля, – сказал дядя Мишель, застенчивый человек, который думал

только о своей работе и больше ни о чем. – Этот день я запомню на всю жизнь.

– Совершенно верно, – сказал отец, оборачиваясь к сыновьям. – Сегодня мы были удостоены великой чести, и мы не должны этого забывать. – Он взял в руки один из бокалов и осмотрел его. – Это лучшее из того, что до сих пор нам удавалось сделать, Мишель, – обратился он к дяде. – Мы должны быть довольны. Если и ты, Робер, сделаешь со временем что-нибудь подобное, у тебя будут все основания испытывать удовлетворение. Я предлагаю сохранить этот бокал, этот кубок, как семейный талисман, и если он не принесет нам славы и богатства, то будет, по крайней мере, напоминать следующим поколениям о высоком мастерстве. Когда ты женишься, Робер, ты можешь передать его своим сыновьям.

Робер, в свою очередь, внимательно осмотрел кубок. Все это, по-видимому, произвело на него сильное впечатление.

– Для человека несведущего, – заметил он, – королевские инициалы легко можно принять за фамильный девиз, кстати сказать, даже наш собственный. Но нам, я думаю, никогда не придется удостоиться такой чести.

Он вздохнул и возвратил кубок отцу.

– Мы не нуждаемся ни в каких девизах. Доказательством нашей чести является то, что мы, Бюссоны, создали своими руками. Подойди ко мне, Мишель, разве тебе не хочется прикоснуться к бокалу на счастье? – Он сделал движение, словно желая передать драгоценный сосуд младшему сыну, но Мишель отпрянул от него, яростно тряс головой.

– К-какое счастье? Он может мне п-принести только несчастье. Я не хочу к нему п-прикасаюсь.

Он резко повернулся и выбежал из комнаты. Я ударилась в слезы и бросилась было за ним, но матушка остановила меня.

– Оставь его, – спокойно сказала она. – Он только еще больше расстроится.

Она рассказала отцу и дяде о том, что произошло в мастерской, поскольку в тот момент их там не было.

– Очень жаль, – заметил отец. – И тем не менее Мишель должен научиться владеть собой.

Он обернулся к дяде и стал обсуждать с ним какие-то другие вопросы, но я слышала, как Робер шепотом сказал матери:

– Мишель – идиот. Он должен был тут же придумать какую-нибудь шутку и рассмешить короля, чтобы король смеялся вместе с ним, а не над ним. Если бы он это сделал, все были бы довольны, включая его самого, и это стало бы самым ярким моментом королевского визита.

Мать не разделяла этого мнения.

– Не каждый из нас, – сказала она ему, – обладает твоей способностью обратить каждую ситуацию себе на пользу.

Она, конечно, заметила картинные позы, которые он принимал, орудуя своей трубкой, и слышала восхищенные возгласы дам из королевской свиты. Несмотря на неприятный эпизод с Мишелем, кубок все-таки принес нам счастье, это подтвердилось на следующий же день.

Мадам ле Гра де Люар отбыла из шато вместе со всеми своими слугами, и едва только улеглась пыль, поднятая колесами ее кареты, как со стороны Кудресье показался экипаж совсем другого рода, направлявшийся к нашим железным воротам. Это был фургон бродячего торговца, увешанный кастрюлями и горшками, из тех, что разъезжают по округе, главным образом между Ферт-Бернаром и Ле-Маном, а рядом с возницей сидел или, вернее, стоял, радостно размахивая руками, человек – знакомая фигура в пестром камзоле и пунцовом жилете, – на каждом плече у которого сидел отчаянно орущий попугай. Это был мой брат Пьер. Отец, который был вместе с нами, так и застыл на месте, не в силах пошевелиться.

– Откуда, скажи на милость, ты явился? – строго крикнул он, когда брат выскочил из фургона и подбежал к нам.

– С Мартиники, – отвечал Пьер. – Там слишком жарко, я не мог этого выносить и решил, что лучше уж, в конце концов, жариться у печи и дуть стекло.

Он подошел, чтобы обнять нас, но, как ни были мы счастливы его видеть, нам пришлось отступить назад из-за его страшных попугаев.

– Насколько я понимаю, – сказала мать, – та партия товара, которую дал тебе отец, не принесла тебе богатства?

Пьер улыбнулся.

– Я не стал его продавать, – сказал он. – Я все это роздал.

Бродячий торговец помог Пьеру вытащить из фургона сундучок, и брат, несмотря на протесты отца, открыл его тут же, на месте. Он не привез с Мартиники ничего ценного, одни только жилеты – целую кучу пестрых жилетов тамошнего производства, которые выделывают прямо на базарах, – для каждого члена семьи.

Глава третья

К тому времени как мне сравнялось тринадцать лет, у моего отца под началом было уже четыре стеклоvarни. Он смог продлить аренду в Ла-Пьере, по-прежнему работал в Брюлоннери и Шерињи и, кроме того, взял на себя мануфактуру в Шен-Бидо, что расположен между Монмирайлем и Плесси-Дореном. Здесь, так же как и в Ла-Пьере, владелец предприятия мсье Пезан де Буа-Жильбер сдал его в аренду моему отцу, предоставив ему полную свободу действия и не вмешиваясь в дела. Сам он жил в своем шато в Монмирайле.

Стеклоvarня в Шен-Бидо, так же как и Ла-Пьер, была расположена в самой гуще лесов; это было сравнительно небольшое предприятие – в мастерской была всего одна печь. Хозяйский дом и ферма прилегали непосредственно к ней, а лачуги работников лепились, вытянувшись в линию, с другой стороны.

Скромный, несколько даже примитивный, Шен-Бидо значительно отличался от грандиозного Ла-Пьера, окруженного великолепным парком; однако матушка с самого начала полюбила его и сразу же стала приводить в порядок хозяйский дом, желая сделать его подобающим и достаточно удобным жилищем для Робера, с тем чтобы он занял место мастера-управляющего при отце и начал набираться опыта на будущее.

Шен-Бидо находился на расстоянии какого-нибудь часа езды от Ла-Пьера, и для меня было огромным удовольствием поехать туда вместе с матушкой на два-три дня, чтобы посмотреть, как идут дела у Робера.

Он к этому времени превратился в удивительно красивого молодого человека с прекрасными манерами. Отец мой, бывало, говорил, что манеры у него уж слишком хороши и, если он не поостережется, его станут принимать за лакея. Робер всякий раз сердился и раздражался.

– Отец совсем не бывает в приличном обществе и ничего не понимает в современных манерах, – жаловался он мне после очередного разговора на эту тему. – Если сам он имеет дело исключительно с купцами, работниками и мастерами, это не значит,

что и я должен делать то же самое, ограничившись обществом одних только стеклодувов. Как он не понимает, что, вращаясь в более изысканных кругах, я получу гораздо больше заказов на наш товар, чем когда-либо удавалось сделать ему.

Когда брат работал в Ла-Пьере и отец куда-нибудь отлучался, он при каждом удобном случае уезжал в Ле-Ман, ибо общественная жизнь в городе была в то время чрезвычайно оживленной; то и дело давались балы, концерты или спектакли, и многие аристократы, которые обычно проводили время в Версале, считали нужным – это стало модным – держать открытый дом в провинции. Они принимали гостей в своих замках и особняках, соревнуясь друг с другом по поводу того, чей салон будет наиболее остроумным. В те годы самое широкое распространение получило масонство, и я боюсь сказать точно, тогда ли брат вступил в масонскую ложу или несколько позже, но, так или иначе, он постоянно меня уверял, что занимает твердое положение в масонском обществе и что, если он выйдет из-под опеки отца и будет жить самостоятельно, ему будет легче уезжать и встречаться с друзьями всякий раз, как ему захочется. Матушка, естественно, ничего об этом не знала. Робер всегда был на месте, когда мы приезжали к нему с визитом, и она тут же погружалась с головой в дела «дома» – приводила в порядок торговые книги, хлопотала на ферме, заботилась о том, чтобы работники, их жены и дети ни в чем не терпели нужды. К тому же Робер стал отличным мастером, и она с гордостью отмечала высокое качество изделий, которые каждую неделю отправлялись в Париж.

Для меня не было большей радости, чем быть поверенной Робера, без конца выслушивать рассказы о его любовных делах и различных эскападах. В награду за это он давал мне уроки истории и грамматики, ибо наш отец считал, что поскольку мы с Эдме девушки и нам предстоит выйти замуж, скорее всего за человека нашего круга, то есть ремесленника-стеклодува, то нас незачем и учить, с нас достаточно элементарного воспитания.

– Он глупо ошибается, – возражал Робер. – Каждая молодая женщина должна уметь себя вести и знать, как следует держаться в обществе.

– Но это же зависит от того, какое общество, – отвечала я, несмотря на горячее желание учиться. – Возьми, например, тетушку

Анну из Шериньи, ни она, ни ее муж Вио не умеют толком подписать свое имя и тем не менее прекрасно живут.

– Несомненно, – говорил Робер, – и так и будут всю свою жизнь жить в Шериньи, никуда оттуда не двинутся. Подожди, вот у меня будет свое собственное дело в Париже, и ты приедешь ко мне в гости. Как же я смогу представить свою сестру обществу, если она будет недостойна меня?

Стекольный завод в Париже... Какие смелые мечты! Интересно, что бы подумали родители, если бы они знали об этом?

Робер тем временем продолжал трудиться в качестве управляющего в Шен-Бидо без особых осложнений, и вскоре к нему присоединился Пьер, который, в свою очередь, получил звание мастера. Я подозревала, что это устроил Робер, для того чтобы иметь возможность беспрепятственно отлучаться всякий раз, когда ему вздумается «показаться в обществе», но ни отец, ни мать, разумеется, не имели об этом ни малейшего понятия.

В голове у Пьера тоже бродили новые идеи, но совершенно другого рода. Вернувшись с Мартиники, он постоянно рассказывал о бедственном положении туземцев, о тех страданиях, которые они испытывают. Он стал много читать, без конца цитировал Руссо и неустанно повторял: «Человек рожден свободным, но повсюду скован цепями» – к великому раздражению отца.

– Если уж тебе хочется заниматься философией, – говорил он, – читай, по крайней мере, каких-нибудь достойных авторов, а не этого негодяя, который наплодил незаконных детей и отдал их всех в приют.

Однако разубедить Пьера было невозможно. Каждое государство, заявлял он, должно управляться в соответствии с теориями Жан-Жака, на благо всех в нем живущих, без всякого различия. Мальчиков нужно воспитывать «естественно», на природе, их не следует ничему учить, пока они не достигнут пятнадцати лет.

– Как жаль, – отвечал отец, – что ты не остался на Мартинике и не сделался туземцем. Такая жизнь подошла бы тебе больше, чем та, которую ты ведешь здесь, – посредственного мастера стекольных дел.

Сарказм, заключенный в этих словах, не произвел на Пьера никакого впечатления. Он постоянно чем-нибудь увлекался, заражая своими идеями Мишеля, то и дело выступал в защиту того или иного дела, и отец, несмотря на то что и сам в молодости считался

человеком прогрессивным – был известен своими химическими и научными изобретениями, – не мог понять, что происходит с его сыновьями.

Матушка относилась к этому более спокойно.

– Они молоды, – говорила она. – Молодые люди всегда носятся с какими-то фантазиями. Это у них пройдет.

Однажды Робер прискакал в Ла-Пьер якобы для того, чтобы обсудить некоторые деловые вопросы, касающиеся обоих заводов, но в действительности чтобы сообщить под большим секретом мне и Пьеру о своем новом проекте, о котором никто не должен был знать, кроме нас двоих.

– Я поступил в аркебузьеры, полк избранных, – сообщил он мне в состоянии чрезвычайного возбуждения. – В качестве временного офицера, разумеется, однако это означает, что в течение трех месяцев я буду проходить службу в Париже. Меня уговорили мои друзья в Ле-Мане, и я получил необходимые рекомендации. Самое главное вот в чем: во время моего отсутствия нужно всеми силами постараться, чтобы отец не ездил в Шен-Бидо.

Я покачала головой.

– Это невозможно, – сказала я. – Он обязательно узнает.

– Нет, – уверял меня Робер. – Пьер поклялся молчать об этом, и все работники тоже. Если случится так, что отец все-таки приедет в Шен-Бидо, ему скажут, что я отправился в Ле-Ман по каким-нибудь делам. Он ведь никогда не задерживается там надолго – на день-два, не больше.

В течение следующих нескольких недель я делала все возможное, для того чтобы стать необходимой отцу. По утрам шла вместе с ним к печи, дожидалась его возвращения после конца работы и делала вид, что меня очень интересуют все дела в мастерской. Отец был польщен и в то же время удивлялся, говоря, что я делаюсь разумной девицей и что со временем из меня выйдет отличная жена для хозяина стекольного «дома».

Мой замысел осуществился столь успешно, и отец получал такое удовольствие от моего общества в Ла-Пьере, что за все это время он ни разу не побывал в Шен-Бидо. Но однажды, незадолго до того как Робер должен был вернуться, когда мы все сидели за ужином, отец посмотрел на меня и спросил:

– Как ты смотришь на то, чтобы поехать со мною в Париж? Нанести, так сказать, первый визит в столицу.

Я сразу же подумала, что все открылось и что это просто уловка, чтобы заставить меня проговориться. Я быстро посмотрела на матушку, но она только ободряюще улыбнулась.

– Почему бы и нет? – Она кивнула отцу. – Софи уже достаточно взрослая, она вполне может тебя сопровождать. И у меня будет спокойнее на душе, если она поедет с тобой.

Мои родители постоянно делали вид, что отца опасно отпускать одного в столицу, это была их обычная шутка.

– Я, конечно, поеду с огромным удовольствием, – ответила я, снова обретая уверенность. Эдме тут же потребовала, чтобы ее взяли тоже, однако матушка проявила твердость.

– Со временем придет и твой черед, – сказала она моей сестре, – но если ты будешь хорошо себя вести, мы с тобой поедем в Шен-Бидо навестить Робера, пока отец и Софи будут в Париже.

Этого мне как раз совсем не хотелось, но тут уж ничего нельзя было поделать, и я уже не вспоминала о своем беспокойстве, когда сидела два дня спустя рядом с отцом в дилижансе, который направлялся в столицу. Париж... Мой первый визит... А я всего-навсего невежественная деревенская девчонка, которой не было еще и четырнадцати лет и которая видела в своей жизни всего один город Ле-Ман. Мы находились в дороге часов двенадцать, а может быть, и больше – выехали ранним утром, а когда подъезжали к столице, было уже, вероятно, часов шесть или семь, и я сидела, прижавшись носом к оконному стеклу, полуживая от усталости и волнения.

Был, как мне помнится, июнь, над городом висела теплая дымка, повсюду было разлито ослепительное сияние, деревья уже оделись пышной листвой, на улицах толпилось множество людей, и длинные вереницы экипажей катились по мостовой, возвращаясь в Версаль после скачек. Король Людовик Шестнадцатый и его молодая королева Мария-Антуанетта были коронованы всего год назад, однако при дворе, как рассказал мне отец, уже произошли изменения – прежний строгий тон был забыт, королева ввела моду на балы и оперу, а брат короля граф д'Артуа^[11] вместе со своим кузеном герцогом Шартрским соперничали друг с другом в новом спортивном увлечении, столь популярном в Англии, – скачках. Возможно, думала я, нетерпеливо

выглядывая из окна экипажа, я тоже увижу какого-нибудь герцога или герцогиню, возвращающихся со скачек; может быть, эти молодые кавалеры, которые пробираются сквозь толпу на площади Людовика Пятнадцатого перед Тюильрийским дворцом, и есть братья короля? Я указала на них отцу, но он только рассмеялся.

– Это лакеи, – объяснил он мне, – или парикмахеры. Все они обезьянничают, подражают своим господам. Разве можно увидеть принца крови среди толпы, да еще пешком?

Дилижанс высадил нас на конечном пункте, на улице Буле. Здесь царили суэта и неразбериха, но не было никого, кого можно было бы назвать кавалером или даже парикмахером. На узких улицах скверно пахло, иногда посреди дороги текла широкая канава, собиравшая в себя всякие отбросы; многочисленные нищие протягивали руки за подаванием. Я помню внезапное чувство страха, охватившее меня, когда отец отвернулся, чтобы распорядиться насчет нашего багажа, и в тот же момент между нами протиснулась какая-то женщина с двумя босоногими ребятишками, которая требовала денег. Когда я отшатнулась, она погрозила мне кулаком и выругалась. Это был не тот Париж, которого я ожидала, где царил сплошное веселье и смех, где люди ездили в оперу и горели яркие огни.

Отец имел обыкновение останавливаться в гостинице «Шеваль Руж»^[12] на улице Сен-Дени, возле церкви Сен-Лё и Центрального рынка. Туда он меня и отвел, и здесь мы жили все три дня нашего пребывания в Париже.

Должна признаться, я была разочарована. Мы почти не выходили из гостиницы, где постоянно толпились люди – беднейшие из бедных – и скверно пахло, а если и выходили, то только в лавки и на склады, где у отца были дела. Раньше я считала, что наши углежогы из Ла-Пьера грубые люди, но они казались вежливыми и любезными по сравнению с теми, что толклись на улицах Парижа, – здесь тебя бесцеремонно пихали, не думая извиняться, и к тому же нагло смотрели на тебя во все глаза. Несмотря на то что я была еще ребенком, я не смела показаться на улице одна и все время держалась возле отца или сидела в своей комнате в «Шеваль Руж».

В последний вечер нашего пребывания в Париже отец повел меня на площадь Порт Сен-Мартен, чтобы посмотреть, как подъезжают кареты и другие экипажи к началу представления в опере, и это

действительно был другой Париж, ничуть не похожий на нищий квартал вокруг нашей гостиницы. Блестящие дамы в брильянтах, украшающих их голые плечи и грудь, выходили из экипажей, сопровождаемые кавалерами, так же роскошно одетыми, как и они сами. Весь этот блеск, все великолепие красок, оживленные голоса, аффектированная речь – можно было подумать, что они разговаривают на другом языке, их французский был совсем не похож на наш, – то, как двигались эти дамы, как они поддерживали юбки, как важно выступали рядом с ними кавалеры, покрикивая: «Расступись, дорогу госпоже маркизе!» – расталкивая толпу, собравшуюся на ступеньках оперы, – все это казалось мне нереальным. Эти блестящие дамы и кавалеры распространяли вокруг себя странный экзотический аромат, напоминающий запах увядших цветов, чьи лепестки сморщились и потеряли свежесть, и этот густой душный запах смешивался с запахом грязи и пота, исходившим от тех, кто стоял возле нас, теснясь и толкаясь, так же как и мы сами, в своем упрямом желании увидеть королеву.

Наконец подъехала ее карета, запряженная четверкой великолепных лошадей, лакеи спрыгнули с запяток, чтобы отворить дверцы, и тут же, неизвестно откуда, появились придворные слуги, которые старались оттеснить толпу любопытных с помощью длинных палок.

Первым из кареты вышел брат короля, герцог д'Артуа, – король, как всем было известно, не любил оперы и никогда там не бывал. Это был толстый бело-розовый юноша в атласном камзоле, сплошь покрытом звездами и орденами. За ним следовала молодая женщина в розовом платье с огромным брильянтом в напудренных волосах и высокомерным, презрительным выражением лица. Позже мы узнали, что это была графиня де Полиньяк, близкая подруга королевы. Затем, после короткой паузы, я увидела и саму королеву, она вышла из кареты последней. Королева была вся в белом, на шее и в волосах у нее сверкали брильянты, ее светлые голубые глаза скользнули по толпе взором, выражающим полное безразличие. Опираясь на руку графа д'Артуа, она сошла на землю и исчезла из виду – такая миниатюрная, хрупкая и изящная, похожая на фарфоровые статуэтки, которые показывал мне утром отец, они были выставлены в витрине лавки его знакомого купца.

– Ну вот, – сказал мне отец, – теперь ты удовлетворена?

Я даже не могла сказать, получила ли я какое-нибудь удовольствие. Я словно бы заглянула в другой мир. Неужели эти люди тоже едят, думала я, раздеваются, отправляют те же самые функции, что и мы? Этому невозможно было поверить.

Остаток вечера мы провели, гуляя по улицам, чтобы «остыть», как выразился отец, и как раз в тот момент, когда мы остановились на минутку на улице Сент-Оноре, разговаривая с одним из знакомых отца, я увидела, как к нам приближается знакомая фигура, облаченная в великолепный мундир корпуса аркебузьеров. Это был мой брат Робер.

Он сразу же нас увидел, остановился на мгновение, потом сделал пируэт, словно балетный танцовщик, перепрыгнул через канаву, что текла посередине улицы Сент-Оноре, и скрылся в саду, окружающем Тюильрийский дворец. Отец, который в этот момент случайно обернулся, удивленно посмотрел вслед удаляющейся фигуре.

– Если бы я не знал, что мой старший сын находится у себя дома, в Шен-Бидо, – сухо заметил он, обращаясь к своему собеседнику, – я бы решил, что этот молодой офицер, который только что скрылся за деревьями, не кто иной, как он.

– Все молодые люди, – заметил знакомый отца, – похожи друг на друга, когда на них военная форма.

– Возможно, – ответил отец. – И все обладают одинаковой способностью выпутываться из затруднительного положения.

Больше не было сказано ни слова. Мы повернулись и пошли назад, к себе в гостиницу на улице Сен-Дени, а на следующий день вернулись домой в Ла-Пьер. Отец никогда не упоминал об этом случае, но когда я спросила матушку, была ли она в Шен-Бидо во время нашего отсутствия, она ответила, глядя мне прямо в глаза:

– Меня просто поражает, как Робер великолепно умеет работать – я имею в виду состояние дел в мастерской – и развлекаться в одно и то же время.

Но одно дело играть в солдатики, и совсем другое – отправить партию стекольного товара в Шартр, не внося его в бухгалтерские книги мастерской. Любому, кто попытался бы обмануть мою мать в том, что касается торговли, суждено было горько об этом пожалеть.

Мы были в Шен-Бидо с обычным двухдневным визитом, во время которых матушка обычно проверяла, как выполняются заказы, и все шло гладко, пока, совершенно неожиданно, она не объявила, что хочет пересчитать пустые ящики, которые вернулись из Парижа на прошлой неделе.

– В этом нет необходимости, – сказал Робер, который на сей раз находился не в отлучке, а дома. – Ящики свалены на складе до следующего раза, когда нужно будет снова отправлять товар. Кроме того, количество их известно: двести штук.

– Правильно, их должно быть двести. Именно в этом я и хочу убедиться.

Брат продолжал протестовать.

– Я не могу поручиться за то, что на складе все в порядке, – сказал он, бросив мне тревожный взгляд. – Блез в это время был нездоров, и когда привезли ящики, их свалили кое-как. Но уверяю вас, к тому времени, как будет готова новая партия, все разберут и сложат как полагается.

Матушка не хотела ничего слышать.

– Мне понадобятся двое работников, чтобы сложить ящики, и тогда я смогу их пересчитать. Прошу тебя распорядиться немедленно. И я хочу, чтобы ты пошел со мной.

Она обнаружила, что не хватает пятидесяти ящиков, и, как на грех, в тот самый день в Шен-Бидо наведалься возчик-комиссионер, из тех, что мы нанимали на стороне для доставки товара. Отвечая на вопрос матушки, он, ни о чем не подозревая, объяснил ей, что в этих самых ящиках, которых она недосчиталась, отправлена в Шартр партия особо ценного хрусталя, предназначенного для стола герцогских драгун, которые как раз в это время стояли в городе.

Матушка поблагодарила комиссионера за эти сведения и затем пригласила Робера пройти вместе с ней в господский дом.

– А теперь, – сказала она, – я желаю получить объяснение, почему эта партия «особо ценного хрусталя» не значится в реестре?

Может быть, если бы на месте старшего брата оказался средний, Мишель, которому трудно было говорить из-за порока речи, дело могло обернуться по-иному. Робер же отвечал без малейшего колебания:

– Вы должны понять, что, когда имеешь дело с человеком благородным, таким как полковник граф де ла Шартр, который, как всем известно, является личным другом его высочества брата короля, нельзя рассчитывать на то, что тебе немедленно заплатят. Быть поставщиком такого человека достаточно высокая честь, почти равносильная оплате.

Матушка указала пером на строчку в открытой бухгалтерской книге.

– Вполне возможно, – сказала она. – Однако мы с твоим отцом не имеем сомнительного удовольствия состоять в настоящее время с ним в деловых отношениях. Что же касается самого графа де ла Шартра, то о нем мне известно только одно: его замок в Маликорне славится всяческим сумасбродством и интригами, о нем говорят, что он разорился сам и разорил всех торговцев в округе – никто из них не может получить ни одного су своих денег.

– Все это неправда, – отвечал мой брат, пренебрежительно пожимая плечами. – Я удивляюсь, как вы можете слушать такие злобные сплетни.

– Я не могу считать сплетнями тот факт, что честные торговцы, с которыми хорошо знаком твой отец, вынуждены обращаться за помощью или голодать, – отвечала моя мать, – только потому, что твой аристократический друг строит в своем имении театр.

– Поощрять искусство необходимо, – возражал Робер.

– Еще более необходимо платить долги, – отвечала матушка. – Какова стоимость партии хрусталя, отправленного этому полку?

Брат колебался.

– Я точно не знаю, – начал он. Матушка настаивала на ответе.

– Около полутора тысяч ливров, – признался наконец он.

Не хотела бы я в этот момент оказаться на месте брата. Синие глаза матушки подернулись ледком, словно северные озера.

– В таком случае я сама напишу графу де ла Шартру, – заявила она, – и если не получу от него удовлетворительного ответа, то обращусь непосредственно к его высочеству, брату короля. Я не сомневаюсь в том, что либо тот, либо другой будут настолько любезны, что ответят мне и заплатят долг.

– Можете не трудиться, – сказал брат. – Короче говоря, деньги уже истрачены.

Тут начались настоящие неприятности. Я дрожала за брата... Как он ухитрился истратить полторы тысячи ливров? Матушка оставалась спокойной. Она опядела скромную меблировку господского дома, обставленного еще моими родителями.

– Насколько я могу судить, – заметила она, – ни здесь, ни в других помещениях на территории мастерской не заметно следов крупных затрат.

– Вы совершенно правы, – ответил брат. – Деньги были истрачены не здесь, не в Шен-Бидо.

– Где же тогда?

– Я отказываюсь отвечать.

Матушка закрыла грессбух, встала и направилась к двери.

– В течение трех недель ты дашь мне полный отчет за каждое су, – сказала она. – Если к этому времени я не получу удовлетворительного ответа, я скажу твоему отцу, что мы закрываем завод в Шен-Бидо по причине совершенного там мошенничества, и добьюсь того, что твое имя будет вычеркнуто из списка мастеров-стеклодувов в пределах всей нашей корпорации.

Она вышла из комнаты. Брат принужденно рассмеялся и, развалившись в кресле, из которого она только что встала, положил ноги на стол.

– Мать никогда не осмелится это сделать, – сказал он. – Она же понимает, что мне тогда конец.

– Напрасно ты так уверен, – предупредила я его. – Деньги надо найти, это несомненно. Каким образом ты их истратил?

Робер покачал головой.

– Я тебе этого не скажу, – заявил он. Несмотря на серьезность ситуации, на губах у него появилась улыбка. – Денег нет, они истрачены, и их уже не вернуть, а все остальное уже не важно.

Истина обнаружилась довольно необычным образом. Примерно неделю спустя к нам в Ла-Пьер приехали из Брюлоннери тетушка Демере с мужем, и, как обычно, после того как обсудили новости и сплетни из Парижа, Вандома и других крупных городов, разговор зашел о местных делах.

– Я слышала, что весь Шартр бурлит по поводу маскарада, который устраивали там на днях. На нем были все тамошние красотки, с мужьями или без них.

При упоминании о Шартре я наострила уши и посмотрела на Робера, который тоже сидел за столом.

– Правда? – спросил отец. – Мы ничего об этом не слышали. Но ведь мы так далеки от этих легкомысленных затей в нашей глуши.

Тетушка, которая была принципиальной противницей всякого веселья, состроила презрительную мину.

– В Шартре только об этом и говорили, когда мы были там две недели тому назад, – продолжала она. – Оказывается, офицеры драгунского полка его высочества и молодые кутилы из корпуса аркебузьеров вроде как побились об заклад: кто из них лучше повеселит местных дам, которые съедутся со всей округи.

– А шартрские дамы, как известно, весьма не прочь повеселиться и очень любят тех, кто предоставляет им эту возможность, – сказал дядюшка Демере, подмигнув моему отцу.

Отец насмешливо поклонился, как бы принимая шутку.

– Говорят, все это продолжалось чуть ли не до самого рассвета, – продолжала тетушка. – Пили, танцевали, гонялись друг за другом вокруг собора самым бессовестным образом. Я слышала, что аркебузьеры истратили целое состояние на это свое развлечение.

– Меня это несколько не удивляет, – заметил отец. – Поскольку эти господа берут пример с придворных нового двора в Версале, этого следовало ожидать. Будем надеяться, что они могут позволить себе такую роскошь.

Робер неотрывно глядел в потолок, делая вид, что погружен в размышления или что заметил какое-то пятно на штукатурке.

– А что драгуны его величества? – спросила матушка. – Какова была их роль во всем этом деле?

– Мы слышали, что они проиграли пари, – ответил дядя. – Обед, который они дали, не шел ни в какое сравнение с маскарадом. Во всяком случае, драгуны теперь расквартированы в каком-то другом месте, а аркебузьеры, у которых короткий срок службы, вероятно, почивают на лаврах.

Надо отдать должное матушке – ни одно слово об этой эскападе не коснулось ушей отца, но она сразу же уехала с Робером в Шен-Бидо, оставив на меня все хозяйство в Ла-Пьере, несмотря на то что я была еще так молода, и оставалась там, пока Робер не возместил своим собственным трудом убытки, изготовив собственноручно точно

такую же партию хрусталия, которая была отправлена драгунам его высочества.

Была весна тысяча семьсот семьдесят седьмого года. Долгосрочная аренда шато и стекловарни в Ла-Пьере, которые были нашим домом в течение такого долгого времени, оканчивалась. У сына мадам ле Гра де Люар, к которому перешло по наследству это имение, были другие планы, и мы с тяжелым сердцем простились с красивым домом, в котором родились мы с Эдме и где выросли три наших брата, ставшие теперь взрослыми юношами.

Мы с Эдме и, конечно же, Пьер и Мишель считали ле Гра де Люара захватчиком, посягающим на наши права – неужели только потому, что он сеньор и владелец Ла-Пьера, он считает себя вправе отдать имение другому арендатору или приезжать туда, чтобы жить там несколько месяцев в году? Что касается самой стекловарни, которую мой отец из скромной домашней мастерской превратил в один из самых значительных «домов» во всей стране, то она должна была перейти к другому мастеру и, скорее всего, снова захиреет в чужих неумелых руках. Наши родители смотрели на вещи философски, более спокойно, чем мы. Мастер-стеклодув должен быть готов к тому, что ему придется сняться с насиженного места и искать себе новое. В старину стеклодувы всегда были «бродягами», они перебирались из одного леса в другой, нигде не задерживаясь больше чем на несколько лет. Мы должны почитать себя счастливыми, ибо мы выросли в Ла-Пьере, провели там все свое детство. К счастью, срок аренды Шен-Бидо, так же как и Брюлоннери, истекал еще не скоро – оставалось еще несколько лет, – так что семья могла выбирать, на чем остановиться.

Отец, мать и мы с Эдме перебрались в Шен-Бидо, а мальчики – Робер и Пьер – отправились в Брюлоннери. Мишель, которому к тому времени исполнился двадцать один год, решил на время совсем уйти из семьи, чтобы набраться опыта, и работал в Берри, что возле Буржа. Все три моих брата, для того чтобы их можно было отличать друг от друга в деловых кругах, сделали к своей фамилии добавление: Робер стал называться Бюссон л'Эне, Пьер – Бюссон дю Шарм, а Мишель – Бюссон-Шалуар. Шарм и Шалуар – это крохотные фермы, принадлежавшие моим родителям, – они получили их на основании брачного контракта, когда поженились.

Матушке эти добавления к фамилии показались ненужными и нелепыми.

– Ваш отец и его брат, – говорила она мне, – никогда не думали о том, что нужно друг от друга отличаться. Они были «братья Бюссонны» и довольствовались этим. Впрочем, если Роберу угодно называть себя Бюссон л'Эне, может быть, это поможет ему осознать лежащую на нем ответственность и остепениться наконец. Если он не может выбрать себе жену, которая бы его сдерживала, мне придется сделать это самой.

Я думала, что она шутит, ведь Роберу было уже двадцать семь лет, и он был вполне способен выбрать жену самостоятельно. Поначалу я не поняла и того, что мамыны участвовавшие поездки в Париж вместе с отцом и стремление познакомиться с семьями купцов, с которыми у отца были дела, связаны с решением женить Робера.

Только после того как они все трое стали ездить вместе, останавливаясь в «Шеваль Руж» якобы для того, чтобы обсудить дела, касающиеся двух стекловарен, и матушка, возвращаясь домой, стала как бы случайно упоминать имя мсье Фиата, зажиточного торговца, у которого была единственная дочь, – только тогда я поняла истинную причину этих визитов.

– Какая она, эта дочь? – спрашивала я.

– Очень хороша собой, – отвечала матушка, в устах которой это означало очень многое, – и, похоже, сильно увлечена Робером, так же как и он ею. По крайней мере, говорят они между собой без умолку. Я слышала, что он просил разрешения нанести им визит, когда будет в следующий раз в Париже, что означает на будущей неделе.

Это было настоящее сватовство. Я чувствовала, что ревную, – ведь до сих пор я была единственной поверенной Робера.

– Она ему скоро надоест, – отважилась заметить я.

– Вполне возможно. – Матушка пожала плечами. – Она – полная противоположность Роберу, если не считать веселого характера. Черненькая, миниатюрная, большие карие глаза и локоны до плеч. На твоего отца она произвела большое впечатление.

– Робер никогда не женится на дочери торговца, – продолжала я. – Даже если это самая хорошенькая девушка в Париже. Этим он уронит себя в глазах своих изысканных друзей.

Матушка улыбнулась.

– А что, если она принесет ему в приданое десять тысяч ливров? – спросила она. – Мы даем ему столько же, твой отец передает ему аренду Брюлоннери.

На сей раз мне нечего было ответить. Я отправилась к себе в комнату в самом дурном расположении духа. Однако такие обещания да плюс к тому хорошенькая двадцатилетняя Катрин-Адель оказались столь соблазнительными, что мой брат Робер устоять перед ними не мог.

Контракт был подписан родителями жениха и невесты, и двадцать первого июля тысяча семьсот семьдесят седьмого года в церкви Сент-Совер в Париже состоялось бракосочетание Робера-Матюрена Бюссона с Катрин-Аделью Фиат.

Глава четвертая

Первый удар обрушился на нас три месяца спустя после свадьбы. Дядюшка Демере приехал в Шен-Бидо сообщить моему отцу, что Робер сдал Брюлоннери в аренду некоему мастеру-стеклодуву по имени Комон, а сам арендовал Ружемон – великолепный «дом»-стеклозавод – и прилегающий к нему шато, принадлежавший маркизу де ла Туш и расположенный в приходе Сен-Жан-Фруамонтель.

Отца это известие настолько ошеломило, что он отказывался ему верить.

– Но это правда, – настаивал дядя. – Я сам видел документы, подписанные и скрепленные печатью. Маркиза, так же как и всех этих господ-аристократов, которым принадлежат земля и расположенные на ней предприятия, нисколько не интересуется, в каком состоянии эти предприятия находятся; им важно только одно: сдать их в аренду и получить денежки. Ты ведь знаешь этот «дом», они уже много лет работают в убыток.

– Это дело необходимо прекратить, – сказал отец. – Робер разорится. Он потеряет все, что у него есть, и к тому же погубит свою репутацию.

Мы отправились на следующий же день – отец, мать, дядюшка Демере и я. Я твердо решила поехать вместе с ними, а моим родителям, слишком встревоженным тем, что случилось, даже в голову не пришло, что мое присутствие там вовсе не обязательно. Мы задержались на час-другой в Брюлоннери, чтобы отец мог поговорить с арендатором, мсье Комоном, и посмотреть подписанные документы, а потом поехали через лес в Ружемон, который был расположен в долине по ту сторону дороги, ведущей из Шатолена в Вандом.

– Он сошел с ума, – повторял отец, – просто сошел с ума.

– Это наша вина, – сказала матушка. – Он не может забыть Ла-Пьер. Воображает, что в двадцать семь лет может сделать то, чего ты добился после многих лет тяжких трудов. Мы виноваты. Это я его избаловала.

Ружемон – поистине грандиозное место. Сама стекольная мануфактура состояла из четырех отдельных зданий, стоявших лицом

к обширному двору. Здание с правой стороны предназначалось для жилья мастеров-стеклодувов, возле него была расположена огромная стекловарная печь с двумя трубами, за ней следовали склады и кладовые, мастерские гравировщиков, а напротив них – жилища для рабочих. Массивные железные ворота соединяли двор с английским парком, служащим фоном для великолепного шато. Отец надеялся застать сына врасплох, но, как это обычно случается в нашем тесном мирке стеклоделов, кто-то уже успел сообщить новость о нашем предполагаемом визите, и не успели мы въехать во двор, как нам навстречу вышел Робер, веселый, улыбающийся и самоуверенный, как обычно.

– Добро пожаловать в Ружемон, – приветствовал он нас. – При всем желании вы не могли бы выбрать лучший момент для визита. Только сегодня утром мы заложили новую плавку, обе печи у нас в действии. Видите, обе трубы дымят? Все рабочие до одного заняты. Можете пойти и убедиться.

Робер был одет не в рабочую блузу – обычный костюм моего отца во время смены, – на нем был синий бархатный камзол экстравагантного фасона, который больше подошел бы для молодого дворянина, разгуливающего по террасам Версаля, чем для мастера-стеклодела, который собирается войти в свою мастерскую. Мне-то показалось, что он выпядит в нем ослепительно, однако, взглянув на отца, я смутилась: хмурое выражение его лица не предвещало ничего хорошего.

– Кэти примет маму и Софи в шато, – продолжал Робер. – Мы держим там для себя несколько комнат.

Он хлопнул в ладоши и крикнул на манер восточного владыки, призывающего своего черного раба, и откуда ни возьмись появился слуга, который низко поклонился и распахнул чугунные ворота, ведущие в шато.

Стоило посмотреть на лицо моей матери, когда мы следом за слугой вошли в дом и, пройдя через переднюю, оказались в огромном зале, где вдоль стен стояли стулья с высокими спинками и висели зеркала, в которых мы увидели свое отражение. Там нас ожидала молодая жена Робера, урожденная мадемуазель Фиат, дочь коммерсанта, – она, должно быть, увидела нас из окна, – одетая в розовое платье из тончайшего муслина, украшенное белыми и

розовыми бантами, очаровательная и изящная, напоминающая сахарные фигурки, украшавшие ее свадебный торт.

– Какой приятный сюрприз, – лепетала она, бросаясь к нам, чтобы нас обнять, но, вспомнив вдруг о присутствии слуги, остановилась и церемонно обратилась к нему, велев принести угощение, после чего немного успокоилась и предложила нам сесть, что мы и сделали, и некоторое время сидели и смотрели друг на друга.

– Вы прелестно выглядите, – сказала наконец моя мать, начиная беседу. – А как вам нравится быть женой мастера-стеклодела здесь, в Ружемоне?

– Очень нравится, – отвечала Кэти, – только я нахожу, что это довольно утомительно.

– Несомненно, – отозвалась матушка. – И к тому же это очень большая ответственность. Сколько здесь занято работников и сколько из них женаты и имеют детей?

Кэти широко раскрыла глаза.

– Я понятия не имею, – отвечала она. – Я ни разу не разговаривала ни с кем из них.

Я думала, что это заставит матушку замолчать, однако она быстро пришла в себя.

– Чем же вы в таком случае занимаетесь? – продолжала она. – Как проводите время?

– Я отдаю распоряжения слугам, – ответила Кэти после минутного колебания, – и слежу за тем, как они натирают полы. Вы же видите, какие здесь большие комнаты.

– Да, конечно, – ответила матушка. – Неудивительно, что вы так устаете.

– Кроме того, – продолжала Кэти, – мы принимаем гостей. Иногда у нас обедают человек десять-двенадцать, и без всякого предупреждения. Это означает, что в доме всегда должны быть запасы еды, которую порой приходится выбрасывать. Здесь ведь не Париж. Когда мы жили на улице Пти-Каро, всегда можно было пойти на рынок и все купить, если приходили неожиданные гости.

Бедняжка Кэти. Совершенно верно. Она действительно уставала. В конце концов, она ведь была дочерью коммерсанта и ей было совсем нелегко исполнять обязанности хозяйки стекольного «дома».

– Кто у вас бывает? – спросила матушка. – В нашей среде не принято, чтобы мастера, да еще с женами, ходили друг к другу в гости.

Кэти снова широко раскрыла глаза.

– Но мы никогда не принимаем здешних людей, – объяснила она. – У нас бывают друзья и знакомые Робера из Парижа, они либо приезжают специально к нам, либо останавливаются проездом по дороге из столицы в Блуа. В Брюлоннери было то же самое. Ведь одна из главных причин, почему Робер решил сменить Брюлоннери на Ружемон, это то, что здесь так много места и можно по-настоящему принять гостей.

– Понятно, – сказала моя мать.

Мне стало жалко Кэти. Я не сомневалась в том, что она любит Робера, но в то же время я прекрасно понимала, что она чувствовала бы себя гораздо лучше в родительском доме на улице Пти-Каро. Через некоторое время она спросила нас, не хотим ли мы посмотреть отведенное нам помещение, и мы пошли через анфиладу огромных комнат, каждая из которых была значительно больше тех, что были у нас в Ла-Пьере. Кэти, шедшая впереди, указала нам на два огромных канделябра в столовой; в каждом из них, по ее словам, было по тридцать свечей, и их надо было менять всякий раз, когда они там обедали.

– Столовая выйдет великолепно, когда все они зажжены, – с гордостью говорила Кэти. – Робер сидит на одном конце стола, я – на другом, а гости по краям, по обе стороны от нас, на английский манер, и он знаком показывает мне, когда нужно встать из-за стола и удалиться в гостиную.

Она закрыла ставни, чтобы не выгорала длинная – во всю длину комнаты – ковровая дорожка, лежащая у стены.

– Она словно ребенок, играющий в игрушки, – прошептала матушка. – Только хотела бы я знать, чем все это кончится.

Кончилось это ровно одиннадцать месяцев спустя. Сумма расходов по дому и мастерской в Ружемоне значительно превысила все расчеты моего брата, и дело еще более осложнилось тем, что он допустил какую-то ошибку при поставке товара в торговые дома в Париже. Большая часть приданого Кэти была истрачена меньше чем за год, так же как и часть, выделенная Роберу. Им, слава богу, повезло

хотя бы в том, что аренда Ружемона была рассчитана всего на один год.

Мой отец, несмотря на горькое разочарование, которое причинило ему безрассудство Робера и бессмысленная потеря такого большого количества денег, умолял сына вернуться в Шен-Бидо и работать рядом с ним в качестве управляющего. Отец считал, что там, под его присмотром, Робер уже не сможет наделать глупостей.

Робер отказался.

– Не считайте меня неблагодарным из-за того, что я отвергаю ваше предложение, – оправдывался он перед родителями, когда приехал домой обсудить положение вещей вместе с печальной и задумчивой Кэти, которая имела весьма неприятное объяснение со своими разгневанными родителями на улице Пти-Каро, – но у меня есть уже определенные планы, связанные с Парижем, – в данный момент я не могу сказать ничего больше, – которые сулят неплохие перспективы. Некий мсье Каннет, один из банкиров Версальского двора, подумывает о том, чтобы основать по моей рекомендации стекольный завод в квартале Сент-Антуан на улице Буле, и, разумеется, если все пойдет как надо, я буду назначен управляющим.

Отец с матерью посмотрели друг на друга, а потом снова на оживленное улыбающееся лицо моего брата, на котором не было и следа озабоченности или какого-либо другого признака минувших несчастий.

– Ты только что потерял целое состояние, – заметил мой отец. – Как ты можешь гарантировать, что снова не случится то же самое?

– Вполне спокойно, – отвечал Робер. – Это будет предприятие мсье Каннета, а не мое. Я просто буду там работать за жалованье.

– А если предприятие потерпит неудачу?

– Пострадает от этого мсье Каннет, а не я.

Мне было в ту пору не более пятнадцати лет, однако даже в этом возрасте я понимала, что в душе моего брата есть какой-то изъян, в ней чего-то недостает – назовите это нравственным началом или как-нибудь иначе, – но эта его особенность проявлялась в самой манере говорить, в его беспечности, когда дело касалось других людей, их чувств или собственности; в его неспособности понимать какую-либо точку зрения, кроме своей.

Матушка сделала последнюю попытку отговорить его от этой новой затеи.

– Откажись от этой мысли, – просила она его. – Приезжай домой или, если хочешь, возвращайся в Брюлоннери и работай там мастером у нового арендатора. Здесь, в провинции, каждый прочно сидит на своем месте, а те новые предприятия, которые то и дело возникают в Париже, сплошь и рядом оканчиваются ничем.

Робер нетерпеливо повернулся к ней.

– Вот-вот, совершенно верно, – сказал он. – Здесь, в провинции, вы закоснели, жизнь здесь – да что там говорить, попросту провинциальна. А вот в Париже...

– В Париже, – закончила за него мать, – человек может разориться в течение месяца, независимо от того, есть у него друзья или нет.

– У меня, благодарение богу, друзья есть, – возразил Робер, – и весьма влиятельные к тому же. Мсье Каннет, о котором я уже говорил, есть и другие, которые стоят гораздо ближе к придворным кругам. Стоит им сказать словечко в нужном месте и в нужное время – и карьера моя обеспечена на всю жизнь.

– Или загублена, – сказала мать.

– Как вам угодно. Но я предпочитаю играть по-крупному или не играть вовсе.

– Пусть его делает как хочет, – сказал отец. – Спорить с ним бесполезно.

Так на улице Буле появилась стекольная мануфактура с Робером во главе, и в течение полугода господин Каннет, придворный банкир, понес такие потери, что ему пришлось продать свое предприятие. Он это и проделал через голову Робера, которому пришлось обратиться с просьбой к мсье Фиату, отцу Кэти, одолжить ему довольно значительную сумму, чтобы пережить «временные» затруднения.

За этим последовало продолжительное молчание. Робер не писал нам в Шен-Бидо, а мы не ездили в Париж, поскольку все мы находились в состоянии сильного беспокойства, вызванного нездоровьем отца. Он упал с лошади, возвращаясь из Шатодена, и пролежал в постели более полутора месяцев, в течение которых матушка, Эдме и я поочередно за ним ухаживали. В конце концов мы получили известие – не изустно и не через письмо, но через

ежемесячный коммерческий журнал, который выписывал отец и который мы отнесли к нему в спальню, когда ему стало получше.

Журнал был датирован ноябрем тысяча семьсот семьдесят девятого года, и заметка выглядела следующим образом:

«Господин Кевремон-Деламот, банкир в Париже, просит разрешения министра внутренних дел на изготовление стекольного товара по английскому методу в стеклодельной мастерской Вильнёв-Сен-Жорж, что близ Парижа, которую до этого держал мануфактурщик-стеклодел из Богемии Жозеф Кёниг. Господин Кевремон-Деламот уже истратил на это свое заведение двадцать четыре тысячи ливров, пока оно работало под руководством господина Кёнига, чьи таланты и знания оказались, однако, не столь значительными, как предполагал первоначально господин Кевремон-Деламот. Он сохраняет за собой обычные привилегии и патент и намеревается ввести в должность управляющего господина Бюссона л'Эне, который имеет широкие связи в округе. Господин Бюссон был воспитан и получил звание мастера в стеклодельном «доме» Ла-Пьер под руководством господина Матюрена Бюссона, который в свое время писал статьи в Академию по поводу своих изобретений, касающихся флинтгласа.^[13] Таким образом, господин Кевремон-Деламот имеет все основания рассчитывать на то, что благодаря стараниям нового управляющего мастерские в Вильнёв-Сен-Жорж будут выпускать продукцию самого высокого качества».

Мы с Эдме прочитали эту заметку, только значительно позже. Впервые мы узнали о ее существовании тогда, когда наверху раздался яростный звон колокольчика и мы бросились в комнату к отцу. Он лежал почти поперек кровати, на груди его ночная рубашка была запачкана кровью, на простынях тоже была кровь.

– Позовите мать! – задыхаясь проговорил он, и Эдме помчалась вниз, в то время как я старалась удержать его голову на подушке. Это уже во второй раз у него сделалось кровотечение; в первый раз оно случилось после того, как он упал с лошади. Матушка прибежала в ту же секунду, послали за доктором, который объявил, что в данную минуту отец находится в безопасности, однако предупредил матушку, что любое неприятное известие, любое волнение могут оказаться для отца роковыми.

Через некоторое время, когда отцу стало полегче, он указал нам на журнал, который во время всей этой суматохи упал на пол, и мы тут же догадались о причине внезапного приступа.

– Как только он поправится и я смогу его оставить, – сказала мне мать, – я сама поеду в Париж и выясню, что можно сделать, чтобы предотвратить дальнейшие беды. Если Робер дал согласие работать в Вильнёве только управляющим, тогда, возможно, ничего страшного не случится. Но если он связал себя еще и финансовыми обязательствами, тогда это может привести к трагедии похуже той, что случилась с ним в Ружемоне.

Нам оставалось только ждать, что будет дальше. Здоровье отца как будто бы несколько улучшилось, и, оставив его на моем попечении, матушка отправилась в Париж. Когда неделю спустя она вернулась домой, мы сразу поняли, взглянув на ее лицо, что случилось самое худшее. Робер не только стал управляющим стекольного завода в Вильнёв-Сен-Жорже, но, кроме того, дал согласие на то, что он купит это предприятие у господина Кевремон-Деламота за восемнадцать тысяч ливров с обязательством выплатить означенную сумму в течение полугода со дня подписания договора.

– Он должен расплатиться в мае следующего года, – говорила матушка, и я в первый раз в жизни увидела слезы у нее на глазах. – Он никак не сумеет этого сделать. В эту стекловарню вложены уже тысячи ливров, и потребуются еще тысячи, прежде чем она сможет приносить доход. Там нужно обновить печь, нужны новые склады, а помещения для рабочих просто настоящие свинарники. Деньги до сих пор в основном тратились на постройку временных жилищ для работников, которых прежний владелец, Кёниг, приглашал из Англии. Он, оказывается, делами совсем не занимался, поскольку беспробудно пил.

– Но почему Робер взялся за это дело? – спросила я. – Он дал какие-нибудь объяснения?

– Обычные, – ответила мать. – У него, как он говорит, есть «влиятельные» друзья, которые оказывают ему поддержку. Этим предприятием заинтересовался некий маркиз де Виши, который, как считает Робер, купит его, предоставив твоему брату управление.

– Но зачем же в таком случае Роберу понадобилось самому покупать это имение? – вмешалась в разговор Эдме.

– Да потому, что твой брат игрок, – с сердцем ответила матушка. – То, что он проделал, в торговых кругах называется спекуляцией. В этом все дело.

Потом матушка смягчилась. Она протянула к нам руки, и мы попытались ее успокоить.

– Это я виновата, – сказала она. – Все эти безумства, это стремление к высшему обществу – это от меня. Нас с ним одолевает гордыня.

Теперь уже Эдме готова была расплакаться.

– Но в вас нет никакой гордыни, – протестовала она. – Как вы можете себя обвинять? То, что делает Робер, не имеет к вам никакого отношения.

– О нет, имеет, – отвечала мать. – Это я научила его стремиться к высоким целям, и он это знает. Сейчас уже поздно надеяться, что он может измениться. – Она замолчала, посмотрев на нас обеих по очереди. – Знаете, что больше всего меня огорчает? Больше, чем беспокойство о его будущем? Он даже не удосужился сообщить, что Кэти ожидает ребенка. У них родилась дочь, это случилось первого сентября. Моя первая внучка.

Робер – отец... Я не могла его себе представить в этой роли, так же как не могла себе представить Кэти с младенцем на руках. Ей больше подошла бы кукла.

– Как они ее назвали? – спросила Эдме. Матушка слегка изменилась в лице.

– Елизавета-Генриэтта, – ответила она. – В честь мадам Фиат, разумеется.

И она отправилась наверх к отцу, чтобы сообщить ему эту новость.

В течение следующих нескольких месяцев мы питались только слухами, ничего не зная наверняка. Маркиз де Виши потерял интерес к стекольному заводу в Вильнёв-Сен-Жорже... Робер обратился к другому банкиру... Поговаривали о том, что господин Кевремон-Деламот собирается вернуться к прежнему своему партнеру Жозефу Кёнигу – они нашли какой-то маленький заводик в Севре...

Отец был еще слишком слаб для дальних поездок, и поэтому в начале февраля он послал в Вильнёв-Сен-Жорж Пьера, чтобы тот разузнал, что там делается.

Пьеру было двадцать семь лет, и он больше не был таким беззаботным юношей, каким был в семнадцать, но тем не менее он очень надеялся, что Робер преуспеет в этом своем новом предприятии.

– Если ему не удастся добиться успеха, – заявил он отцу, – он может располагать моими сбережениями, мне они не нужны.

Это доказывало, что сердцем он не изменился, несмотря на свой зрелый возраст. Увы, для того чтобы спасти Робера от банкротства, нужно было гораздо больше, чем сбережения его брата Пьера.

Пьер возвратился из Вильнёв Сен-Жоржа в конце месяца, привезя с собой локон детских волос для моей матери, часы великолепной работы для отца – их оправа из хрусталя была изготовлена на тамошнем заводе самим Робером – и копию документа, подписанного в присутствии судей Королевского суда Шателе в Париже, свидетельствующего о неплатежеспособности Робера.

Через две недели после этого отец, несмотря на свое недомогание, оставив на попечение Пьера Шен-Бидо и мою младшую сестру Эдме, поехал в Париж, взяв с собой матушку и меня. Совсем иные чувства, чем в первую мою поездку почти четыре года назад одолевали меня, когда я смотрела из окон дилижанса. В то время отец был здоров и бодр, сама я была исполнена радостного волнения в предвкушении чудес, ожидающих меня в столице, и все путешествие, несмотря на его утомительность, было для меня сплошным удовольствием; теперь же, когда отец был болен, матушка встревожена и озабочена, да еще стоял жестокий холод, нам было нечего ожидать, кроме публичного позора, грозившего моему брату.

Вильнёв-Сен-Жорж находился на окраине Парижа, в юго-восточной его части, и мы сразу же отправились туда, только переночевав в гостинице «Шеваль Руж» на улице Сен-Дени.

На сей раз, в отличие от нашего прошлого неожиданного визита в Ружемон, Робер не вышел во двор нас встречать, впрочем, и двор был не тот – не было ни грандиозных построек, ни великолепного богатого шато – просто беспорядочное скопление сараев, требующих ремонта, да две стекловарных печи, разделенных широкой канавой, заполненной битым камнем и отходами стеклянной продукции. Не было никаких признаков жизни. Печи не дымили. Все было заброшено.

Постучав в стекло нашего наемного экипажа, отец подозвал проходившего мимо работника.

– Что, завод уже больше не работает? – спросил он.

Человек пожал плечами.

– Сами видите, не работает, – ответил он. – Меня рассчитали неделю тому назад, так же как и всех остальных, и сказали, что нам еще повезло, мы все-таки что-то получили. Нас сто пятьдесят человек, и все остались без работы, а семью-то кормить надо? И ведь ни словом не предупредили! Между тем товар все везут и везут – в Руан и в другие города на север, – ведь деньги за это кто-то получает, верно? Куда же они деваются?

Отца все это очень расстроило, но он ничего не мог сделать.

– А другую работу вы найти не можете? – спросил он.

Человек снова пожал плечами:

– Как? Теперь, когда печи погасили, нам работы не найти. Придется идти побираться.

Он все посматривал на матушку и наконец сказал:

– Вы уже приезжали сюда раньше, верно? Вы директорова мамаша?

– Да, – ответила она.

– Так вы его здесь не найдете, верно вам говорю. Мы побили у него все стекла в доме, и он сбежал вместе с женой и ребятенком.

Отец уже шарил в карманах в поисках подходящей монеты, которую можно было ему дать, и рабочий взял деньги, не проявив особой любезности, что было неудивительно, принимая во внимание все обстоятельства.

– Поезжай назад, на улицу Сен-Дени, – велел отец кучеру.

Мы повернули прочь от этого брошенного завода. Робер оставил здесь не только свидетельство своей неудачи, но еще и полторы сотни голодных, озлобленных рабочих.

– Что мы будем делать дальше? – спросила матушка.

– То, что, по-видимому, следовало сделать с самого начала: навести справки у отца Кэти, на улице Пти-Каро. Даже если Робера там нет, то Кэти с ребенком наверняка находятся у родителей.

Отец ошибся. Фиаты ничего не знали о том, что произошло, они не видели ни Робера, ни Кэти по крайней мере два месяца.

Причиной этого отчуждения послужила, с одной стороны, холодность Фиатов, вызванная, несомненно, тем, что им пришлось одолжить зятю денег, а с другой стороны, гордость их дочери и ее лояльность по отношению к мужу.

Вернувшись в отель «Шеваль Руж», мы обнаружили, что нас там ожидает письмо от Робера. Оно было адресовано матушке.

«Мне сообщили, что вы находитесь в Париже, – говорилось в этом письме. – Не стоит говорить это отцу и тревожить его, но я в настоящее время нахожусь под домашним арестом в отеле „Сент-Эспри" на улице Монторгейль, вплоть до того момента, когда будет слушаться мое дело в суде. Я занимаюсь тем, что подвожу баланс: подсчитываю долги и то, чем я располагаю, и мне хотелось бы с вами посоветоваться. Я уверен, что мои активы превысят сумму долгов, в особенности если принять во внимание, что Брюлоннери по-прежнему принадлежит мне и что родители Кэти еще не выплатили мне оставшуюся часть ее приданого. Маркиз де Виши предал меня, как вы, несомненно, слышали, однако будущее не внушает мне особого беспокойства. Английский хрусталь сейчас в большой моде, в особенности при дворе, и я узнал от весьма сведущих людей, что некие господа Ламбер и Буайе собираются получить разрешение на то, чтобы открыть завод для производства английского хрусталя в парке Сен-Клу, пользуясь покровительством и финансовой поддержкой самой королевы. Если мне удастся выпутаться из нынешнего затруднительного положения без особых осложнений, у меня есть все основания надеяться, что я получу там место плавного гравировщика, поскольку я единственный человек во всей Франции, который что-то понимает в этом деле. Ваш любящий сын Робер».

Ни слова о Кэти и о ребенке, ни слова сожаления о том, что с ним произошло.

Матушка, ничего не говоря, передала письмо отцу – было бесполезно пытаться скрыть от него правду, – и они вместе отправились в отель к моему брату. Мои родители нашли его в добром здравии и отличном настроении, его несостоятельность, по-видимому, не причиняла ему ни малейшего беспокойства.

– Он имел наглость заявить нам, – сказал мне впоследствии отец, который за этот час, проведенный с сыном, постарел, казалось, на десять лет, – что подобные несчастья весьма полезны, ибо они

обогащают человека опытом. Он дал доверенность на ведение дела одному из своих партнеров в Вильнёве, поскольку сам он лишен права подписывать документы.

Отец показал мне постановление, подписанное судьями на предварительном слушании дела в тот самый день, когда мы приехали в Париж.

«В год тысяча семьсот восьмидесятый, марта пятнадцатого дня, в совещательной комнате суда в Париже перед судьями, назначенными королем, предстал сьер^[14] Трепенье, проживающий в Париже и на стекольном заводе в Вильнёв-Сен-Жорже, имеющий доверенность сьера Робера Бюссона, владельца завода в Вильнёв-Сен-Жорже, которому было приказано явиться перед судом и который просил нас назначить, кого мы сочтем нужным, для рассмотрения счетов вышепоименованного Бюссона, объявленного несостоятельным на основании постановления, поступившего в канцелярию суда в соответствии с указом от тысяча шестьсот семьдесят третьего года и королевского эдикта от ноября тринадцатого дня тысяча семьсот тридцать девятого года. Для этой цели мы вызвали вышеозначенного сьера Трепенье, предоставив ему полномочия оповестить всех кредиторов вышеназванного Бюссона, дабы они явились лично по специальному вызову в данный суд, предстали перед нами, судьями Совета, и представили свои документы, подтверждающие их права кредиторов, дабы мы могли удостовериться и утвердить их, буде возникнет надобность.

Сей документ является официальным подлинным постановлением состоявшегося заседания суда. Подписано: Гио».

Я возвратила документ отцу, который собирался снова ехать из дома, чтобы посоветоваться с лучшими юристами Парижа, однако матушка его отговорила.

– Ты только убьешь себя и никому этим не поможешь, – убеждала она его, – и в первую очередь Роберу. Прежде всего нужно выяснить, что именно он считает своим активом. Все нужные документы у меня при себе.

Она расположилась в спальне отеля – совершенно так же, как если бы находилась у себя дома в Шен-Бидо и записывала в свой грессбух дневные расходы. Надо было хоть что-нибудь спасти из

развалин, в которые превратилось предприятие ее сына, и никто лучше матушки не смог бы этого сделать.

– А где же, в конце концов, бедняжка Кэти и ее малютка? – спросила я.

– Наверное, в Вильнёв-Сен-Жорж, прячется у кого-нибудь из знакомых, – ответила матушка.

– Значит, нужно, чтобы кто-нибудь привез ее в Париж, и чем скорее, тем лучше, – сказала я.

В этот момент я гораздо больше сочувствовала несчастной жене моего брата, чем ему самому.

На следующий день мы отправились в Вильнёв и нашли Кэти и крошку Елизавету-Генриэтту в доме, где жил один из возчиков-комиссионеров с женой, его звали Буден. Он не принимал участия в битье стекол в господском доме, а, наоборот, преисполнился жалости и сочувствия к семье хозяина. Сама Кэти была слишком расстроена, чтобы двинуться с места, к тому же вернуться в родительский дом ей мешала гордость.

Выглядела она ужасно: ее хорошенькое личико подурнело от слез, волосы были спутаны и непричесаны – словом, это была совсем не та Кэти, которая водила нас по своему роскошному дому в Ружемоне. В добавок ко всем бедам ее малютка заболела. По словам Кэти, она была настолько больна, что ее нельзя было трогать с места. Матушка боялась оставить отца одного в гостинице, поэтому было решено, с согласия добрых супругов Боден, что я останусь у них в доме в Вильнёв-Сен-Жорже, чтобы помочь Кэти.

За этим последовало несколько ужасных недель. Кэти, обезумевшая от горя в связи с разорением и позором Робера, была совершенно неспособна ухаживать за дочерью, которая заболела только потому – я была в этом уверена, – что ее неправильно кормили и вообще не обращали на нее внимания. Мне было всего шестнадцать лет, и я понимала в этих делах немногим больше, чем моя невестка. Мы могли рассчитывать только на помощь и советы мадам Боден, и, хотя она делала для ребенка все, что возможно, восемнадцатого апреля бедная крошка умерла. Мне кажется, что меня эта смерть огорчила больше, чем Кэти. Этого вполне могло не случиться. Малютка лежала в своем гробике, словно восковая куколка; на ее долю досталось всего семь месяцев жизни, а ведь она была бы жива и

пояныне – я в этом совершенно уверена, – если бы Робер не переехал в Вильнёв-Сен-Жорж.

Матушка приехала к нам на следующий день после смерти ребенка, и мы отвезли бедняжку Кэти к ее родителям на улицу Пти-Каро, ибо, несмотря на то что Робер жил теперь в «Шеваль Руж» вместе с моими родителями, его положение было по-прежнему неопределенным и окончательного решения всех вопросов нельзя было ждать раньше конца мая.

Список кредиторов Робера оказался огромным, он был даже больше, чем опасался мой отец. Помимо восемнадцати тысяч ливров, которые он был должен господину Кевремон-Деламоту за стеклозавод в Вильнёв-Сен-Жорже, его долги различным торговцам и агентам в Париже составляли почти пятьдесят тысяч ливров. Общий итог равнялся семидесяти тысячам ливров, и для того чтобы выплатить эту чудовищную сумму, существовал только один способ: продать единственную ценную вещь, оставшуюся у Робера, а именно – стеклозавод в Брюлоннери, который он получил по свадебному контракту с обязательством сохранить и который был оценен отцом в восемьдесят тысяч ливров.

Необходимость продать Брюлоннери явилась тяжким ударом для отца. Это был «дом», где отец начал впервые работать – сначала в качестве подмастерья под руководством мсье Броссара; сюда он потом привел мою мать – свою молодую жену; вместе с дядюшкой Демере он превратил этот завод в один из лучших «домов» в стране, а теперь надо было его продавать, чтобы заплатить долги моего брата.

Что же касается более мелких кредиторов – виноторговцев, портных и мебельщиков, даже владельца конюшни, у которого Робер нанимал карету, чтобы съездить в Руан за покупкой какого-то необыкновенного материала, так никогда и не использованного, – с ними со всеми расплатилась моя мать из своих денег – у нее были собственные доходы, которые она получала от небольшой фермы в ее родной деревне Сен-Кристоф.

Мне кажется, что даже в тот день в конце мая, когда Робер предстал перед судом и его отпустили с миром, после того как все долги были уплачены, мой брат не понял всей тяжести своего чудовищного поступка.

– Все дело в том, чтобы заводить знакомство с нужными людьми, – говорил он мне, когда мы собирали вещи, чтобы ехать домой в Шен-Бидо. – До сих пор мне не везло, но теперь все пойдет иначе. Вот увидишь. Управляющим я больше не буду, это скучно и слишком большая ответственность. Но в качестве главного гравировщика на большом жалованье – им придется хорошо мне платить, иначе я не пойду на это место, – кто знает, до каких высот я в конце концов могу подняться? Может быть, буду работать в самом Трианоне! Мне жаль, что отец так расстраивается по поводу этих дел, впрочем, я всегда говорил, что у него провинциальные взгляды.

Он улыбался мне, такой же веселый, такой же самоуверенный, как всегда. Ему было тридцать лет, он был великолепный, просто блестящий мастер-гравировщик, но чувства ответственности было у него не больше, чем у десятилетнего ребенка.

– Ты должен понимать, – сказала я ему со всей убедительностью своих шестнадцати лет, к тому же я никак не могла забыть его несчастного умершего ребенка, – что ты едва не разбил сердце Кэти, не говоря уже о нашем отце.

– Чепуха, – ответил он. – Она уже с удовольствием думает о том, как будет жить в Сен-Клу, а когда у нее снова родится ребенок, она и совсем утешится. На этот раз у нас будет сын. Что же до отца, то как только он вернется в Шен-Бидо и расстанется с Парижем, который он всегда ненавидел, он тут же оправится и станет самим собой.

Мой брат ошибся. На следующий же день, когда мы собирались садиться в дилижанс, чтобы ехать домой, у отца сделалось еще одно кровотечение. Матушка сразу же уложила его в постель и послала за доктором. Сделать ничего было нельзя. Слишком слабый для того, чтобы ехать домой, и в то же время понимая, что умирает, отец пролежал в номере отеля «Шеваль Руж» еще неделю. Мать почти не отходила от его постели, а когда она забывалась сном на час-другой в соседней комнате, ее место занимала я. Выцветший красный полог над кроватью, трещины в оштукатуренных стенах, тазик и кувшин с обитыми краями углу – эти печальные детали прочно запечатлелись в моей памяти, пока я наблюдала, как жизнь моего отца неуклонно движется к своему пределу.

В Париже стояла удушающая жара, усугублявшая его страдания, но окно, выходящее на узкую шумную улицу Сен-Дени, можно было

открыть всего на несколько дюймов, и тогда в комнату врываются шум и зловоние, от которого становилось еще труднее дышать.

Как он тосковал о доме! Не только о милых сердцу вещах, окружавших его в Шен-Бидо, но и о самой земле, о лесах и полях, среди которых он родился и вырос. Робер называл его отношение к жизни провинциальным, но отец, так же как и наша матушка, всеми корнями был связан с землей; и на этой земле, в благодатной Тюрени, самом сердце Франции, строил он свои стекольные «дома», создавая своими руками и своим дыханием образцы красоты, которым неподвластно время. Теперь жизнь уходила из него, вытекая, словно воздух из стеклодувной трубки, которую отложил в сторону мастер, и в последнюю ночь, что мы провели вместе, пока матушка спала в соседней комнате, он посмотрел на меня и сказал:

– Позаботься о братьях. Держитесь все вместе, одной семьей.

Он умер восьмого июня тысяча семьсот восьмидесятого года и был похоронен поблизости, на кладбище церкви Сен-Лё на улице Сен-Дени.

В то время мы были слишком измучены, ничего не видели от слез, но позднее все мы с гордостью думали о том, что не было в Париже ни одного мастера или работника, причастного к нашему стекольному ремеслу, ни одного торговца из тех, что вели с ним дела, который не пришел бы на кладбище Сен-Лё, чтобы отдать дань уважения его памяти.

Глава пятая

Личное имущество моего отца оценивалось в сто шестьдесят тысяч ливров, и моя мать вместе с господином Босье, нотариусом из Монмирайля, до конца июля занималась тем, что разбирала его бумаги, составляя списки долгов и активов. Они провели полную инвентаризацию всего имущества и наконец установили окончательную цифру: сто сорок пять тысяч восемьсот четыре ливра. Половина этой суммы принадлежала моей матери, вторая же половина была поделена в равных долях между нами, пятью детьми. Робер и Пьер, которые достигли совершеннолетия, получили свою долю сразу, тогда как доля младших, несовершеннолетних – Мишеля, Эдме и моя – находилась пока в распоряжении нашей матери, которая была назначена опекуном. Аренда Шен-Бидо, который снимали мать с отцом совместно, переходила теперь целиком к матери, и она решила вести дело на заводе самостоятельно, в качестве «maitresse verrière»^[15] – звание, которое до той поры не носила ни одна женщина в нашем ремесле. Впоследствии, удалившись от дел, она собиралась поселиться в своем маленьком имении в Сен-Кристофе, которое получила от своего отца Пьера Лабе; а пока мама намеревалась единолично править в Шен-Бидо.

Я хорошо помню, как в августе тысяча семьсот восьмидесятого года мы все собрались в конторе городского дома, для того чтобы обсудить нашу будущую жизнь. Матушка сидела во главе стола, и вдовый чепец на золотистых, тронутых сединой волосах словно подчеркивал ее величественную осанку; теперь, когда ей было пятьдесят пять лет, шуточный титул «la Reyne d'Hongrie» подходил ей более чем когда-либо.

Робер стоял справа от нее или шагал по комнате, ни на минуту не оставаясь в покое. Он то и дело трогал рукой стоявшее на полке украшение, которое, как он считал, должно принадлежать ему по праву наследия. Слева сидел Пьер, глубоко погруженный в свои мысли, которые, как я была уверена, не имели ничего общего ни с законами, ни с наследством.

Мишель, сидевший в конце стола, с возрастом становился все более похожим на отца. Ему было двадцать четыре года, он был невысок, коренаст и темноволос и работал мастером-стеклоделом на заводе Обиньи в Берри. Мы не видели его уже несколько месяцев, и я не знаю, отчего он так повзрослел, – оттого ли, что долгое время жил вдали от дома, или оттого что вдруг осознал все значение смерти нашего отца, – но только он, по-видимому, утратил свою былую сдержанность и первым заговорил о будущем.

– Если г-говорить обо мне, – начал он, значительно решительнее, чем раньше, – мне н-неза-чем больше жить в Обиньи. Я бы п-предпочел работать здесь, если мать захочет меня взять.

Я наблюдала за ним с любопытством. Это был поистине новый Мишель, он уже не молчал, угрюмо уставив глаза в землю, но прямо глядел на мать, словно бросая ей вызов.

– Очень хорошо, сын мой, – отвечала она, – если ты так считаешь, я согласна взять тебя на работу. Только помни, что я теперь хозяйка в Шен-Бидо, и пока нахожусь на этом месте, я хочу, чтобы мне подчинялись, а мои приказания выполнялись безоговорочно.

– Меня это устраивает, – отвечал он, – в т-том случае, если эти приказания будут разумными.

Он ни за что бы так не ответил год тому назад, и хотя меня удивила его смелость, я втайне восхищалась братом. Робер перестал бегать по комнате и, посмотрев на Мишеля, одобрительно кивнул головой.

– Я еще ни разу не отдала ни одного приказания, – заметила матушка, – которое не послужило бы на благо «дома», находящегося в моем ведении. Единственной моей ошибкой было то, что я посоветовала вашему отцу отдать Роберу Брюлоннери, когда он женился.

Мишель замолчал. Продажа Брюлоннери в уплату долгов Робера была тяжелым ударом, причинившим материальный ущерб каждому из нас.

– Не вижу необходимости, – заявил Робер, когда молчание слишком затянулось и всем стало неловко, – вытаскивать на свет историю с моим свадебным подарком. Все это было и прошло, и все мои долги уплачены. Как вы все знаете, и матушка в том числе, мое будущее сулит отличные перспективы. Через несколько месяцев я

стану первым гравировщиком по хрусталу на новом заводе в Сен-Клу. И теперь к тому же я имею возможность стать совладельцем, вложив в это предприятие свои собственные средства, стоит мне только пожелать.

Это была шпилька матушке. Наследство, полученное от отца, делало его независимым, и он теперь мог поступать как ему заблагорассудится.

Завещание было составлено задолго до болезни нашего отца и до того, как Робер начал совершать свои сумасбродства. Матушка благоразумно игнорировала его замечание и обратилась к Пьеру.

– А ты что скажешь, мечтатель? – спросила она его. – Все мы знаем, что с тех самых пор, как ты вернулся десять лет назад с Мартиники, ты занимаешься ремеслом твоего отца только потому, что у тебя не было возможности делать что-либо другое. И, как оказалось, делаешь ты это очень хорошо. Но не думай, что я и дальше буду настаивать на том, чтобы ты работал со стеклом. Теперь ты получил свою долю наследства и, если желаешь, можешь устроить свою жизнь на манер Жан-Жака^[16] – удалиться в леса, стать отшельником и питаться орехами и козьим молоком.

Пьер очнулся от своей задумчивости, потянулся, зевнул и улыбнулся ей долгой медленной улыбкой.

– Вы совершенно правы, – сказал он. – Я не имею желания оставаться в стекольном деле. Несколько месяцев тому назад я серьезно подумывал о том, чтобы отправиться в Северную Америку и сражаться там на стороне колоний в их борьбе за независимость против Англии. Это великое дело. Но потом я передумал и решил остаться во Франции. Я могу принести больше пользы здесь, среди своих сограждан.

Все мы широко раскрыли глаза. Кто бы мог подумать? Наш милый ленивый Пьер, «эксцентрик», как, бывало, называл его отец, и вдруг такое заявление.

– Ну и что? – ободряюще кивнула ему мать. – Что ты надумал?

Пьер с решительным видом подался вперед на своем стуле.

– Я хочу купить практику нотариуса в Ле-Мане, – сказал он. – Буду предлагать свои услуги клиентам, у которых нет денег и которые поэтому не могут себе позволить обратиться к настоящему адвокату.

Сотни несчастных людей, не умеющих читать и писать, нуждаются в совете юриста. Им я и буду помогать.

Пьер – и вдруг нотариус! Если бы он сказал, что собирается стать укротителем львов, я была бы меньше удивлена.

– Весьма филантропические намерения, – заметила матушка. – Однако должна тебя предупредить: состояния ты на этом себе не наживешь.

– У меня и нет такого желания, – возразил Пьер. – Каждый человек, который обогащается, делает это за счет того или другого бедняка. Пусть те, кто стремится к богатству, попробуют прежде примириться со своей совестью.

Я заметила, что, произнося эти слова, он не смотрел на Робера, и мне вдруг пришло в голову, что бедствия, постигшие его брата сначала в Ружемоне, а потом в Вильнёв-Сен-Жорже, оказали на Пьера гораздо более сильное воздействие, чем мы могли себе представить, и что теперь, таким странным образом, он намеревается это компенсировать. Первым, несмотря на свое заикание, пришел в себя и заговорил Мишель.

– П-прими мои п-поздравления, Пьер, – сказал он. – Поскольку мне вряд ли удастся составить себе состояние, я, вероятно, буду одним из п-первых твоих клиентов. Во всяком случае, если уж никто не захочет воспользоваться твоими советами, ты всегда сможешь составить брачные контракты для Софи и Эйме.

Он так никогда и не мог выговорить «Эд» или «Эдме», и она превратилась для него в «Эйме». Моя младшая сестра, которую все мы баловали, и в особенности отец, была удивительно молчалива, пока шли все эти разговоры, но теперь она заговорила, словно бы защищаясь.

– Пьер, конечно, может составить мой брачный контракт, если ему захочется, – заявила она, – но я должна поставить условие: мужа я буду выбирать себе сама. Ему будет не меньше пятидесяти лет, и он будет богат, как Крёз.

Эти слова, произнесенные со всею решительностью четырнадцатилетнего возраста, помогли разрядить атмосферу. Я потом спросила ее, и она ответила, что сделала это нарочно, потому что мы все вели себя уж слишком серьезно. Таким образом, мы

обсудили все вопросы, касающиеся будущего моих братьев, и решили их спокойно, никого не обижая.

Оставалось решить один последний вопрос. Робер подошел к стеклянной горке, стоявшей в углу комнаты, и, открыв дверцу, достал оттуда драгоценный кубок, сделанный в Ла-Пьере в тот знаменательный день, когда нас посетил король.

– Этот кубок, – заявил он, – принадлежит мне по праву наследования.

Никто не произнес ни слова. Все смотрели на мать.

– Ты считаешь, что ты его заслужил? – спросила она.

– Возможно, что нет, – ответил Робер. – Но отец сказал, что он должен принадлежать мне, а после меня перейти к моим детям, и у меня нет никаких оснований полагать, что он мог бы отступить от своих слов. Кубок будет отлично выглядеть в моем новом доме в Сен-Клу... Кстати, Кэти снова ожидает ребенка, он должен родиться весной.

Для матери этого было достаточно.

– Возьми, – сказала она, – но помни, что сказал отец, когда обещал тебе его отдать. Этот кубок – символ высокого мастерства, а вовсе не талисман, который должен принести славу или богатство.

– Возможно, что вы и правы, – отвечал Робер, – однако все зависит от того, в чьи руки он попадет.

Когда Робер уехал от нас и возвратился в Париж, он увез с собой и кубок вместе со всем прочим своим имуществом, а в апреле, когда родился его сын Жак, он и его многочисленные друзья, приглашенные на крестины, пили из него шампанское за здоровье новорожденного и родителей.

А мы остались в Шен-Бидо и вернулись к нашей размеренной жизни, уже без отца, все, кроме Пьера, который, в соответствии со своим решением, купил практику нотариуса в Ле-Мане и посвятил себя тому, что оказывал помощь несчастным, которым не повезло. Мне казалось, что именно ему, а не Роберу должен был достаться кубок, потому что хотя он и не занимался больше стекольным ремеслом, но все равно был мастером своего дела, отвечающим высоким стандартам, установленным нашим отцом. Конечно же, у него не было недостатка в клиентуре, и чем беднее были его клиенты, тем больше это нравилось Пьеру; у его крыльца всегда стояла длинная

вереница несчастных, ожидающих своей очереди. Я подумывала о том, чтобы переселиться в Ле-Ман и вести там хозяйство брата, мы с матушкой уже почти решили, что я поеду, как вдруг Пьер, не говоря никому из нас ни слова, взял да и обручился с дочерью одного торговца – это была мадемуазель Дюмениль из Боннетабля – и через месяц уже женился.

– Так похоже на Пьера, – заметила матушка. – Он помогает коммерсанту выпутаться из затруднительного положения и запутывается сам: женится на его дочери.

То, что Мари Дюмениль была старше Пьера и не принесла ему никакого приданого, настроило мою мать против невестки. А между тем это была добрая женщина, она отлично стряпала, и если бы она не подходила моему брату, он никогда бы на ней не женился.

– Будем надеяться, – говорила матушка, – что Мишель не даст себя так легко окрутить.

– Не б-беспокойтесь, – отвечал ее младший сын, – у меня слишком много д-дел в Шен-Бидо – только и делаю, что стараюсь не попасться вам на глаза, – так что никак не могу связывать себя женитьбой.

Но, по правде говоря, Мишель и матушка отлично ладили между собой. Теперь, когда не было отца и никто к нему не придирался, никто не раздражался из-за его заикания, Мишель оказался великолепным мастером – разумеется, под строгим руководством матери. Два или три мастера, работавших вместе с Мишелем на заводе в Берри, последовали за ним в Шен-Бидо. Это указывало на то, что он пользовался среди них известным влиянием. Остальные наши рабочие и подмастерья были из Ла-Пьера, они работали с ним с самого начала или знали его с детства.

Все мы, живущие в Шен-Бидо, составляли как бы единое целое, единую общину, в которой руководящей силой была моя мать, в то время как Мишель был скорее товарищем рабочих, чем управляющим. Он был лидером по природе, так же как и его отец, однако манера себя вести была у каждого своя. Когда отец перед началом плавки входил в помещение, где располагалась печь, шумные разговоры и грубые шутки, столь обычные среди людей, живущих в тесном общении друг с другом, мгновенно прекращались; каждый человек молча и без излишней суеты занимался своим делом. Это

происходило не из страха перед хозяином, но оттого что они глубоко его уважали. Мишель не требовал от рабочих ни уважения, ни почтительного молчания. У него была своя теория: он считал, что чем больше шума, тем лучше идет дело, в особенности же делу помогает громкое пение – все стеклоделы по природе своей отличные певцы и любители посмеяться, а самые громкие и рискованные шутки исходили обычно от самого Мишеля.

Он всегда знал, когда матушка должна появиться в мастерских – она поставила себе за правило обходить весь завод каждый день, – и в такие минуты призывал к порядку, и рабочие ему подчинялись. Мне кажется, мать догадывалась о том, что происходит в ее отсутствие, но, поскольку дела шли нормально и выпуск продукции не снижался, у нее не было оснований жаловаться.

В Шен-Бидо мы продолжали производить лабораторную посуду и инструменты для научных исследований и поставляли продукцию в соседние города Сомюр и Тур, не говоря уже о Париже. Наша малая печь была занята выпуском именно этой продукции, а не тонкого столового стекла, выпуск которого наладил мой дядя Мишель в Ла-Пьере. Это объяснялось, во-первых, тем, что у нас не было соответствующих мастеров, хотя на нас работало более восьмидесяти человек, и, во-вторых, тем, что производство лабораторной посуды и инструментария требовало меньших затрат. Здесь, в Шен-Бидо, на матушкином попечении находилась и ферма, не считая сада и огорода; кроме того, на ней лежала забота о рабочих и их семьях – их было более сорока, некоторые жили на холме в Плесси-Дорене, другие – в лесах возле Монмирайля, но в основном они жили в домишках, расположенных вокруг самих мастерских.

Нас с Эдме приучили заботиться о семьях рабочих наравне с матушкой. Это означало, что каждый день мы заходили в какой-нибудь дом, чтобы узнать, не нужно ли им чего-нибудь, – ведь никто из них не умел ни читать, ни писать, и нам частенько приходилось писать для них письма к родственникам. Иногда по их поручениям нужно было съездить в Ферт-Бернар и даже в Ле-Ман. Обстановка в этих домишках была достаточно убогой, в них не имелось никаких удобств, а заработки были очень невелики.

Нас постоянно приглашали крестить детей, это означало, что тем семьям, где мы были крестными, приходилось уделять больше

внимания, чем остальным. Мы с Эдме считали, что эта честь влечет за собой только лишние заботы, однако матушка не позволяла нам от нее уклоняться. У нее самой было по крайней мере тридцать крестников, и она не забывала ни одного дня рождения.

В Шен-Бидо мы никогда не сидели без дела. Если мы не были заняты визитами, то есть не отправлялись навестить какую-нибудь семью, то занимались домашними делами, выполняя работу, которую давала нам матушка: стирали, чинили белье, заготавливали впрок фрукты или овощи или же ухаживали за садом и собирали фрукты, в зависимости от времени года. Матушка никому не позволяла бездельничать, и зимой, когда земля покрывалась снегом и нельзя было выходить из дома, она заставляла нас стегать одеяла, предназначенные для жен и детей рабочих.

Я не хотела никакой другой жизни и никогда не испытывала недовольства. И все-таки когда мне разрешалось поехать в Париж, чтобы навестить Робера и Кэти, что случалось не чаще двух-трех раз в году, я рассматривала это как подарок судьбы.

Робер пока больше не делал глупостей. Его положение первого гравера по хрусталу на стеклозаводе в парке Сен-Клу возле Севрского моста принесло ему некоторую известность, и в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году завод получил название «Manufacture des Cristaux et Emaux de la Reyne».^[17] Мой брат со своей женой Кэти жил недалеко от завода, и хотя у них было всего две или три комнаты, значительно более скромные, чем в Ружемоне, Робер обставил их в самом современном стиле, а Кэти всегда была наряжена как придворная дама. Она была такая же хорошенькая и такая же любящая, как обычно, и всегда радовалась моему приезду, а маленький Жак был прелестный малыш.

Что до Робера, я всегда невольно сравнивала его внешность и поведение с тем, как были одеты и как себя вели его братья Пьер и Мишель. Если мне случалось приезжать в Ле-Ман и ночевать там, Пьер неизменно возвращался из своей конторы очень поздно, поскольку его всегда задерживал кто-нибудь из его несчастных клиентов. Волосы у брата были нечесаны, галстук завязан кое-как, а на сюртуке обязательно сидело какое-нибудь пятно; он наскоро что-нибудь ел, не разбирая вкуса, и одновременно рассказывал мне

очередную печальную историю о нуждах и злоключениях какого-нибудь бедняка, которого он стремился вызволить из беды.

Мишель тоже не обращал внимания на свою внешность. Матери постоянно приходилось напоминать ему, чтобы он побрился, чтобы следил за ногтями и регулярно стригся, потому что порой брат выглядел не лучше, чем наши углежоги.

А вот Робер... Во-первых, волосы у него всегда были напудрены, что сразу же придавало ему изысканный вид. Его сюртуки и панталоны шились у лучших портных. Шерстяных чулок он не носил, только шелковые, а туфли у него были либо с острыми носами, либо с квадратными, в соответствии с требованиями моды. Когда он вечером – или, наоборот, утром, в зависимости от смены, – возвращался домой к нам с Кэти, вид у него был такой же безукоризненный, как и тогда, когда он уходил на работу, и он никогда не заводил разговора о том, что происходило в течение дня в мастерской, к чему я привыкла в общении с другими моими братьями, Робер живо и остроумно пересказывал нам разные городские сплетни, часто далеко не безобидные, и в его рассказах обязательно была какая-нибудь занимательная история, связанная с придворными кругами.

Это были дни, когда ходило особенно много разговоров о королеве. Ее расточительность и сумасбродства, ее пристрастие к балам и театру были широко известны, а рождение дофина вызвало всеобщее ликование и послужило предлогом для празднеств и фейерверков, однако стало предметом пересудов. По столице пополз слухок, всюду хихикали и шептались, высказывая предположения о том, кто был отцом ребенка, – всем, дескать, было известно, что это не король.

Говорят... Мой брат сотни раз повторял это несимпатичное слово, а ему-то никак не следовало этого делать, поскольку королева была патронессой стеклозавода в Сен-Клу.

Говорят... у королевы полдюжины любовников, в том числе братья короля, и она даже не знает, кто из них отец ее сына.

Говорят... последнее бальное платье стоило две тысячи ливров, и девушки-швеи так измучились, торопясь закончить его к сроку, что многие из них умерли от усталости...

Говорят... что, когда король возвращается домой, утомленный после охоты, и сразу же ложится в постель, королева исчезает,

отправляется в Париж со своим деверем, графом д'Артуа и друзьями – Полиньяками и принцессой де Ламбаль, и все они – кавалеры и дамы, переодетые проститутками, – бродят по самым грязным и непотребным кварталам.

Неизвестно, кто распускал эти сплетни. Но мой брат с удовольствием передавал их нам, уверяя, что получает сведения из первых рук.

Когда я гостила у Робера и Кэти весной тысяча семьсот восемьдесят четвертого года, я стала невольной причиной одного случая, который впоследствии оказал значительное влияние на будущее моего брата. Я предполагала вернуться домой двадцать восьмого апреля, а накануне, двадцать седьмого, должна была состояться премьера новой пьесы «Le Mariage de Figaro»,^[18] написанной неким Бомарше. Робер непременно хотел посмотреть эту пьесу – в театре будет весь Париж, и, кроме того, говорили, что в этой скандальной пьесе полно намеков на то, что делается в Версале, хотя действие, для маскировки, происходит в Испании, – и непременно хотел, чтобы я тоже отправилась вместе с ним.

– Тебе будет полезно, Софи, – говорил он. – Это будет способствовать твоему образованию. Ты у нас слишком провинциальна, а Бомарше сейчас самый модный писатель. Если ты согласишься посмотреть эту пьесу, то до конца дней сможешь рассказывать о ней у себя дома.

Это последнее его предположение было мало вероятно. Мишель станет насмешничать, матушка приподнимет брови, что же до Пьера, то он просто скажет, что это лишнее доказательство морального разложения общества.

И тем не менее, поскольку это был мой последний день, я позволила себя уговорить. Оставив Кэти в Сен-Клу нянчить маленького Жака, мы отправились в театр в наемном экипаже. На мне было платье, сшитое портнихой в Монмирайле, в то время как Робер выглядел как настоящий денди.

Театр осаждала огромная толпа, и я была уже готова повернуть назад и возвратиться в Сен-Клу, однако Робер не хотел об этом и слышать.

– Обопрись на мою руку, – велел он мне. – Мы обязательно должны пробраться внутрь, если ты обещаешь, что не упадешь в

обморок, а потом положишься на меня.

Расталкивая толпу, с трудом пробивая себе дорогу, мы в конце концов оказались в театре. Нечего и говорить, что ни одного свободного места не было видно.

– Стой здесь и не двигайся, – скомандовал брат, поставив меня возле колонны. – Я что-нибудь устрою. Не может быть, чтобы здесь не оказалось кого-нибудь из знакомых. – С этими словами он исчез в толпе.

Я бы отдала все на свете, чтобы оказаться на месте Кэти, которая качала и кормила своего маленького сына. Жара стояла невыносимая, невозможно было дышать от запаха пудры и румян, исходившего от стоявших вокруг меня женщин, разодетых в роскошные платья со всякими оборками и прочими безвкусными украшениями.

Я видела, как появились музыканты и заняли свои места в оркестре. Скоро начнется увертюра, а брата все еще не было видно. Вдруг я увидела, как он машет мне рукой поверх голов, и, бормоча извинения и заикаясь не хуже Мишеля, стала пробираться к нему.

– Все устроилось как нельзя лучше, – шепнул он мне на ухо – У тебя будет самое лучшее место в театре.

– Где?.. Что? – бормотала я, но он, к моему ужасу, повел меня к ложе, расположенной у самой сцены, где в полном одиночестве сидел роскошно одетый вельможа с синей орденской лентой.

– Герцог Шартрский, – шепнул Робер. – Главный Мастер Восточной ложи и всего масонства во Франции. Я тоже принадлежу к этой ложе.

Брат постучал в дверь и, прежде чем я успела его остановить, сделал какой-то знак – тайный знак, по которому масоны узнают друг друга, как он позднее мне объяснил, – и стал что-то быстро говорить кузену короля.

– Если бы вы только могли предоставить моей сестре место в вашей ложе, – говорил мой брат, толкая меня вперед, и не успела я опомниться и сообразить, что происходит, как герцог Шартрский уже предлагал мне руку и, улыбаясь, указывал на кресло, стоящее подле него.

Оркестр начал увертюру. Занавес поднялся. Пьеса началась. Я ничего не видела и не слышала, слишком взволнованная смелостью моего брата и слишком смущенная для того, чтобы понимать, что

происходит на сцене. Никогда в жизни, ни до того момента, ни после, не испытывала я таких страданий. Я не могла ни смеяться, ни аплодировать вместе со всеми. А во время антрактов – их было четыре, – когда в ложе появлялись друзья герцога Шартрского, все роскошно одетые, и начинали обсуждать пьесу, я сидела как истукан, покраснев от смущения, и не смела поднять глаза.

Герцог, по-видимому, понял, насколько я смущена, потому что он предоставил меня самой себе и больше ко мне не обращался. Только когда пьеса кончилась и Робер появился из аванложи, чтобы меня увести, я встретила с герцогом взглядом и заставила себя сделать ему реверанс, после чего мы с братом спустились вниз и замешались в толпу.

– Ну как? – спросил Робер, у которого глаза так и сияли от удовольствия и возбуждения. – Не правда ли, это самый восхитительный вечер твоей жизни?

– Совсем наоборот, – ответила я, ударяясь в слезы. – Самый ужасный!

Помню, как брат стоял в фойе и глядел на меня в полном недоумении, в то время как мимо проходили накрашенные, напудренные и увешанные драгоценностями дамы, направляясь к своим каретам.

– Я просто не могу тебя понять, – повторял он снова и снова, пока мы катили к себе в Сен-Югу в наемном экипаже. – Упустить такую возможность! Ведь ты сидела рядом с будущим герцогом Орлеанским, самым влиятельным и популярным человеком во всей Франции, и одно-единственное словечко, сказанное ему на ушко, могло бы обеспечить будущее твоего брата на всю оставшуюся жизнь, а ты не сумела использовать такой шанс! Не нашла ничего лучшего, как разреваться, словно младенец.

Нет, Робер ничего не понимал. Красивый, веселый, жизнерадостный и отлично владеющий собой, он никак не хотел понять, что его младшая сестра, не получившая почти никакого образования и одетая в платье, сшитое провинциальной портнихой, принадлежала к миру, который он давно уже оставил позади, но который, несмотря на свою отсталость и сельскую простоту, был гораздо глубже и значительнее его собственного.

– Я бы охотнее простояла целую смену у нашей печи, – сказала я брату, – чем провела бы еще один такой вечер.

Это приключение имело свои последствия. Герцог Шартрский, которому предстояло в следующем году сделаться герцогом Орлеанским, унаследовав этот титул после своего отца, жил в Пале-Рояле. Невзирая на оказанное ему серьезное сопротивление, он снес несколько предприятий, видных из его окон, и велел устроить на их месте совершенно иной пейзаж. Его дворец был теперь окружен аркадами, а под аркадами помещались кафе и лавки, рестораны и «зрительные залы» – словом, самые разнообразные заведения, которые могли бы привлечь публику. А над ними зачастую располагались игорные дома и клубы.

Бродить в Пале-Рояле, любоваться на витрины лавок, взбираться по лестницам на вторые этажи и даже пытаться проникнуть в задние потайные помещения, таившие в себе всевозможные соблазны, – все это стало излюбленным времяпрепровождением парижан. Однажды в воскресенье брат повел меня туда, и хотя я делала вид, что мне весело, в действительности я была шокирована, как никогда в жизни. И я не особенно удивилась, зная отчаянную смелость Робера, что он снова собирается нанести визит герцогу Орлеанскому, после того как однажды уже совершил этот дерзновенный поступок. Предлогом для этого повторного визита послужил все тот же вечер в театре и необходимость еще раз поблагодарить за высокую честь, оказанную его юной сестре-провинциалке. Робер позаботился о том, чтобы оставить принцу пару дюжин хрустальных бокалов для его собственных нужд. Принц принял подарок, выразив благодарность соответствующими масонскими знаками и символами.

Через три месяца после представления «Женитьбы Фигаро» – которую, кстати сказать, король запретил из-за скандальных намеков на придворные круги, хотя я этого и не знала, – Робер, сохраняя свое положение первого гравировщика на заводе в Сен-Клу, сделался владельцем одной из лавок в Пале-Рояле за номером двести двадцать пять.

Здесь были выставлены не только произведения искусства, изготовленные им самим на заводе в Сен-Клу, но и вещицы восточного происхождения, стоившие значительно дороже; они продавались не всякому, покупатель должен был представить

рекомендации и для этой цели вынужден был пройти во внутреннее помещение, отгороженное портьерой.

– Я так думаю, – заметила матушка, ничего не подозревая в своей невинности, когда услышала об этих восточных безделушках, – что это ритуальные предметы, и масоны передают их друг другу, исполняя какой-то обряд.

Я не стала ее разуверять.

Глава шестая

Когда осенью тысяча семьсот восемьдесят четвертого года нужно было возобновлять аренду Шен-Бидо, матушка решила, что настало время Мишелю взять завод на себя, на полную свою ответственность. Прежде всего, у нас появился новый хозяин. Весь Монмирайль, вместе со всем что к нему принадлежало, перешел из рук Буа-Жильбера в собственность некоего мсье Манжена, молодого спекулянта, от которого можно было ожидать, что он погубит леса, распродавая древесину по непомерным ценам, и вообще станет вводить всяческие новшества. Он занимал довольно высокое положение при дворе, называя себя Grand Audencier de France^[19] – именно через него Сен-Клу было куплено для королевы.

Моя мать принципиально не одобряла всякие спекуляции – она слишком хорошо видела, что это означает, на примере своего старшего сына – и предпочла удалиться, сняв с себя управление заводом, чтобы не видеть, как будет уничтожен лес. Впоследствии оказалось, что новый владелец Монмирайля не успел ничего сделать ни с лесом, ни с заводом; он вскоре разорился – одно из его предприятий, находящихся в Бордо, потерпело крах, однако матушка об этом еще не знала, когда передавала аренду моему брату Мишелю.

Мишель сразу же взял себе в партнеры своего приятеля, молодого и веселого Франсуа Дюваля. Этот Дюваль был уроженцем Эвре, что в Нормандии, но последние несколько лет работал управляющим на железодельном заводе в Вибрейе. Молодые люди скоро сделались большими друзьями, причем Мишель, который был на три года старше, всегда верховодил, тогда как его партнер был верным помощником и соучастником во всех его затеях.

Матушка ничего не имела против их партнерства. По правде говоря, молодой Дюваль пользовался ее особым расположением, потому что он неизменно спрашивал ее мнение обо всех предметах, начиная от производства железа и кончая ценами на рынке, проявляя при этом необычайный такт и скромность. До самого момента заключения сделки матушка не подозревала, что его подучил

Мишель, впрочем, если бы она и догадалась, это ничего бы не изменило, и договор о партнерстве был подписан.

– Мне нравится молодой Дюваль, – по-прежнему говорила она. – Он уважает мнение сведущих людей, и у него такие приятные почтительные манеры по отношению к старшим. Я уверена, что мы хорошо поладим.

Оказалось, что мама не собирается уезжать из Шен-Бидо, а намеревается задержаться там еще на некоторое время, несмотря на то что аренда была передана Мишелю. Это никак не входило в планы новых партнеров, и Мишель вместе со своим другом всячески старались от нее избавиться.

– Они начали в-валить лес, – сообщал он. – Скоро между нами и Монмирайлем не останется ни одного дерева.

Это, конечно, была неправда. Не было срублено ни одного дерева, только то, что было необходимо согласно естественному ходу вещей.

– Нас это не касается, – спокойно отвечала мать. – Согласно условиям аренды, мы имеем долгосрочную договоренность касательно поставки дров для наших нужд.

– Я д-думал о том, – продолжал Мишель, – как это отразится на красоте пейзажа. Мне кажется, тебе лучше переехать в Сен-Кристоф, пока здесь еще не все испорчено.

Мать только улыбалась и не говорила ни слова, прекрасно понимая, что у него на уме. Затем наступила очередь Дюваля, который принялся за дело по-иному.

– Не кажется ли вам, сударыня, – начинал он, – что вам следует побеспокоиться о вашей ферме в Турени. Говорят, что в этом году очень сильные морозы и многие виноградники померзли.

– У меня есть родственники, – отвечала она, – которым поручено следить за моими виноградниками.

– Я нисколько не сомневаюсь, – говорил молодой Дюваль, качая головой, – но свой глаз все-таки лучше. Вы же знаете, как бывает, когда поручаешь свое добро другим.

Мать пристально смотрела на него и благодарила за заботу, однако по тому, как слегка подергивались уголки ее губ, я понимала, что ему не удалось ее провести. Она очень старалась не вмешиваться в управление заводом, но продолжала заботиться о семьях рабочих и вести домашнее хозяйство сына и его друга.

Эдме большую часть времени проводила у Пьера и его жены в Ле-Мане, она была гораздо более склонна к наукам, чем я, и Пьер по вечерам занимался с ней историей, географией и грамматикой и, конечно же, весьма основательно познакомил ее с философией Жан-Жака.

А я оставалась дома, во всем помогала матушке и в то же время служила поверенной моего брата и его приятеля.

– З-знаешь, что ты должна сделать? – сказал мне Мишель однажды вечером, когда мы сидели втроем дома. Был перерыв между плавками, поэтому ни тому ни другому не надо было идти в ночную смену, а матушка рано отправилась спать. – Ты должна сделать вид, что влюблена в нашего Франсуа, а он – в тебя, и тогда мать так испугается, что тут же заберет тебя и увезет в Сен-Кристоф.

Это, несомненно, была блестящая идея, но лично у меня не было ни малейшего желания покинуть Шен-Бидо и ехать с матушкой в Турень.

– Благодарю тебя, – ответила я, – но я не способна притворяться и играть какую-то роль.

Мишель казался разочарованным.

– Тебе и не надо ничего особенного делать, – уговаривал он меня, – просто надо почаще вздыхать, стараться поменьше есть и делать несчастный вид, когда в комнату входит Франсуа.

Это было уж слишком. Сначала меня использовал Робер, чтобы обдeldывать свои дела в Париже, а теперь Мишель толкал меня на то, чтобы я притворялась влюбленной в его друга.

– Не желаю иметь с этим ничего общего, – с негодованием заявила я. – Как тебе только не стыдно выдумывать такие плузости?

– Не дразни сестру, – вмешался Дюваль. – Мы избавим ее от участия в этом деле, если ей неприятно. Но ведь вы не можете воспрепятствовать тому, что я буду оказывать вам внимание, мадемуазель Софи? Я буду краснеть и смущаться в вашем присутствии и стараться сесть поближе к вам. Это вполне может оказать нужное воздействие на вашу матушку.

Вышло так, что стало совершенно неважно, какое действие эта затея, достойная всяческого порицания, окажет на мою мать; важно то, что в результате изменились отношения между мною и Франсуа Дювалем.

Игра началась с шуток, которыми обменивались между собой Мишель с приятелем, с того, что они то и дело кивали и подмигивали один другому и придумывали разные уловки, чтобы оставить нас наедине, с тем чтобы потом нас застала матушка. Однако, вместо того чтобы возмутиться и прийти в ужас при виде дочери, которая молча сидит рядом с молодым человеком или же, напротив, оживленно с ним беседует, матушка реагировала на это спокойно, можно даже сказать, потворствовала этому и, входя в комнату, говорила: «Не буду вам мешать, я зашла только за листком бумаги, а письма буду писать наверху».

В результате этих ухищрений у нас с Франсуа появилась возможность лучше познакомиться друг с другом. Оказалось, что он не так уж безотказно подчиняется Мишелю, как я предполагала, и не прочь сменить его влияние на мое. Да и я оказалась не такой уж простушкой, способной лишь на то, чтобы делать домашнюю работу да служить помощницей и посредницей в их затеях. Оказалось, что у меня есть собственное мнение и что я вполне могу привязаться к человеку. Короче говоря, мы и в самом деле полюбили друг друга и нам незачем стало притворяться. Взявшись за руки, мы отправились к матушке и попросили ее благословения. Она была очень рада.

– Я видела, что все к этому идет, – сказала она нам. – Ничего не говорила, но видела: все к этому идет. Теперь я знаю, что Шен-Бидо будет в надежных руках.

Мы с Франсуа посмотрели друг на друга. Неужели это возможно, что мы ничего не подозревали, а матушка с самого начала все задумала сама?

– Вы поженитесь, как только Софи достигнет совершеннолетия, а это значит, не раньше осени восемьдесят восьмого года. К тому времени она получит свою часть наследства, а я еще кое-что к этому добавлю из своих средств. А пока старайтесь получше узнать друг друга, и ваша привязанность станет еще крепче. Очень полезно, когда молодым людям приходится немного подождать.

Я считала, что это нечестно. Матушка сама вышла замуж, когда ей было двадцать два года. Оба мы готовы были возражать, но она нас остановила.

– Вы, кажется, забыли о Мишеле, – сказала она. – Ему понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к новому

положению вещей. Если вы хотите моего совета, вам следует пока держать свое обручение в тайне, пусть он привыкает постепенно.

Итак, Мишель оставался в неведении относительно того факта, что мы с Франсуа полюбили друг друга, и прошло довольно много времени, пока он наконец обнаружил это обстоятельство.

Тем временем мой брат Робер снова попал в беду, у него были весьма серьезные неприятности. Они начались еще тогда, когда был продан Брюлоннери. Оказалось, что Робер, не поставив в известность ни отца, ни мать, заложил это имение со всем, что в нем находилось, некоему коммерсанту с улицы Сен-Дени и арендовал на эти средства ювелирную лавку под названием «Le Lustre Royal».^[20] Когда же он обанкротился и Брюлоннери было продано для уплаты долгов, он игнорировал это обстоятельство, сделав вид, что забыл о нем.

Теперь же, когда задолженность по арендной плате за лавку достигла внушительных размеров, этот коммерсант, которого звали мсье Руйон, решил наложить арест на закладную, предотвратив таким образом возможность выкупа Брюлоннери, и вдруг обнаружил, что имение было продано еще в тысяча семьсот восьмидесятом году. Он немедленно подал на брата в суд, обвинив его в мошенничестве. Мы впервые узнали об этом деле из отчаянного письма Кэти, которая писала нам, что Робер заключен в тюрьму Ла-Форс. Это было в июле тысяча семьсот восемьдесят пятого года.

И снова мы с матушкой предприняли утомительную поездку в Париж, взяв с собой для поддержки Пьера, и снова начался бесконечный судебный процесс – на этот раз Робер фигурировал как изобличенный мошенник и сидел в одной камере с обычными преступниками.

Мы с Пьером не позволили матушке навестить Робера в тюрьме, а поехали туда сами, оставив ее дома с Кэти и маленьким Жаком; и мне казалось, что я снова нахожусь в фойе театра... Брат по-прежнему выглядел как настоящий денди, был одет словно для приема – в чистой рубашке и галстук, которые ему приносил каждый день его слуга в Пале-Рояле вместе с вином, провизией, он всем делился со своими товарищами по заключению – это были несостоятельные должники, мошенники и мелкие воришки.

Эти господа – их было около десятка – занимали помещение в два раза меньшее, чем главная комната нашего дома в Шен-Бидо; воздух

туда проникал через решетку в сырой стене, а постелью узникам служили соломенные матрасы.

– Я прошу прощения, – сказал Робер, подходя к нам со своей обычной улыбкой и указывая широким жестом на окружающую обстановку. – У нас, конечно, тесновато, зато все они отличные ребята. – После этого он стал представлять нам своих товарищей, словно находился у себя в гостиной и знакомил друг с другом своих гостей.

Я просто поклонилась, не сказав ни слова. Но Пьер, вместо того чтобы держаться с подобающим достоинством, стал пожимать руки каждому из этих мошенников, спрашивая всех, в том числе и собственного брата, не может ли он чем-нибудь им помочь. Тут же завязался оживленный разговор, каждый стремился изложить свое дело, а я осталась стоять у двери, привлекая внимание тех, кто не мог добраться до Пьера, пока один из них, оказавшийся посмелее прочих, не подошел ко мне и не схватил меня за руку.

– Робер! – позвала я так громко, как только посмела, потому что мне не хотелось привлекать всеобщее внимание, и брат, только тут сообразив, что я нахожусь в бедственном положении, дипломатично пришел ко мне на выручку.

– Здесь, в Ла-Форсе, мы не отличаемся особой учтивостью, – сказал он. – Но ты не беспокойся. Если ты оставила свои драгоценности дома...

– Ты прекрасно знаешь, что у меня их нет, – сердито сказала я, поскольку мой страх сменился возмущением. – Лучше скажи, как ты собираешься выпутываться из этого положения?

– Я предоставлю это Пьеру, – ответил он. – У него есть ответы на все. Кроме того, у меня есть друзья, занимающие высокое положение, и они сделают все, что возможно...

Я слышала подобное и раньше. Мне никогда не приходилось встречать этих влиятельных друзей, если не считать герцога Орлеанского, однако было весьма мало вероятно, что этот последний придет на помощь Роберу и станет вывозить его из тюрьмы.

– Знай только одно, – сказала я ему, – матушка не станет еще раз платить, чтобы помочь тебе, и на мою долю наследства тоже можешь не рассчитывать.

Робер похлопал меня по плечу.

– У меня и в мыслях не было обращаться к ней или к тебе, – ответил он. – Что-нибудь обязательно подвернется. Так всегда случается.

Красноречие Пьера оказалось бессильным, оно не могло спасти брата. Не помогло и специальное ходатайство перед судьями. Спасительницей Робера оказалась Кэти. Она сама встала за прилавок в лавке номер двести двадцать пять в Пале-Рояле, оставив Жака на попечение своих родителей. К октябрю месяцу у нее оказалось достаточно денег, чтобы взять Робера на поруки, договориться с его кредитором мсье Руйоном и добиться освобождения мужа из тюрьмы.

– Я знала, что Кэти способна на решительные действия, когда возникает критическая ситуация, – заметила матушка, когда мы об этом услышали, ибо к тому времени мы уже вернулись домой и жили в Шен-Бидо. – Если бы я не была уверена, что у нее есть характер, я бы никогда не выбрала ее в жены своему сыну. Твой отец гордился бы ею.

Эти месяцы, полные волнений и беспокойства, сказались на здоровье матушки. В течение лета то и дело приходилось ездить в Париж. Ей никогда не нравилась жизнь в столице, и теперь она нам заявила, что не имеет ни малейшего желания снова ступить на парижские улицы.

– У меня осталось одно желание в жизни, – говорила она, – это пристроить вас обеих, тебя и Эдме. И тогда я уеду в Сен-Кристоф и буду доживать свой век на ферме, среди виноградников.

Это было сказано без обиды и без сожаления. Ее рабочая жизнь подходила к концу, и она это понимала. Все чаще и чаще она уезжала в Турень, взяв с собой Эдме и меня, и приводила в порядок свое маленькое имение Антиньер, доставшееся ей в наследство от отца Пьера Лабе, с тем чтобы оно было готово к тому времени, когда она решит там поселиться.

– Скучно? – презрительно возражала она нам, когда мы пытались ей внушить, что ферма стоит вдали от всего, на довольно большом расстоянии от самой деревни. – Разве может человек скучать, когда у него столько дел, как у меня? Коровы, куры, свиньи, поля, которые нужно обрабатывать, сад и виноградники на холме. Если в таких условиях не можешь себя занять, лучше вообще не жить на свете.

Однако, прежде чем она смогла уехать, оставив на нас Шен-Бидо, ее гордости был нанесен еще один удар. На сей раз виновником был не Робер, а Мишель.

Как-то раз, когда мы с матушкой были в отсутствии – мы уезжали в Сен-Кристоф, – Франсуа решил, что пришло время сообщить Мишелю о нашей помолвке. Тот принял это известие хорошо, гораздо лучше, чем предполагал Франсуа, сказав, что шутка обратилась против него самого и что так ему и надо.

– Теп-ерь остался только один выход, – сказал он мне, когда я вернулась. – Надо, чтобы здесь с нами жила Эдме, мы составим отличную четверку. Она всегда была на моей стороне, когда мы были детьми.

Можно было подумать, что будущий брак между мной и Франсуа напомнил ему о далеких старых временах, когда был жив наш отец, а он был лишним в семье, чем-то вроде отверженного.

– Уверяю тебя, все останется по-прежнему, – говорила я ему. – Франсуа тебя очень любит, и я тоже. Никакой разницы не будет, ты, как и раньше, будешь хозяином, а он твоим партнером.

– Легко г-говорить, – с горечью возражал мой брат. – Вы с Франсуа словно голубки в небесах, а я внизу и один.

Я расстроилась и пошла к Франсуа, но он не придавал этому большого значения.

– Ничего страшного, – заявил он. – Он скоро привыкнет к этой мысли.

Я спросила Эдме, как она смотрит на то, чтобы жить с нами и взять на себя матушкины обязанности по ведению бухгалтерии – у нее была хорошая голова, – но она решительно отказалась.

– У меня совсем другие планы, – сказала она, – и поскольку ты сама заговорила о будущем, я могу тебе сообщить, в чем они состоят.

Исполненная гордости и собственной важности, она рассказала мне, что за ней ухаживает некий мсье Помар, человек значительно старше ее, имеющий весьма прибыльную профессию *fermier général*^[21] Сен-Винсентского аббатства в Ле-Мане (в те времена так назывался человек, занимавшийся сбором налогов и пошлин, значительная доля которых оседала в его собственном кармане). Пьер об этом знает, хотя относится к этому без одобрения, поскольку всякий откупщик внушает ему отвращение просто из принципа.

– Мсье Помар ждет только официального объявления о вашей помолвке и тогда будет говорить с матушкой относительно нашей собственной.

Итак... она оказалась верной своей клятве, что выйдет замуж за пожилого и богатого человека, – хотя мсье Помар и не был Крезом, но богатым он был несомненно.

– Ты уверена, – нерешительно спросила я ее, – что поступаешь правильно, что все это не продиктовано желанием не отстать от меня?

Эдме вспыхнула, раздосадованная моим предположением.

– Конечно, уверена, – отвечала она. – Мсье Помар очень образованный человек, и мне будет гораздо интереснее жить с ним в Ле-Мане, чем с вами в Шен-Бидо или с матушкой в Сен-Кристофе.

Ну что же, она сама будет решать. Это не мое дело. И вскоре после этого, с полного одобрения нашей матери, мы обе были официально обручены. Более того, матушка согласилась с тем, что Эдме нет нужды ждать, пока она достигнет совершеннолетия, и что мы, таким образом, сможем венчаться одновременно, устроить двойную свадьбу летом восемьдесят восьмого года.

– Это гораздо проще, – заявила она. – Можно ограничиться одной церемонией. К тому же вы можете одинаково одеться, и тогда не нужно будет сравнивать, не будет ни зависти, ни обид.

Она, несомненно, была права, но все-таки мы чувствовали, что нас чего-то лишили...

В течение нескольких месяцев, предшествовавших свадьбе, у нас была масса дел – нужно было готовить приданое, составлять списки гостей, мы постоянно разъезжали между Шен-Бидо, Ле-Маном и Сен-Кристофом, потому что матушка настояла, чтобы наша двойная свадьба состоялась в ее родной деревне.

Она всегда неукоснительно придерживалась этикета, приличествующего таким событиям, поэтому для консультации постоянно приглашались оба будущих мужа. Должна признаться, что выбор Эдме не вызвал во мне особого восторга – ее жених был слишком толст, и у него была слишком красная физиономия, можно подумать, что он собирал для Сен-Винсентского аббатства не только церковную десятину и налоги, но и вино. Впрочем, он был достаточно добродушен и очень привязан к моей сестре.

В этой предсвадебной суете неизбежно получилось так, что мой брат Мишель оказался в Шен-Бидо предоставленным самому себе, что было ему совсем не полезно. Друзей у него было мало, если не считать собратьев-мастеров, работавших вместе с ним на стекловарне, – из-за своего заикания он чувствовал себя неловко в незнакомом обществе. Ему было легко и свободно только в узком кругу своих товарищей по работе или среди углежогов в лесу, да еще в странной разношерстной компании бродячих лудильщиков, торговцев, всяких бродяг и цыган, которые постоянно скитались по дорогам в поисках сезонной работы.

Осенью восемьдесят седьмого года я заметила в нем некоторую озабоченность, в особенности это стало заметно в ноябре, когда мы все трое – Франсуа, Мишель и я – были приглашены в качестве крестных в дом одного из наших рабочих. Он вел себя странно: то предавался шумному веселью, что было ему несвойственно, то вдруг впадал в задумчивость, то казался смущенным.

– Что такое с Мишелем? – спросила я у Франсуа.

Мой будущий муж, в свою очередь, казался несколько расстроенным.

– Все придет в норму, – сказал он, – когда мы устроимся, будем жить дома и заботиться о нем.

Его слова меня не успокоили, и я обратилась с тем же вопросом к добрейшей мадам Верделе, которая вот уже много лет служила у нас кухаркой.

– Мсье Мишеля постоянно нет дома, – быстро ответила она. – Я имею в виду – по вечерам, когда он свободен от смены. Он ходит в лес, в гости к углежогам, к братьям Пелажи и другим. По его просьбе у нас здесь работала их неумеха сестра, пока я не отправила ее восвояси.

Я знала братьев Пелажи, это были дикие, неотесанные мужики; знала и сестру, красивую наглую девку, которая была гораздо старше Мишеля.

– Все наладится, – добавила мадам Верделе, – когда вы обоснуетесь здесь навсегда и займете место хозяйки дома.

Я искренне надеялась на это. А пока не стоило тревожить матушку. В конце апреля тысяча семьсот восемьдесят восьмого года мы устроили праздник в Шен-Бидо для тех рабочих с семьями,

которые не смогут приехать в Сен-Кристоф, – на церемонию были приглашены только старшие мастера.

Ведь кроме наших должны были прибыть гости мсье Помара, и народу было бы слишком много.

Ужин более чем на сто человек был устроен в помещении стекловарни; он, по обыкновению, сопровождался пением, речами и тостами. Во главе стола сидела матушка – в последний раз она выполняла эту обязанность, ибо впоследствии это место должна была занимать я.

Все прошло хорошо. Приветственные крики, адресованные Франсуа, а также Мишелю, показывали, что в нашем «доме» все обстоит благополучно и что все обитатели счастливы и довольны. Только после того как все разошлись по домам, матушка достала письмо, которое она получила от мсье Конье, кюре из Плесси-Дорена, с извинениями по поводу того, что он не может присутствовать на празднике. «При существующих обстоятельствах, – говорилось в письме, – отнюдь не желая вас оскорбить, я нахожу для себя невозможным пользоваться гостеприимством вашего сына».

Матушка прочла письмо вслух, а потом, обернувшись к Мишелю, потребовала от него объяснений.

– Я бы хотела знать, – сказала она, – чем ты так оскорбил кюре, который всегда был моим другом и другом нашей семьи?

Поймав на себе предупреждающий взгляд Франсуа, я хранила молчание. Мишель побледнел – так всегда случалось и раньше, когда ему приходилось отвечать на вопросы отца.

– Вы м-можете состоять с ним в д-дружбе сколько вам угодно, – угрюмо отвечал Мишель. – Мне он не д-друг. Он суется в дела, которые его не касаются.

– Какие, например? – спросила матушка.

– П-пойдите в церковь и узнаете, – сказал Мишель и выскочил из комнаты.

Матушка обернулась к Франсуа.

– Вы можете что-нибудь к этому добавить? – спросила она.

Франсуа был в замешательстве.

– Я знаю, что были какие-то неприятности. Большого я сказать не могу.

– Очень хорошо, – проговорила матушка. Именно эти слова она произносила в нашем детстве, когда мы плохо себя вели и заслуживали наказания. В тот вечер ничего больше сказано не было, но на следующее утро матушка велела мне сопровождать ее в Плесси-Дорен. Кюре, мсье Конье, был уже в церкви, он ждал нас. Как это обычно водится в маленьком местечке, слух о нашем приходе опередил нас.

– Что там такое случилось с Мишелем? – спросила матушка, приступая сразу же к делу.

Вместо ответа кюре открыл церковную книгу, уже приготовленную заранее, и указал на одну из записей.

– Прочтите это, мадам, – сказал он, – и вам все станет ясно.

Запись гласила следующее: «Шестнадцатого апреля тысяча семьсот восемьдесят восьмого года крещена Элизабет Пелажи, рожденная от незаконной связи между Элизабет Пелажи, служанкой, и Мишелем Бюссон-Шалуаром, ее хозяином. Крестный отец – Дюкло, рабочий, крестная мать – дочь Дюрошера, рабочего. Подпись: Конье, кюре».

Матушка застыла на месте. В течение какого-то времени она не могла вымолвить ни слова. Затем обернулась к кюре.

– Благодарю вас, – сказала она. – Больше здесь не о чем говорить. Где находятся мать и ребенок?

Прежде чем ответить, кюре несколько помедлил.

– Ребенок умер, – ответил он. – Это, наверное, к лучшему, во всяком случае для него самого. Насколько я понимаю, мать уже больше не живет со своими братьями, она перебралась к родственникам куда-то в другое место.

Мы попрощались с кюре и пошли по дороге, ведущей на вершину холма, где располагался Шен-Бидо. Матушка долго ничего не говорила. Мы были уже на середине склона, когда она остановилась передохнуть. Я видела, что она глубоко расстроена.

– Никак не могу понять, – задумчиво проговорила она, – почему мои сыновья попирают нравственные принципы, которые я ценю больше всего на свете, почему они губят себя.

Я ничего не могла ей ответить. Не было никакой видимой причины, объясняющей их поступки, ведь все мы были воспитаны одинаково.

– Мне кажется, – осмелилась я наконец заметить, – что у них не было дурных намерений, что бы они ни делали. Все они – Робер, Мишель да и Пьер тоже, – бунтари по натуре. Они как бы восстают против всех традиций, против всего того, что ценили вы с отцом. Если бы у вас был другой характер, не такой властный, может быть, все было бы иначе.

– Возможно... – проговорила матушка. – Возможно...

Мишель находился у печи, у него была смена, однако матушка не постеснялась немедленно за ним послать и тут же все ему выложила.

– Ты злоупотребил своим положением хозяина и опозорил свое имя, – сказала она ему. – Запись в приходской книге Плесси-Дорена останется здесь на вечные времена. Я даже не знаю, что внушает мне большее отвращение, банкротство Робера или твое поведение.

Брат не оправдывался, не пытался свалить вину на братьев Пелажи или на их сестру. Только к одному человеку он испытывал ненависть, это был кюре, мсье Конье.

– Он отказался похоронить ребенка, – говорил взбешенный Мишель, – он самолично распорядился, чтобы девушку отослали отсюда к каким-то родственникам. Для меня он больше не существует, как, впрочем, и все остальные священники, вместе взятые.

Он вернулся на работу, не сказав больше ни слова, не пришел он и к ужину. На следующий день мы с матушкой вернулись в Сен-Кристоф, а потом были все время заняты приготовлениями в двойной свадьбе. К сожалению, позор, который навлек на себя Мишель, омрачил нашу радость. Казалось, что с цветов, украшавших весну наших надежд, облетели все лепестки.

Как странно было мне устраиваться в Шен-Бидо в качестве жены одного из двух хозяев, заняв в нашей маленькой общине место, принадлежавшее прежде матушке. Помню, как она приехала в последний раз, чтобы забрать остатки своих вещей, обещая часто навещать нас, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы стояли у въездных ворот, ведущих на завод, наблюдая, как она садится в одну из заводских повозок, которая должна была отвезти ее в Турень. Веселая, улыбающаяся, она расцеловала нас всех троих по очереди, давая в то же время последние распоряжения Франсуа и Мишелю по поводу отправки партии товара, который она не могла оставить без

внимания, поскольку он предназначался для одного торгового дома в Лионе, хорошо известного ей и моему отцу.

Рабочие, свободные от смены, вместе с женами и детьми выстроились вдоль дороги, чтобы ее проводить. У некоторых из них были слезы на глазах. Она высунулась из окна и помахала им рукой. А потом кучер хлестнул лошадь, карета скрылась из глаз и покатила вниз, к Плесси-Дорену, оставив за собой лишь стук колес по каменистой дороге.

– Так кончается эпоха, – заметил Мишель, и, взглянув на него, я увидела его потерянный взгляд – он был похож на брошенного ребенка. Я тронула его за рукав, и мы все трое вошли в заводские ворота Шен-Бидо, чтобы начать нашу совместную жизнь.

Это был не только конец царствования Королевы Венгерской, которая властвовала над нашей общиной, состоявшей из нескольких заводов, в течение сорока лет, это был конец – он наступит еще только через год, пока мы об этом не знаем – старого режима во Франции, длившегося пять веков.

Часть вторая
ВЕЛИКИЙ СТРАХ

Глава седьмая

Зима в тысяча семьсот восемьдесят девятом году выдалась удивительно суровая. Никто, даже самые старые люди в нашей округе не могли припомнить ничего подобного. Морозы установились необычайно рано, к тому же год был неурожайный, и местные арендаторы и крестьяне оказались в бедственном положении. Нам на нашем заводе тоже приходилось нелегко: обледеневшие, занесенные снегом дороги стали почти непроезжими, и нам стоило больших трудов доставлять товар в Париж и другие крупные города. Это означало, что у нас на руках скопилась непроданная продукция, и было маловероятно, что мы сможем сбыть ее весной, потому что за это время торговцы закупают нужный им товар в другом месте, если они вообще будут делать какие-то заказы. В то время из-за беспорядков, прокатившихся по всей стране, наблюдалось общее падение спроса на предметы роскоши. Я и раньше слышала, как мои братья, и в особенности Пьер, рассуждали с матушкой об общем упадке в нашем стекольном ремесле, да и в остальных ремеслах тоже, по той причине, что внутренние пошлины и многочисленные налоги значительно увеличивали стоимость производства; но только после того, как я сама стала женой мастера-стеклодува и хозяйкой на нашем маленьком заводе, я полностью оценила те трудности, с которыми приходилось сталкиваться на каждом шагу.

Мы платили владельцу Шен-Бидо, мсье Манжену из Монмирайля, годовую ренту в двенадцать тысяч ливров, что само по себе было не так обременительно, но мы отвечали за состояние построек, и на нас лежал весь ремонт. Кроме того, мы платили налог на поместье и церковную десятину, и нам не хватало того леса, который разрешалось использовать для нашей печи. Мы платили штраф, если наша скотина оказывалась за пределами территории завода, а если кто-нибудь из наших людей пытался срубить дерево в охотничьих угодьях и попадался на этом, нас тоже штрафовали – приходилось отдавать по двадцать четыре ливра за каждый случай.

По сравнению с тем временем, когда работал мой отец, рабочие получали гораздо больше, в связи с тем что возросла стоимость

жизни. Самые главные мастера – стеклодувы и гравировщики – получали примерно шестьдесят ливров в месяц; менее квалифицированным платили от двадцати до тридцати ливров; ученики и подмастерья получали пятнадцать—двадцать ливров. Но даже при этих заработках жить им было нелегко, поскольку они должны были платить подушный налог и налог на соль; однако самым тяжелым бременем для рабочих и их семей был рост цены на хлеб, которая за эти месяцы достигла одиннадцати су за четырехфунтовый каравай. Хлеб составлял их главную пищу – мяса они себе позволить не могли, – и человек, который зарабатывал примерно один ливр или двадцать су в день и должен был кормить голодную семью, тратил половину своего заработка на один хлеб.

Только теперь я поняла, как много делала моя мать для жен и детей наших рабочих и каких невероятных усилий ей стоило не дать им умереть с голода, удерживая в то же время стоимость производства на прежнем уровне – так, чтобы она повышалась как можно меньше.

В эту суровую зиму просто невозможно было удержать рабочих от незаконных порубок в лесу или от браконьерства – они тайком охотились на оленей. Да у нас и не было особого желания этим заниматься, поскольку скверные дороги и в связи с этим невозможность попасть в Ферт-Бернар или Ле-Ман весьма осложняли нашу собственную жизнь.

Рост цен вызывал недовольство, доходящее до озлобления, по всей Франции, однако мы в нашем захолустье были, по крайней мере, избавлены от стачек и прочих беспорядков, которые то и дело вспыхивали в Париже и других больших городах. И тем не менее ощущение неуверенности и тревоги просочилось и в наши леса, куда различные слухи доходили сильно преувеличенными, просто в силу нашей уединенности.

Пьер, Мишель и мой Франсуа в течение этого последнего года сделали масонами, вступив в различные ложи в Ле-Мане – Сен-Жюльен л'Этруат Юнион, Ле-Муара и Сент-Юбер соответственно. Здесь, пока дороги не сделали окончательно непроезжими, оба моих мастера-стеклодува встречались с прогрессивно мыслящими леманцами, среди которых были адвокаты, врачи и прочие представители интеллектуальных профессий – такие как мой брат

Пьер. Встречались там и аристократы, были даже кое-кто из духовенства, однако превалировал все-таки средний класс.

Я не очень-то разбиралась в муниципальных делах и еще меньше знала о том, как управляется страна в целом, – что, очевидно, и было предметом дискуссий на этих собраниях, – но я и сама видела, что налоги и всяческие ограничения все мешали заниматься нашим ремеслом, и что высокие цены на хлеб наиболее тяжким бременем ложились на беднейших рабочих, тогда как самые богатые, те, которые владели большими деньгами, то есть аристократия и духовенство, были освобождены от каких бы то ни было налогов.

Между тем всеобщее мнение сводилось к тому, что сама Франция – равно как мой брат Робер несколько лет тому назад – находится на грани банкротства.

– Я уже сколько лет об этом говорю, – заметил Пьер, приехав как-то нас навестить. – Нам необходима конституция, такая же, как создали для себя американцы, где было бы написано, что все имеют равные права и нет никаких привилегированных классов. Наши законы и вся законодательная система устарели, так же как и наша экономика, а король ничего не может сделать. Он находится в плену у феодализма, так же как и вся страна.

Я вспомнила то время, когда он постоянно читал Руссо, раздражая этим моего отца. Сейчас он носился с ним еще больше, чем раньше, ему не терпелось претворить идеи Жан-Жака в жизнь.

– Каким это образом, – спросила я его, – конституция, если она будет напечатана, может облегчить нашу жизнь?

– А вот каким, – отвечал Пьер. – С упразднением феодальной системы привилегированные классы лишатся своей власти, и те деньги, которые они вынимают из наших карманов, пойдут на упрочение и оздоровление экономики страны. Таким образом, снизятся цены – вот тебе и ответ на твой вопрос.

Все это казалось мне крайне неопределенным, как и все другие рассуждения Пьера. Система может когда-нибудь измениться, но человеческая природа останется прежней, и всегда найдутся люди, которые будут наживаться за счет других.

А сейчас все были охвачены общей ненавистью к скупщикам хлеба, к тем торговцам и землевладельцам, у которых скопились громадные запасы зерна и которые взвинчивали цены на хлеб,

придерживая его до того момента, когда цена достигнет наивысшей точки. Иногда банды голодных крестьян или лишившихся места рабочих нападали на хлебные амбары или же захватывали возы с зерном, направлявшиеся на рынок, и мы относились к ним с полным сочувствием.

– Ед-динственное, что может подействовать, – говаривал Мишель, – это насилие. Вздернуть д-двух-трех т-торговцев зерном или землевладельцев – и цены на хлеб живо п-понижутся.

Наши дела шли из рук вон плохо, нам пришлось сократить производство и уволить рабочих, которые проработали у нас много лет. Для того чтобы не дать им умереть с голода, мы платили им пособие, всего двенадцать су в день, но что касается арендной платы, налогов и пошлин, то здесь не было никакого облегчения.

Мы получали письма от Робера из Парижа, где постоянно вспыхивали бунты и забастовки. Дела у него, по-видимому, шли так же скверно, как и у нас. Стеклозавод в Сен-Клу перешел в другие руки и закрылся вскоре после того, как Робер попал в тюрьму, и теперь его доходы ограничивались тем, что ему удавалось выручить в лавке в Пале-Рояле, – там продавались в основном предметы, изготовленные им самим, – кроме того, у него было несколько учеников в маленькой лаборатории, которую он основал на улице Траверсьер в квартале Сент-Антуан.

В Париже Робер находился вблизи от центра политической мысли, поскольку он был масоном и жил в Пале-Рояле, и постоянно цитировал герцога Орлеанского – бывшего герцога Шартрского, – гостем которого мне однажды случилось быть.

«Великодушие и благородство этого человека выше всяких похвал, – писал мой брат. – В самые лютые морозы, когда Сена неделями была скована льдом, он каждый день раздавал хлеб парижским беднякам – больше чем на тысячу ливров. Он оплачивал расходы рожениц – каждая женщина, рожавшая в нашей части Пале-Рояля, получала от него воспомоществование. Он нанял пустующие помещения в Сен-Жерменском предместье и устроил там кухни для бездомных, где стряпали и раздавали пищу его собственные слуги, одетые в ливреи. Герцог Орлеанский несомненно пользуется в Париже всеобщей любовью, больше, чем кто бы то ни было, что вызывает недовольство двора, где его терпеть не могут; говорят, что королева не

желает с ним разговаривать. Лишь немногим уступает ему в популярности Неккер,^[22] министр финансов, который, как говорят, отдал в казну два миллиона ливров своих собственных денег. Если страна продержится до Генеральных штатов, которые должны собраться в мае, нам, возможно, предстоят большие перемены, в особенности принимая во внимание то, что Неккеру удалось добиться удвоения представителей от Третьего сословия,^[23] так что теперь они будут превосходить по количеству голосов аристократию и духовенство. А пока посылаю несколько памфлетов, может быть, ты попросишь, чтобы Пьер распространил их в Ле-Мане, а Мишель и Франсуа – в Ферт-Бернаре и Мондубло. Их выпускает штаб-квартира герцога Орлеанского в Пале-Рояле, и в них содержатся все политические новости».

Итак, Робер тоже следовал велению моды и все больше втягивался в политические события. Место придворных сплетен заняли министерские интриги, и вопрос: «Что есть Третье сословие?» – вызывал более жгучий интерес, чем то, что занимало все умы прежде, а именно: «Кто сейчас любовник королевы?»

Так же как и многие другие люди моего поколения, я никогда не слыхала о Генеральных штатах, и снова Пьеру пришлось мне объяснять, что это депутаты, представляющие всю нацию, и что они разделяются на три отдельные группы: аристократия, духовенство и Третье сословие, причем третья группа представляет все остальные классы общества. Все эти три группы должны встретиться в Париже, для того чтобы обсудить будущее страны, впервые с тысяча шестьсот четырнадцатого года.

– Неужели ты не понимаешь, – говорил мне Пьер, – что Третье сословие будет представлять именно таких людей, как мы с тобой? Делегаты из городов и сельских округов по всей Франции съедутся в Париж и будут говорить от нашего имени. Такого не бывало вот уже сто семьдесят лет.

Он находился в состоянии чрезвычайного волнения, как, впрочем, и все остальные его друзья, в особенности адвокаты, врачи и прочие интеллигенты.

– А чем кончилась эта встреча в тысяча шестьсот четырнадцатом году? Привела она к чему-нибудь?

– Нет, – вынужден был признать Пьер. – Депутаты не могли ни о чем договориться. Однако времена изменились. На этот раз Третье сословие, благодаря Неккеру, получит больше голосов, чем все остальные.

Он, Мишель и Франсуа с живейшим интересом читали памфлеты, присланные Робером, и то же самое, за спиной своего мужа, делала Эдме – ведь мсье Помар был сборщиком налогов для монахов Сен-Винсентского монастыря, а эта профессия принадлежала к числу тех, что подвергались наиболее сокрушительным нападкам. В этих памфлетах также предлагалось, чтобы каждый приход составил перечень причиненных людям обид и прислал бы их депутатам, когда они будут избраны. Таким образом, будет представлено все население страны, и когда Генеральные штаты соберутся в Версале, им будут известны мысли и чаяния каждого.

Идея новой конституции ничего не говорила нашим рабочим в Шен-Бидо. Единственное, чего они хотели, это отмены ненавистного подушного налога и налога на соль да еще снижения цен на хлеб и чтобы у них постоянно была работа. Я старалась делать то же самое, что всегда делала матушка: навещала рабочих у них дома, выслушивала их жалобы, когда они рассказывали мне о своих невзгодах. Но прошли те времена, когда кувшин вина или же теплое одеяло из господского дома с благодарностью принимались как помощь и утешение во время болезни. У этих женщин не было хлеба, чтобы накормить детей; в каждом жилище меня встречали нищета, болезни и голод. Мне ничего другого не оставалось, как день за днем без устали повторять, что зима скоро кончится, производство наладится, цены снизятся и, когда депутаты соберутся на совещание с королем, будет сделано что-нибудь и для них.

Хуже всего приходилось старикам и детям. В нашей маленькой общине не было почти ни одного дома, куда не заглянула бы смерть. Легочные заболевания – всегдашний бич нашего стекольного ремесла – уносили теперь втрое больше стариков, чем прежде, в то время как от голода и прочих лишений гибли дети, большие и совсем маленькие. Мне кажется, что самым ярким воспоминанием, сохранившимся у меня об этой зиме, был тот момент, когда я вошла в дом Дюроше, одного из самых квалифицированных наших рабочих, а он встретил меня на пороге с мертвым ребенком на руках и сказал,

что похоронить ребенка невозможно, так как земля слишком затвердела от мороза, и он собирается отнести это крошечное тельце в лес и спрятать там под поленницей дров.

– И еще я должен вам сообщить одну вещь, мадам Софи, – сказал мне Дюроше, на лице которого было написано отчаяние. – Вы знаете, я всегда был честным человеком, но сегодня мы с товарищами – все они такие же рабочие из Шен-Бидо – решили захватить обоз с зерном, который должен проследовать из Отона в Шатоден, и если возчики задумают драться, мы им все кости переломаем.

Дюроше... человек, которому матушка доверила бы завод и все свое имущество в любое время дня и ночи.

– Пожалуйста, – сказала я Мишелью, – сделай что-нибудь, чтобы их остановить. Их сразу же узнают и донесут куда следует. Дюроше мало чем поможет своей семье, если его бросят в тюрьму.

– Н-никто на них не д-донесет, – отвечал Мишель. – Возчики не п-посмеют это сделать. наших ребят в Шен-Бидо уже все знают, с ними шутки плохи. Мне известно, что Дюроше собирается захватить обоз. Он это делает с моего благословения.

Я посмотрела на Франсуа, своего мужа, но он от меня отвернулся, и я поняла, что он выступает в своей привычной роли: за жожаком – куда угодно.

– Не могу сказать, чтобы я не сочувствовала Дюроше в том, что он собирается сделать, – сказала я. – Но ведь это же нарушение закона. Каким образом это может нам всем помочь?

– Эти законы для того и были придуманы, чтобы их нарушать, – возразил брат. – Ты знаешь, что сказал епископ на прошлой неделе? Это уже всем известно. Он заявил, что хлеба хватит на всех, если крестьяне побросают в реку своих детей. И вообще пусть едят траву и корни, ничего им не сделается.

– Совершенно верно, – подтвердил Франсуа, видя мой недоверчивый взгляд. – Это был епископ то ли Ренский, то ли Руанский, не помню, который из них. Эти церковники – самые безжалостные скупщики, они заграбастали больше всего зерна. Всем известно, что их подвалы просто забиты мешками.

«Всем известно...» – это было все равно что «говорят» былых времен, когда дело касалось придворных сплетен. Как жаль, что Мишель и Франсуа тоже стали разносчиками слухов.

Что же до хлебного обоза, то Дюроше и его товарищи сделали то, что собирались. И никто не донес на них властям.

Зима миновала. В середине апреля я вдруг получила письмо от Кэти, в котором она умоляла меня приехать в Париж. Она снова ждала ребенка, который должен был появиться на свет в конце месяца, и хотела, чтобы я была рядом с ней. Ее родители, по-видимому, всю зиму болели и еще не настолько оправались, чтобы взять на себя заботы о Жаке – крепком здоровом мальчугане, которому скоро должно было исполниться восемь лет. Что же до Робера, то он был занят в своей лавке в Пале-Рояле и в лаборатории на улице Траверсьер. Помимо этого, он теперь находился в тесной связи с герцогом Орлеанским и его окружением и постоянно пропадал на всяких политических собраниях. Я сама была беременна, уже на четвертом месяце, и не имела никакого желания ехать в Париж. Но в тоне письма Кэти было что-то такое, что меня насторожило, и я уговорила Франсуа меня отпустить.

Робер встретил меня в конторе дилижансов на улице Булей, и, не задерживаясь особенно на здоровье Кэти, тут же стал говорить о самом главном событии дня – о собрании Генеральных штатов, которое должно было состояться через несколько недель, – о том, что назревает общенациональный кризис и что весь Париж находится в состоянии политического брожения.

– Я в этом несколько не сомневаюсь, – согласилась я. – Но как поживает Кэти, как твой сын?

Однако Робер был слишком возбужден, чтобы говорить на такие низменные темы, как здоровье и приближающиеся роды жены или же день рождения его сына.

– Понимаешь, в чем дело, – говорил он, подзывая фиакр и грузя в него мои вещи. – Если бы событиями руководил герцог Орлеанский, кризису скоро наступил бы конец. – Он обратился за подтверждением к кучеру фиакра. – Вот видишь, – обрадовался он, – все так думают... Уверяю тебя, Софи, когда живешь в Пале-Рояле, ощущаешь пульс страны. Мы, видишь ли, поселились в том же доме, где находится наша лавка, на втором этаже. Поэтому я всегда сразу узнаю, что происходит.

«И тут же передаю дальше, разношу по городу, – подумала я про себя, – преувеличивая и раздувая до невероятных размеров».

– Мы в Пале-Рояле все патриоты, – продолжал он, – и получаем сведения из первых рук, в клубе Валуа, например, это здесь же, за углом. Не то чтобы я был там членом, но там состоят многие мои знакомые.

Брат принялся перечислять, называя одно за другим имена высокопоставленных приближенных герцога Орлеанского, посвященных в дела его светлости, как личные, так и общественные. Лакло, автор книги «Les Liaisons Dangereuses»,^[24] которую матушка не разрешала мне читать, был, по-видимому, правой рукой герцога и заправлял всеми его делами.

– Есть еще сотня-другая мелкой рыбешки, – доверительно сообщил мне Робер, – тесно связанных с герцогом общими интересами. Лакло достаточно сказать слово, и...

– И что? – спросила я. Брат улыбнулся.

– Я, как всегда, слишком много говорю, – сказал он, сдвигая набекрень свою шляпу. – Может, ты лучше расскажешь мне, что говорят в Ле-Мане.

Я предпочла промолчать. В наших краях и без того было достаточно волнений, и не к чему было возбуждать к ним интерес у Робера.

Я нашла Кэти усталой и беспокойной, но она так мне обрадовалась, что было жалко смотреть. Робер едва успел довести меня до дверей, как тут же снова исчез, легкомысленно сообщив, что его призывают «государственные дела».

– Хотела бы я, чтобы это было так, – прошептала Кэти, но больше ничего не успела сказать, потому что в комнату ворвался мой маленький племянник, живой, белокурый и голубоглазый мальчик, точная копия Робера, и мне пришлось ахать и восхищаться игрушками, которые он получил в подарок по случаю дня рождения – ему исполнилось восемь лет.

Вечером Кэти рассказала мне о своих опасениях.

– Робер все свое время проводит с этими агентами и агитаторами герцога Орлеанского, – говорила она. – Их единственная цель – распространять слухи и сеять смуту. Робер получает от них деньги, я знаю это точно.

– Но зачем же герцогу Орлеанскому, – возразила я, – сеять смуту и вызывать беспорядки? Ведь его так любит народ. А когда соберутся

Генеральные штаты, все уладится – так, по крайней мере, говорит Пьер.

Кэти вздохнула.

– Я ничего в этом деле не понимаю, – призналась она. – И готова поверить, если ты так говоришь, что сам герцог Орлеанский не собирается устраивать беспорядки. Виноваты те, кто его окружает. В последние несколько месяцев, сразу после того как в Пале-Рояле появился мсье де Лакло, атмосфера здесь изменилась. В садах и торговых галереях, куда раньше приходили, чтобы отдохнуть и развлечься, теперь люди собираются в кучки и шепчутся по углам. Я уверена, что большинство из них – шпионы.

Бедняжка Кэти. Чего она только не придумает! И все из-за своего положения – это беременность сделала ее такой подозрительной. Ну откуда на парижских улицах возьмутся шпионы? У нас же нет никакой войны. Я пыталась отвлечь ее внимание, заговорив о будущем ребенке, о том, как обрадуется Жак сестричке или братику, но ничего не помогало.

– Если бы только можно было уехать из Парижа! – говорила она. – И пожить у вас в Шен-Бидо. Я знаю, у вас там трудная жизнь и зима такая суровая, но вы, по крайней мере, не дрожите от страха, как мы, не боитесь, что каждую минуту может вспыхнуть кровавый бунт.

Уже в течение следующей недели я начала в какой-то степени понимать ее страхи. Париж действительно изменился с тех пор, как я была там в последний раз четыре года тому назад. Люди на улицах и в лавках смотрели угрюмо и вызывающе, некоторые старались сохранять замкнутое, безразличное выражение, у других же на лице был написан напряженный страх, как у Кэти. Но встречались и другие, возбужденные, взволнованные лица, на которых было написано ожидание, – совсем как у моего брата.

Кэти была права: везде и всюду собирались кучки шептунов. Их можно было встретить в торговых галереях, на углах улиц, даже в садах Пале-Рояля.

Однажды я даже видела герцога Орлеанского: вместе со своей любовницей, мадам де Бюффон, он ехал в карете, направляясь на скачки в Венсен. Он сильно растолстел со времен нашей встречи в театре, и, когда его карета выехала из ворот дворца и он помахал своей толстенькой ручкой собравшейся толпе почитателей, которая

разразилась приветственными криками: «Vive le duc d'Orleans. Vive le père du peuple!»^[25] – я испытала сильное разочарование. Я ожидала, что у нашего вождя – если он действительно станет нашим вождем – будет более живой и заинтересованный вид, что он с большим интересом отнесется к толпе своих приверженцев, а не откинется лениво на подушки кареты, смеясь какому-то замечанию своей любовницы.

Робер скажет только, что я провинциалка... И я решила не говорить ни одного слова, которое могло бы опорочить его идола.

Но даже если бы я и сделала в тот вечер такую попытку, Робер все равно не обратил бы на мои слова никакого внимания. Он вернулся в лавку из лаборатории на улице Траверсьер под сильным впечатлением от речи, которую некий мсье Ревейон, богатейший обойщик, произнес на собрании избирателей в Сен-Маргерит, собственном приходе Робера. Этот обойщик разглагольствовал на тему о непомерно высоких производственных расходах и об их связи с заработной платой – он оплакивал те дни, когда работник довольствовался заработком в пятнадцать су в день. Теперь же, говорил он, повышение заработной платы является препятствием к развитию производства.

– Совершенно правильно, – сказала я. – Такое же положение и у нас в Шен-Бидо, но если мы не увеличим заработную плату, наши рабочие будут голодать.

– Согласен, – отвечал Робер. – Но когда такие вещи произносятся публично, это может вызвать нежелательные последствия. Ревейону следует остерегаться, как бы не пострадали его окна.

Робера, по-видимому, весьма забавляла мысль, что его сотоварищ-промышленник испытывает те же самые затруднения, что приходилось испытывать ему самому всего несколько лет тому назад, и вечером он снова отправился на одно из своих таинственных собраний, то ли в какой-то клуб, то ли в свою масонскую ложу Гранд Ориент – мы не знали, куда именно. На следующее утро, когда я пошла на рынок, чтобы купить все необходимое для хозяйства, там только и говорили, что о каком-то богатом мануфактурщике в квартале Сент-Антуан, который собирается снизить заработную плату своим рабочим до десяти су в день, и одна толстенная рыбная торговка, сунув мне в руки купленную у нее рыбу, во всеуслышание

заявила: «Вот такие негодяи и грабят честного человека. Их надо просто вешать!»

Но одно дело жалеть о тех временах, когда не надо было платить рабочим так много, и совсем другое – урезать их зарплаты, и мне было интересно, которая из этих двух версий верна. Я рассказала Роберу о том, что слышала на рынке, и он согласно кивнул головой.

– В Париже ни о чем другом не говорят, – сказал он. – Этот слух обрастает все новыми, самыми невероятными подробностями. Кто-то мне говорил, что Анрио, мануфактурщик, который занимается изготовлением пороха, высказывает те же мысли, что и Ревейон. Не хотел бы я очутиться в их шкуре.

Кэти посмотрела на меня и вздохнула.

– Но Робер, – сказала она, – ты ведь, кажется, говорил нам, что мсье Ревейон только выразил сожаление о том, что было в старые времена, он ведь ничего не говорил о том, что собирается снизить зарплаты.

– Верно, он сказал именно так, – пожал плечами брат, – но ведь всякий человек может трактовать его слова по-своему.

По воскресеньям в лавке всегда бывало многолюдно, поскольку парижане любили погулять в садах Пале-Рояля и потолкаться в торговых галереях, но нам с Кэти показалось, что в воскресенье двадцать шестого апреля толпа была гуще, чем обычно; народ толпился перед дворцом, то подступая к нему, то, наоборот, откатываясь и устремляясь к Тюильри по улице Сент-Оноре. Великолепная выставка фарфора и хрусталя на полках и в витринах лавки Робера не привлекла ни одного покупателя, и в тот вечер он рано закрыл ставни и двери. В понедельник лавка не работала, в этот день Кэти и Робер обычно отправлялись, взяв с собой маленького Жака, на другой конец Парижа, чтобы повидаться с Фиатами, родителями Кэти, и погулять в Булонском лесу. Но сегодня Робер сказал нам за завтраком, чтобы мы сидели дома. Он велел держать лавку на запоре и ни в коем случае не высовывать носа на улицу.

Кэти побледнела и попросила его объяснить, в чем дело.

– Могут произойти беспорядки, – небрежно бросил он. – Лучше принять меры предосторожности. Я пойду в лабораторию и посмотрю, как там обстоят дела.

Мы умоляли его остаться с нами и не подвергаться риску – мало ли что может случиться в толпе, – но он не желал ничего слышать, уверяя, что все будет в порядке. Я хорошо видела, так же как и Кэти, что он очень возбужден и взволнован. За завтраком он едва мог проглотить чашку кофе и убежал, оставив запертую лавку на попечение своего подмастерья Рауля.

Приходящая прислуга, которая обычно помогала Кэти по хозяйству, не явилась, и это липший раз показало, что все идет не так, как обычно. Мы пошли наверх, в свои комнаты, и я пыталась развлечь Жака, который шумно жаловался на то, что в выходной день его держат взаперти.

Через некоторое время меня позвала Кэти, которая находилась в своей спальне.

– Я разбирала одежду Робера, – прошептала она. – Посмотри, что я нашла.

Она протянула мне большую горсть мелких монет достоинством в одно денье – двенадцать денье составляли одно су; на одной стороне монеты было изображение головы герцога Орлеанского и надпись: «Его светлость герцог Орлеанский, гражданин», а на обороте было написано: «Надежда Франции».

– Лакло и все остальные раздают эти монеты народу, – сказала Кэти. – Теперь мне понятно, почему сегодня у Робера оттопыривались карманы. Но кому это нужно? Чему это поможет?

Мы молча смотрели на монеты, и в этот момент из соседней комнаты нас окликнул Жак.

– На улице столько народа, и все бегут, – сообщил он. – Можно я открою окно?

Мы тоже слышали топот бегущей толпы и открыли окно, однако каменные выступы и арки галереи мешали нам видеть; мы только поняли, что звуки шли со стороны площади у Пале-Рояля и с улицы Сент-Оноре. Помимо грохота бегущих шагов был слышен ропот, который становился все громче и громче, разбухая, как стремительный речной поток; мне еще никогда не приходилось слышать ничего подобного – это был рев разъяренной толпы.

Прежде чем мы успели его остановить, Жак бросился вниз к Раулю, который отодвинул засовы, открыл двери лавки и выбежал на площадь Пале-Рояля, чтобы узнать, что происходит. Вскоре он

вернулся, задыхающийся и взволнованный, и сообщил нам, что все рабочие в квартале Сент-Антуан, как объяснил ему кто-то из толпы, бросили работу и вышли на улицу; они направляются к дому какого-то мануфактурщика, который грозился снизить заработную плату рабочих.

– Они сожгут все, что попадется им на глаза! – воскликнул подмастерье.

Тут Кэти лишилась чувств, и, когда мы несли ее в спальню, чтобы положить на кровать, я поняла, что случилось самое худшее; мне стало ясно, что роды начнутся именно сегодня, возможно, в ближайшие несколько часов. Я послала Рауля за лекарем, который должен был принимать роды, и, пока мы его ждали, рев толпы, спешащей в Сент-Антуан, все усиливался. Когда несколько часов спустя Рауль вернулся, он сообщил нам, что лекаря, вместе с другими врачами, потребовали в тот район, где собрались бунтовщики. Я совершенно растерялась, потому что у Кэти уже начались схватки, и снова послала мальчика на улицу, чтобы он привел хоть кого-нибудь, кто может помочь при родах. Бедняжка Жак был так же испуган, как и я, но все-таки я послала его вниз кипятить воду и рвать старые простыни, а сама сидела подле Кэти и держала ее за руку, стараясь успокоить.

Прошла целая вечность – так мне, по крайней мере, казалось, а на самом деле не больше сорока минут. Рауль снова поднялся наверх, и с ним, к моему великому ужасу, пришла та самая толстенная торговка рыбой. Она, должно быть, заметила выражение моего лица, потому что засмеялась грубоватым, но добрым смехом и отрекомендовалась: «Тетка Марго».

– Во всем квартале не найдешь сейчас ни одного лекаря, – сообщила она нам. – Народу, говорят, все прибывает. Бунтовщики заполнили уже все пространство от улицы Монтрей до самой королевской стекловарни на улице Рейи. Они несут с собой чучела, изображающие Ревейона и Анрио, тех самых мануфактурщиков. Так им, негодьям, и надо. Нужно бы не чучела жечь, а их самих поджарить. А у вас тут что случилось? Женщина рожает? Да я этих ребятишек не меньше дюжины приняла за свою жизнь.

Она откинула простыни, чтобы осмотреть Кэти, которая устремила на меня измученный и испуганный взгляд. Но что

оставалось делать? Мы были вынуждены принять помощь этой женщины, ибо я, несмотря на свое положение, была так же неопытна и несведуща в этих делах, как маленький Жак. Как не хватало мне сейчас матушки, как хотелось, чтобы она была с нами, она или хотя бы кто-нибудь из наших женщин из Шен-Бидо...

Я попросила Рауля сходить в лабораторию на улицу Траверсьер и сказать Роберу, чтобы он немедленно шел домой, если, конечно, ему удастся пробиться сквозь толпу, и он тут же убежал – не потому, конечно, что он так уж беспокоился о нас, просто ему было интересно, что делается на улицах. Только после того как он ушел, наша повитуха жизнерадостно сообщила:

– Все равно он туда не доберется, его тут же собьют с ног.

Окна в верхних комнатах я держала открытыми, и, несмотря на то что мы находились довольно далеко от мятежных кварталов, до нас доносился отдаленный ропот толпы, и время от времени слышался цокот копыт – значит, были вызваны войска, чтобы разогнать мятежников.

День близился к вечеру, бедняжка Кэти продолжала мучиться, а Робер все не появлялся. Уже темнело, когда наша спасительница-торговка позвала меня наверх, так как ей нужна была помощь. Я послала Жака на кухню, чтобы он сварил кофе; бедный мальчик дрожал от страха и жалости, слушая крики и стоны матери, – мы вместе с «теткой Марго» приняли младенца Кэти, он был мертвый, бедняжка, у него пуповина обмоталась вокруг шейки.

– Какая жалость, – пробормотала повитуха, – но даже если бы тут был лекарь, он все равно ничего не смог бы сделать. Мне приходилось такое видеть. Ребенок шел ножками, и пуповина его задушила.

Мы сделали для Кэти все необходимое. Мне кажется, она была слишком измучена, чтобы горевать о своем мертвом ребенке. А я всеми силами старалась развлечь и утешить Жака, который с детским любопытством все хотел взглянуть на своего мертвого братишку, которого мы положили в корзинку и чем-то прикрыли. А потом мы вдруг обнаружили, что уже совсем темно и что на улицах стало тихо – бунтовщиков больше не было слышно.

– Больше я ничем не могу помочь, – сказала повитуха. – Пойду-ка я домой да посмотрю, в каком виде вернулся мой старик, не прошибли

ли ему голову. Загляну к вам завтра. Пусть она спит. Природа сделает свое.

Я поблагодарила ее и попыталась сунуть ей в руку несколько монет, но она отказалась их взять.

– Не нужно мне денег, – сказала Марго. – Мы все равны, когда наступит трудная минута. Жаль, что младенчик-то помер. Ну да ничего, она молодая... Еще детки будут...

Я никак не думала, что буду жалеть об уходе этой женщины, но когда я закрыла за ней дверь вниз, меня охватила странная непонятная тоска.

В ту ночь Робер так и не вернулся, Жак вскоре уснул, Кэти тоже спала, а я сидела у открытого окна, ожидая услышать звук шагов.

На следующий день, во вторник, волнения возобновились с самого утра. Я, наверное, все-таки заснула на час-другой, потому что меня разбудили топот, крики, и вдруг кто-то стал колотить в дверь. Я думала, что это Рауль, но оказалось, что стучит незнакомый человек.

– Открывайте... открывайте двери! – кричал он. – Мы идем через мосты, поднимем тех, кто за рекой. Нам нужен каждый рабочий человек, все должны выйти на улицу. Открывайте... открывайте двери!

Я захлопнула окно и слышала, как он колотит в соседнюю дверь, потом в следующую и так далее, по всей улице Сент-Оноре. Вскоре за ним последовали другие, они орали и кричали, и с наступлением дня толпа заняла уже весь квартал, потом соседний, еще один... а выстрелы звучали все чаще, и по улицам скакали солдаты.

Наша повитуха не появилась. Она либо присоединилась к толпе, либо сидела, запершись, у себя дома, так же как и мы сами, потому что на улицах находились только одни бунтовщики. Жак, высунувшись из оконца своей комнатки, расположенной под самой крышей, сообщил нам, что видит людей, у которых забинтована голова, а других несут на руках, и у них сильно течет кровь. Трудно сказать, было ли это действительно так, или он все выдумал.

Мы уже два дня сидели без свежей пищи, и даже хлеб у нас подходил к концу, но я не осмеливалась выйти на рынок, боясь бунтовщиков. Кэти проснулась, ей захотелось есть, что я сочла добрым знаком. Я сварила ей супу, но едва она успела пролотить несколько ложек, как ее тут же вырвало, и она стала жаловаться на

боли, напоминающие родовые схватки. Боли все усиливались, и, по мере того как день близился к вечеру, она становилась все слабее и слабее. Я видела, что она теряет много крови, и понимала, что это очень плохо, однако не знала, что делать, и только рвала и рвала простыни, чтобы попытаться остановить кровотечение.

Жак теперь, когда его мать больше не стонала, как накануне, не отходил от окна. Он стоял, облокотившись на подоконник, и сообщал мне, что происходит на улице: крики стихают... вот они снова становятся громче – в зависимости от того, как развиваются события.

– Послушай, это солдаты! – кричал он. – Это кавалерия, я слышу, как звенят уздечки и цокают копыта. Как жаль, что мне их не видно!

При каждом выстреле из мушкета он с восторгом кричал:

– Пах... пах-пах... пах-пах...

Лицо Кэти стало смертельно бледным. Снова наступил вечер, было около восьми, а она лежала, абсолютно не двигаясь, начиная с трех часов дня. Жаку надоело «палить» вместе с солдатами, он проголодался и требовал, чтобы ему дали поужинать. Я сварила еще супу, но к нему не было хлеба, и мальчик по-прежнему жаловался, что ему хочется есть. А потом – ведь ему было всего восемь лет, и он сидел взаперти с воскресенья – мальчику вздумалось побегать вверх-вниз по лестнице: из лавки в комнаты, где мы жили, и обратно, и этот грохот казался мне оглушающим, его нельзя было сравнить даже со стрельбой и прочими звуками бунта, доносившимися из Сент-Антуанского предместья.

В воздухе носился запах гари – должно быть, где-то горели дома или это пахло порохом от солдатских выстрелов, – а Жак все носился по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. В комнате Кэти стало совсем темно, и я стояла на коленях перед кроватью, держа ее слабую руку в своей.

Снова послышались шаги – это возвращались домой те, кто ходил смотреть на бунтовщиков, – и наконец раздался стук в нашу дверь. Жак испустил воинственный клич:

– Это папа пришел! – и помчался вниз открывать дверь.

Я встала на колени и зажгла свечи, слушая, как Робер, смеясь, разговаривает с сыном внизу в лавке. Я подошла к лестнице и стояла там, на верхней площадке, глядя вниз на своего брата.

– Разве Рауль ничего тебе не сказал? Он не был у тебя вчера?

Робер взглянул на меня, улыбнулся и стал подниматься по лестнице в сопровождении Жака, который шел за ним следом.

– Сказал? – повторил он. – Конечно же он ничего мне не сказал. В последние тридцать шесть часов между нами и лабораторией было по меньшей мере три тысячи человек. Мне еще повезло, что я сумел добраться сегодня до дома. Ты знаешь, они разгромили фабрику Ревейона, вместе с домом и всем прочим, и то же самое проделали с Анрио. Когда парижская толпа поднимется, ее не так-то просто остановить. Я все это наблюдал из окон лаборатории, славное было зрелище! Толпа ревет: «Vive le Tier Etat! Vive Necker!»^[26] – хотя никому не известно, какое отношение имеют Третье сословие или наш министр к этим беспорядкам. Как бы то ни было, бедняги поплатились за это жизнью, когда солдаты стали в них стрелять. По крайней мере двадцать убитых и пятьдесят раненых, и это только то, что я видел на улице Траверсьер.

К этому времени он дошел до верха лестницы и стоял возле меня.

– А где же Кэти? Почему здесь темно?

Мы вместе вошли в комнату. Я поднесла свечу к кровати и сказала ему:

– Мы сидим здесь со вчерашнего вечера. Я совсем не знала, что мне делать.

Я осветила лицо Кэти. В нем не было ни кровинки. Робер склонился к ней и взял ее за руку, а потом вдруг в ужасе воскликнул:

– Боже мой, боже мой, боже мой! – повторил он три раза подряд и только тогда повернулся ко мне. – Она умерла, Софи, разве ты не видишь?

Снаружи все еще раздавались звуки шагов, это последние зеваки расходились по домам. Мимо проходила небольшая группка людей, они весело смеялись и пели:

Vive Louis Seize,
Vive ce roi valliant.
Monsieur Necker,
Notre bon duc d'Orleans!^[27]

Жак вбежал в комнату и взобрался на подоконник, крича вслед марширующим людям:

– Пах... пах-пах... пах-пах...

А потом звуки песни смолкли, и на улице Сент-Оноре воцарилась тишина.

Глава восьмая

Первым моим побуждением было забрать Жака и увезти его к нам в Шен-Бидо, подальше от Парижа со всеми его тревожностями, однако Робер, когда прошло первое потрясение, вызванное смертью Кэти, сказал, что не может расстаться с сыном, ему будет слишком тяжело, и что оба они проживут какое-то время у родителей Кэти, мсье и мадам Фиат, которые переехали на улицу Пти-Пильер возле Центрального рынка, совсем недалеко от лавки в Пале-Рояле. Фиаты, которые прежде жаловались на свою старость и немощь и отказались по этой причине взять к себе внука на время родов Кэти, теперь мучились угрызениями совести и требовали, чтобы внука отдали им, столь же решительно, как прежде от него отказывались. И все-таки у меня было беспокойно на душе, когда я прощалась с мальчиком. Да и брата мне было жалко – он, как мне кажется, еще не осознал, какой удар на него обрушился.

– Я буду много работать, – сказал он мне, провожая меня до дилижанса. – Это самое лучшее средство от грусти.

Однако я не могла отделаться от мысли, что Робер имеет в виду совсем не работу в лаборатории над проблемами, связанными с фарфором и хрусталем, а дела герцога Орлеанского.

Пока мы ехали из столицы на юго-запад, разговоры в дилижансе вертелись исключительно вокруг ревейонского бунта и того, как странно он возник. Говорили о том, что среди участников не было ни одного работника с мануфактуры самого Ревейона, это были рабочие с соседних фабрик-конкурентов, а вместе с ними и другие: слесари, столяры и докеры. Были, однако, среди арестованных и двое рабочих с королевской стекловарни на улице Рейи, которая находится в двух шагах от лаборатории моего брата на улице Траверсьер.

Я молчала, однако жадно прислушивалась к этим разговорам, в особенности после того как один из моих спутников, хорошо одетый важный господин с властными манерами, упомянул одну любопытную деталь, известную ему со слов кузена, занимающего какой-то пост в Шатле,^[28] а именно: у многих арестованных в

карманах были обнаружены монеты с изображением герцога Орлеанского.

– Теперь не знаешь, что и думать, – отозвался сосед напротив. – Мне говорил мой шурин, что среди бунтовщиков видели переодетых священников, которые подбивали зевак присоединиться к бунтовщикам.

Все это нужно будет рассказать Мишелю, мрачно подумала я. Когда я сошла с дилижанса в Ферт-Бернаре, мне пришлось провести пренеприятные полчаса в «Пти Шапо Руж»,^[29] поскольку дилижанс пришел раньше времени. Этот маленький постоялый двор служил прибежищем всяких бродяг, шатающихся по дорогам: разносчиков, жестянщиков, бродячих артистов и торговцев; последние зарабатывали свое скудное пропитание, пытаясь продать фермерам всевозможную дребедень – разные мелочи, дешевые украшения и все такое прочее.

Я ожидала в маленькой комнатке, предназначенной для пассажиров дилижанса, но до моих ушей доносились разговоры, которые велись в соседней комнате, куда приходили просто выпить и поболтать. Из этих разговоров я поняла, что Париж не единственное место, где возникали бунты. За это время беспорядки вспыхнули в Ножане и в Белеме. Я обратила внимание на одного человека, который, по всей видимости, был слепым; однако потом он приподнял повязку, закрывавшую глаз, и я поняла, что он видит ничуть не хуже, чем любой другой человек. Такие нищие нарочно притворялись слепыми, чтобы вызвать сочувствие и чтобы им больше подавали. Он все стучал своим посохом по полу и кричал:

– Нужно захватывать все обозы с зерном, а возчиков вешать. Тогда мы не будем голодать.

Я с грустью думала о бедняге Дюроше и других наших рабочих, которых сбивали с толку подобные молодчики.

Наконец Франсуа и Мишель приехали за мной, и, как это часто бывает, когда возвращаешься домой, им, оставшимся дома, было гораздо интереснее рассказывать свои новости, чем слушать мои. Смерть Кэти, бунты в Париже – все это они выслушали, торопливо выразив соболезнование, и тут же стали рассказывать мне о том, как по всей округе фермеры отказывают в работе батракам, что прежде нанимались на сезонные работы, и эти последние, сбившись в шайки,

бродят по дорогам, терроризируя местных жителей. Чтобы отомстить фермерам, они калечат скот и портят посевы. Шайки местных мародеров и разбойников пополняются за счет пришельцев из соседних западных районов – из Бретани и прибрежных округов, которые находятся в столь же бедственном положении.

– Это сущие бандиты, – говорил Франсуа, – им ничего не стоит ворваться среди ночи в дом и перевернуть все вверх дном в поисках денег. Скоро нам придется завести милицию в каждом приходе.

– Если т-только мы сами не п-присоединимся к разбойникам, – сказал Мишель. – Стоит мне сказать слово, и большинство наших ребят именно так и сделают.

Итак, я вернулась к тому же самому: к нашим невзгодам и лишениям, к скверному положению дел на заводе. Может, это и к лучшему, что я не привезла сюда маленького Жака. И все-таки, когда я выпянула в ту ночь из окна и вдохнула чистый, свежий воздух, наполненный благоуханием цветущих деревьев, которое доносилось из сада под моим окном, я с благодарностью подумала о том, что я дома, под своей собственной крышей, в то время как Париж с его страшным рокотом разъяренной толпы, воспоминание о котором долго еще будет наполнять меня ужасом, остался далеко позади.

В письмах от Робера, которые он присылал нам из Парижа, очень мало говорилось о нем самом или о его чувствах; мало что узнавали мы из этих писем и о Жаке. Его по-прежнему больше всего занимал политический пульс столицы. Ему каким-то образом удалось быть в первых рядах толпы, которая собралась перед Версалем пятого мая, когда там состоялось первое заседание Генеральных штатов, и таким образом он узнал из первых рук о том, что там происходило. Его беспокоило то, что большинство депутатов от Третьего сословия были одеты в строгое черное платье и, судя по его словам, представляли жалкое зрелище рядом с высокопоставленными прелатами и аристократами, разодетыми со всем возможным блеском и роскошью.

«Их к тому же отделили загородкой, словно скотину, – писал Робер, – в то время как аристократы и церковники толпились вокруг короля. Это было намеренное оскорбление. Герцога Орлеанского встретили бурей аплодисментов, король и Неккер тоже получили свою порцию оваций, а вот королеве не оказали почти никакого внимания; говорят, она была бледна и ни разу не улыбнулась. Что же

касается речей, то они всех разочаровали. Хорошее впечатление произвел архиепископ Экский, который говорил от имени духовенства; он даже показал собравшимся кусок отвратительного черного хлеба в доказательство того, какую скверную пищу вынуждены есть бедняки. Однако его совершенно затмил один из депутатов Третьего сословия, некий молодой адвокат по имени Робеспьер, – интересно, слышал ли о нем Пьер? – который сказал, что было бы гораздо лучше, если бы епископ предложил своим коллегам священникам объединиться с патриотами, которые являются искренними друзьями народа, и что если они хотят помочь беднякам, то могут подать пример, отказавшись, хотя бы в какой-то степени, от своего роскошного образа жизни и вернувшись к той простоте, которую проповедовал основатель их веры.

Могу себе представить, как аплодировал бы этой речи Пьер! Можете мне поверить, мы еще услышим об этом человеке».

Наша печь тем временем снова заработала, однако она топилась не более трех раз в неделю, и некоторые из наших рабочих, из тех, что помоложе, ушли, чтобы поискать работу где-нибудь в другом месте, пока не наступят лучшие времена. Я с болью смотрела, как они от нас уходят, потому что было очень маловероятно, что им удастся что-нибудь найти – разве что какую-нибудь случайную работу на фермах вроде уборки сена, – и они, таким образом, только пополнят ряды бродяг, скитающихся по дорогам.

Зима со своими бедами и лишениями подходила к концу, и мы в нашей маленькой общине пострадали, слава богу, не Особенно сильно, но каждый день до нас доходили сведения о новых волнениях и беспорядках в разных концах страны, и мне казалось, что собрание Генеральных штатов в Версале мало что изменило. В конце июня у нас побывал Пьер, как обычно полный энтузиазма. Он привез с собой свою добродушную жену и двоих Сыновей, которых он воспитывал в соответствии с учением Жан-Жака Руссо. Они не знали грамоты, ели с помощью пальцев и вели себя словно дикие вольные птицы, но в общем-то были славные ребяташки.

Помню, мы как-то решили воспользоваться хорошей погодой и убрать сено в сарай возле господского дома.

– Я согласен, что сейчас мы зашли в тупик, – сказал Пьер, свистнув мальчикам, чтобы они перестали кувыркаться в сене и

съезжать вниз с только что сложенных аккуратных стогов. – Но Третье сословие организовалось, по крайней мере, в Национальное Собрание – даже угрозы не сумели его разогнать, – и королю придется согласиться на новую Конституцию. Ни один из депутатов не вернется домой, пока этого не добьются. Ты слышала, какую клятву они дали двадцать третьего числа? «Ни под каким видом не расходиться, пока не будет утверждена новая Конституция». Чего бы я только не дал, чтобы находиться там! Это же голос подлинной Франции.

Он продолжал свистом призывать мальчиков к порядку, а они по-прежнему не обращали на него внимания.

– У короля плохие советчики, вот в чем беда, – сказал Франсуа. – Если бы он был один, у Собрания не было бы никаких затруднений. Все портит партия двора, и в особенности королева.

– С-сука! – взорвался Мишель.

Сколько еще семей по всей стране, думала я, в которых сегодня, в этот самый день, обсуждаются те же самые вопросы, повторяются те же сплетни?

– Называй ее как хочешь, – сказала я Мишелю, – только не забывай, что она потеряла ребенка всего три недели тому назад.

Это было действительно так. Я, как и все остальные женщины на нашем заводе, была потрясена, когда узнала о смерти дофина. Бедняжка умер второго июня, он был всего на несколько месяцев моложе моего племянника Жака.

– Если ты думаешь, – продолжала я, – что мать в такое время способна думать о политике...

– П-почему бы ей тогда не перестать вмешиваться? – сказал Мишель. – П-пусть бы оставила страну в покое, к-как-нибудь обойдутся и без нее.

Я не знала, что на это ответить, не знал этого и Пьер, хотя он и был согласен с Мишелем. Мне казалось, что с нашей стороны было бы слишком самонадеянным полагать, что мы разбираемся в делах, которые происходят в высших сферах. Взять хотя бы Пьера: он безапелляционно рассуждает о том, что должен король сказать Собранию и что Собрание должно сказать королю, но в то же время не может заставить своих собственных непослушных сыновей перестать

возиться в сене и портить сложенные стога. Матушка уж давно бы их прогнала, отшлепав как следует обоих.

В первую неделю июля пришло еще одно письмо от Робера. Пале-Рояль снова находился в большом волнении. Сторонники герцога Орлеанского (он, кстати сказать, занял свое место в Собрании как обычный гражданин, представитель Третьего сословия) науськивали толпу, призывая освободить одиннадцать гвардейцев из тюрьмы Абайе, – этих гвардейцев посадили за то, что они отказались стрелять в демонстрантов двадцать третьего июня, и вообще по всему городу, в кафе и ресторанах гвардейцы братались с буйной неуправляемой толпой, уверяя людей, что, если начнутся беспорядки, они ни за что не будут стрелять в своих сограждан французов.

«Говорят, – продолжал Робер, – что для поддержки партии Двора уже вызваны иностранные войска, для того чтобы в случае нужды прийти на помощь, и что многие мосты уже охраняются. По самым последним слухам, брат короля граф д'Артуа вместе с королевой отдали тайный приказ вырыть под Бастилией туннель и поместить там сотни солдат и боеприпасы, с тем чтобы по первому слову, если Собрание будет оказывать сопротивление, взорвать приготовленную там мину, достаточно мощную, чтобы уничтожить все Собрание и еще пол-Парижа в придачу».

Если это было правдой, хотя мне трудно было в это поверить, следовало срочно принимать меры: Робер вместе с Жаком должны немедленно покинуть Париж и перебраться к нам, взяв с собой Фиатов, если те захотят тронуться с места.

– Ч-что я т-тебе говорил? – мрачно сказал Мишель, когда я прочла вслух письмо им с Франсуа. – Это проклятая п-партия Двора готова пойти на что угодно, лишь бы разогнать Национальное Собрание. Почему парижане сидят по домам? Они должны выйти на улицу и сражаться. Если бы подобное случилось в Ле-Мане, я бы давно был на улицах вместе со всеми своими ребятами из Шен-Бидо.

Я сразу же написала Роберу, умоляя его уехать из Парижа, но у меня было мало надежды на то, что он на это согласится. Если он все еще работает на Лакло и других приближенных герцога Орлеанского, они, наверное, считают, что теперь наконец пришел их звездный час.

Страшные слухи о заговоре, о том, что королева собирается взорвать Национальное Собрание, а вместе с ней чуть ли не весь

Париж, донеслись и до Ле-Мана; Пьер только об этом и говорил, когда на следующей неделе туда приехали Мишель и Франсуа. По-видимому, кто-то из депутатов подтвердил этот слух в письме своему выборщику (выборщики – это наиболее влиятельные и уважаемые люди в каждой округе, которые выбирали депутатов от Третьего сословия).

– Париж окружен войсками, – сообщил Пьер брату, и впервые в жизни его самообладание ему изменило. – Вчера возвратилась из Парижа жена нашего депутата, так вот она узнала из самых авторитетных источников, что стоит принцу Конде сказать слово, и сорок тысяч солдат займут столицу, и что у них есть приказ стрелять во всякого, кто поддерживает Собрание. Если это случится, будет настоящая бойня.

Опровержение этих слухов поступило со стороны Эдме; ее муж, мсье Помар, в качестве сборщика налогов для Сен-Винсентского аббатства, присутствовал на обеде, который давали офицеры Шартрского драгунского полка в честь возвращения своего командира виконта де Валенс. Судя по тому, что рассказывал виконт, моральный дух столицы находится на самом высоком уровне, а герцог Орлеанский и Неккер по-прежнему являются самыми популярными людьми.

– Конечно, – говорила Эдме Мишелю, – виконт де Валенс принадлежит к сторонникам герцога Орлеанского. Он женат на дочери его бывшей любовницы, мадам де Жанлис, а сам он – любовник мачехи герцога. Можно ли себе представить более тесную семейную связь?

Эдме, так же как и Робер, обладала способностью собирать разные слухи, и, когда она стала пересказывать их Мишелю, я порадовалась, что мы живем в деревне, а не в Ле-Мане.

– Я н-не желаю слушать сплетни, – заявил Мишель. – Самое главное, я не верю ни одному аристократу, независимо от того, поддерживают они герцога Орлеанского или нет. А что до этого осла Помара, пусть бы он лучше вообще помалкивал вместе со своими м-монахами.

Мой муж и брат вернулись домой в Шен-Бидо полные этих противоречивых слухов, к тому же Пьер им на прощание сказал, что если в Париже начнется заварушка, то патриоты и выборщики в Ле-

Мане образуют комитет, возьмут в свои руки муниципальное управление и издадут распоряжение о том, что каждый человек, способный носить оружие, должен явиться в ратушу, где будет формироваться народная милиция.

– А со стороны шартрских драгун, – многозначительно добавил он, – у нас неприятностей не будет.

Я подумала, что сведения Эдме в конце концов подтверждаются.

В сущности говоря, нас в Шен-Бидо гораздо больше занимала приближающаяся уборка урожая, чем подготовка к возможным беспорядкам в Ле-Мане. По всей округе шайки бродяг нападали ночами на поля и косили пшеницу и ячмень. Мы не знали, что они собираются делать с зерном, есть ли у них, куда его прятать и где хранить про запас, но мы все страшно боялись за свои посевы: ведь если что-нибудь случится с нынешним урожаем, зимой нам всем придется голодать.

Мишель и Франсуа каждую ночь выставляли часовых для охраны полей, но все равно мы не могли спать спокойно, потому что крутом говорили, что эти бродяги вооружены. Кроме всего прочего, они совершали набеги на наши дровяные запасы в лесу; скорее всего, они их продавали, а окрестные жители охотно покупали дрова в предвидении холодной зимы. Это представляло серьезную угрозу нашему существованию – ведь если мы не сможем обеспечить топливом нашу печь, вся работа станет. Подобное уже случилось в лесах Боннетабля. Жена Пьера была оттуда родом, так что мы узнали об этом из первых рук.

– Н-ничего не поделаешь, – говорил Мишель. – Придется организовать патрули и на день, и на ночь, чтобы охранять всю нашу территорию отсюда до Монмирайля.

Вместе с Франсуа они по очереди патрулировали ночью, и в первые десять дней июля я либо лежала одна, беспокоясь за мужа, либо, когда он был дома, непрерывно думала о Мишеле – как он стоит где-нибудь в лесу, караулит и ждет бандитов, которые не приходят.

Не помню точно, когда это было, но то ли в понедельник тринадцатого, то ли во вторник четырнадцатого, словом, в один из этих дней Франсуа принес из Мондубло новость, что партия Двора уговорила короля сместить Неккера с поста министра финансов и он тут же отправился в ссылку. Париж оказался на осадном положении;

таможенные барьеры, расположенные вокруг города, опрокидывались или поджигались, таможенные служащие спасались бегством, народ повсюду вышел из повиновения, люди нападали на артиллерийские склады и грабили их, чтобы запастись оружием.

– Хуже всего то, – говорил Франсуа, – что весь сброд, который только был в Париже, хлынул в провинцию. Узники, бежавшие из тюрем, нищие, воры, убийцы, а также безработные – все они устремились на юг, предоставив честным горожанам в одиночку сражаться с партией Двора и аристократами.

Франсуа приехал из Мондубло в одной из наших заводских повозок. Он так гнал лошадей, что от них шел пар, да и сам он был весь в поту. В ту же минуту его окружила толпа рабочих, среди которых был и Мишель.

– В чем дело? Что случилось? Откуда ты это узнал?

Он снова и снова повторял свой рассказ, и сразу же Мишель начал отдавать распоряжения своим людям, чтобы они разбивались на группы, – вся работа на заводе прекращается до особого распоряжения, – и эти группы, или отряды, должны направиться в Плесси-Дорен, Монмирайль, Сент-Ави, Ле-Голь и на запад, в Вибрейе, чтобы сообщить тамошним жителям о том, что происходит в Париже, и приготовиться к нашествию бандитов. Другая группа останется в Шен-Бидо, чтобы защищать завод. А кто-то из них – либо он сам, либо Франсуа – направится в Ферт-Бернар, чтобы на почтовой станции, где дилижанс меняет лошадей, узнать последние новости из Парижа.

А на меня, естественно, легла обязанность известить обо всем семье рабочих, то есть зайти в каждый дом и предупредить всех, чтобы никто не выходил за пределы нашей территории и чтобы дети не отходили далеко от дома. По мере того как я снова и снова говорила женщинам о необходимости соблюдать осторожность и видела, как они пугаются, мне самой становилось не по себе; в воздухе витали неуверенность и страх, никто не знал, что нас ожидает, и мысль о бандитах, которые проникли так далеко на юг и которые жгли и грабили все на своем пути, наполняла всех ужасом.

В ту ночь мы ничего нового не узнали, кроме того, что рассказал Франсуа, приехав из Мондубло. В течение двух последующих дней мы не получали из Парижа никаких вестей, было известно одно: на

улицах идут бои и множество людей были убиты. Некоторые говорили, что была взорвана Бастилия, другие уверяли, что премьер-министр Англии Питт прислал во Францию сотни солдат, для того чтобы поддержать аристократов и отогнать бандитов подальше от Парижа, дабы они вновь не соединились с горожанами.

В субботу восемнадцатого июля была очередь Франсуа ехать в Ферт-Бернар, чтобы узнать новости от путешественников, которым случится ехать в дилижансе, следующем из Парижа в Ле-Ман, и которые выходят в Беллеме, чтобы пересесть в другой дилижанс, направляющийся в Ла-Ферт. Мысль о том, что мне придется остаться одной в господском доме под охраной лишь небольшого отряда рабочих, в то время как Мишель со своим отрядом будет в лесу, а Франсуа – в отъезде, показалась мне невыносимой.

– Я поеду с тобой, – заявила я мужу. – Знаю, что ездить по дорогам опасно, но это все-таки лучше, чем час за часом сидеть дома в полной тишине – завод не работает, печь не гудит, а в доме ни одной живой души.

Франсуа запряг маленькую крытую повозку – шарабан, и я взгромоздилась на сиденье рядом с ним, совсем как торговка, которая направляется на рынок. Если нас остановят бандиты, они ничего в ней не найдут, кроме нас самих, и худшее, что они могут с нами сделать, это перевернуть повозку и заставить нас возвратиться домой пешком.

Когда мы приехали в Ферт-Бернар, там все бурлило. Никто не работал, рабочие высыпали на улицу. Колокола на церкви Нотр-Дам де Мариас били в набат. Я первый раз в жизни слышала, чтобы колокола, вместо того чтобы призывать к молитве, били тревогу, и их непрерывный звон волновал и внушал страх гораздо больше, чем барабанный бой или тревожный зов трубы.

Мы подъехали к «Пти Шало Руж», чтобы оставить там лошадь и шарабан. Хотя бандитов в округе еще не было, улицы были полны народа, и Франсуа согласился со мной, когда я заметила, что кроме местных жителей там много чужих.

Внезапно в толпе произошло какое-то движение, она раздалась, и мы увидели, что подходит дилижанс из Беллема. Мы подбежали к нему вместе со всеми, охваченные той же страстной жадной новостей, что и все остальные, и наконец, когда кучер придержал

лошадей и карета, затормозив, остановилась, оттуда вышли первые пассажиры, которых немедленно окружила возбужденная толпа.

Мне бросилась в глаза фигура стройного мужчины, который на минуту задержался при выходе из кареты, чтобы помочь выйти ребенку.

– Это Робер! – закричала я, хватая за руку Франсуа. – Это Робер и Жак!

Мы стали пробиваться сквозь толпу, и наконец нам удалось подойти к пассажирам, стоявшим возле дилижанса. Это действительно был мой брат, он стоял и спокойно улыбался, отвечая одновременно на десятки вопросов, в то время как Жак сразу же бросился в мои объятия. Робер кивком поздоровался с нами.

– Я скоро к вам подойду! – крикнул он. – Но сначала мне нужно кое-что сделать. У меня письмо от мэра города Дрё к мэру Ферт-Бернара, я должен вручить его лично.

Толпа отхлынула, глядя на нас с Франсуа с уважением, обусловленным, вероятно, нашим знакомством с этим важным путешественником, и мы вместе со всеми двинулись вслед за Робером, который направился к ратуше в окружении наиболее почтенных горожан. Жак, крепко вцепившись в мою руку, не отставал от меня ни на шаг.

От мальчика мы не могли добиться никакого толка, он только сказал, что в Париже сражаются уже два дня и что на улицах есть убитые и раненые, поэтому нам пришлось узнавать новости от других пассажиров, которые рассказывали окружившей их толпе о событиях в Париже.

– Народ штурмом взял Бастилию. Начальник тюрьмы убит. Брат короля, граф д'Артуа, бежал, так же как и кузен короля, принц Конде и Полиньяки, друзья королевы. Столица находится в руках Национального Собрании, за ней стоит гражданская милиция, которой командует генерал Лафайет, герой американских войн.

Франсуа смотрел на меня в полной растерянности.

– Мы их победили, – проговорил он. – Этого не может быть, но мы победили!

Окружавшая нас толпа разразилась приветственными криками, все смеялись, размахивали руками, и вдруг откуда ни возьмись

появился кучер и стал раздавать розетки, сделанные из красной и голубой лент, которые ему передали из велемского дилижанса.

– Подходите! – кричал он. – Берите! Это цвета герцога Орлеанского, который с помощью народа разгромил в Париже аристократов.

И все старались пробиться вперед, чтобы схватить розетку. Мы тоже были охвачены всеобщим энтузиазмом. Франсуа, поскольку он был высок ростом, сумел дотянуться через головы стоявших впереди и схватить розетку, которую он со смехом тут же передал мне. Я не знала, смеяться мне или плакать, когда кто-то закричал: «Да здравствует Третье сословие!.. Да здравствует Национальное Собрание!.. Да здравствует герцог Орлеанский!.. Да здравствует король!»

Потом мы увидели Робера, который выходил из ратуши, – его по-прежнему окружали выборщики и прочие важные горожане, но никто из них не отозвался на крики, раздававшиеся в толпе. Эти господа озабоченно переговаривались между собой, их тревога передавалась толпе, из уст в уста полетели слова: «Опасность еще не миновала... борьба продолжается...»

Потом мэр Ла-Ферта вышел вперед и поднял руку, призывая к молчанию. Сквозь гул толпы мы с трудом могли разобрать, что он говорит.

– В Париже Национальное Собрание взяло власть в свои руки. Но из столицы вырвалась целая армия бандитов, их не менее шести тысяч, и все они вооружены. Каждый взрослый человек, мы все, как один, должны вступить в ряды гражданской милиции. Женщины и дети, старики и больные должны сидеть по домам и не выходить на улицу.

Тут радость уступила место панике, и люди засуетились, бросились в разные стороны: одни – записываться в милицию, другие – домой, третьи просто старались выбраться из толпы, сами не зная, куда кинуться, а колокола на церкви Нотр-Дам де Мариас продолжали гудеть, так что слова мэра тонули в море звуков. Робер пробился к нам, и мы все вместе добрались до «Пти Шало Руж», где стоял наш шарабан. Там царила полная сумятица, поскольку другие тоже стремились добраться до своих экипажей, лошади беспокоились и били копытами, а Робер все призывал окружающих: «Предупредите

соседние приходы и селения. Пусть бьют в набат. Да здравствует нация!.. Да здравствует герцог Орлеанский!»

Его слова, казалось, только увеличивали всеобщую неразбериху, вместо того чтобы вносить спокойствие, и я слышала, как люди спрашивали:

– Что случилось? Что, королем теперь будет герцог Орлеанский?

Наконец все мы благополучно погрузились в шарабан, Франсуа стегнул лошадь, и вскоре мы выехали из города и оказались в окрестном лесу, на дороге, ведущей к Монмирайлю.

Тем временем наступили сумерки, и дорога домой казалась темной и полной опасностей. Бедненький Жак, который все еще крепко держал меня за руку, то и дело повторял:

– А вдруг придут бандиты? Что мы тогда будем делать? Они нас не убьют?

Робер велел сыну замолчать – никогда раньше я не слышала, чтобы он так резко разговаривал с мальчиком, – и стал нам рассказывать, как штурмовали Бастилию четыре дня тому назад. В штурме участвовало около девятисот человек, они в конце концов захватили крепость и заставили ее коменданта сдаться.

– После этого ему отсекли голову кухонным ножом, – шепотом добавил брат. – Да, совершенно верно, среди аристократии существовал заговор, они собирались разогнать Национальное Собрание, однако им это не удалось, и тогда граф д'Артуа и принц Конде бежали за границу... прихватив с собой, как я слышал, все золото, которое было в королевстве, – говорил Робер.

– А бандиты? – спросила я, потому что боялась их не меньше, чем маленький Жак. – Что в действительности про них известно?

– Никто этого не знает, – отвечал брат с каким-то непонятным удовлетворением. – Говорят, около шести тысяч находятся в Дрё, они вышли из другой части Парижа и соединились там с наемниками Питта. Вот почему я оставлял сообщение о положении дел в каждом городе, мимо которого мы проезжали, от Дрё до Беллема, и кучер дилижанса получил соответствующие инструкции сообщать эти сведения на всем остальном пути до Ле-Мана.

Я подумала о Пьере, о его жене и детях, которые, возможно, находятся в Боннетабле, на пути следования дилижанса. Пьер, конечно, тут же отправится в Ле-Ман, чтобы предложить свои услуги

муниципалитету или, вернее, комитету, который дал клятву занять его место. Впрочем, разве не в Боннетабле мы впервые услышали о бандитах?

– Робер, – обратилась я к брату, тронув его за плечо. – Как ты представляешь себе будущее? Чем все это кончится?

Он засмеялся.

– Зачем говорить о конце? – сказал он. – Все только еще начинается. Это, видишь ли, совсем не то, что ревейонский бунт. То, что сейчас происходит в Париже, прокатится по всей стране. Это революция.

Революция. Я подумала о матушке. Ведь она живет совсем одна на своей крошечной ферме в Сен-Кристофе, если не считать служанок и скотника с семьей, которые живут неподалеку. Кто ее защитит? Кто о ней позаботится?

Робер отмахнулся от моих страхов.

– Не беспокойся, – сказал он. – Там, в Турени, они все патриоты. Матушка первая приколет на платье нашу красно-голубую розетку.

– А как же бандиты? – настаивала я.

– Ах да, бандиты... – отозвался брат. – Я о них забыл.

Жак к этому времени заснул, положив голову мне на плечо, и всю оставшуюся дорогу я сидела прямо и не шевелилась, чтобы его не разбудить. Мы уже миновали Монмирайль и ехали через лес почти у самого дома, как вдруг из чащи выскочили какие-то люди и окружили наш шарабан.

Слава Создателю, это был Мишель со своими патрульными. Пришлось ненадолго задержаться, чтобы Робер мог поздороваться с братом и сообщить ему новости. Мы уже готовы были снова тронуться в путь, чтобы ехать к себе домой на завод, но Мишель вдруг сказал:

– Бандиты уже показались в нашей округе. Одна из наших женщин, собирая хворост на вырубке, услышала шорох и увидела с десяток людей, которые прятались в подлеске. Она заметила, что лица у них были вымазаны сажей. Женщина бегом прибежала домой и подняла тревогу. А я послал людей в поселок, чтобы предупредить остальных.

Не успел он договорить, как мы услышали перезвон колоколов со стороны Плесси-Дорена.

Глава девятая

Мне кажется, что в эту ночь никто из нас не спал, кроме Жака и Робера. Жак сразу же повалился на кровать, которую я для него приготовила, как и полагается измученному ребенку, который провел более десяти часов в дороге. Что же касается его отца, то тот, после того как показал мне пистолет, спрятанный у него под одеждой, заметил, что после штурма Бастилии, которому он был свидетелем, какой-нибудь десяток разбойников с черными рожами никак не может помешать ему выспаться. Сама же я с трудом дотащилась до своей комнаты наверху, разделась и легла в постель, однако сон, о котором я так мечтала, никак не шел. Снизу доносились шум шагов и разговоры, это Франсуа собирал очередной патруль из рабочих, которые должны были сменить Мишеля с его отрядом, находящихся в лесу. Этот шум и движение на заводском дворе растревожили скотину на ферме. Мычали коровы, лошади беспокойно били копытами в своих стойлах – дело в том, что с начала беспорядков мы боялись выпускать скотину на пастбища по ночам.

Мишель, должно быть, предупредил народ в Монмирайле и соседней деревушке Миллерей, потому что с тамошних церковных колоколен неслись звуки набата, так же как и со стороны Плес-си. Звон доносился издалека, из-за лесов; басовые ноты монмирайльского колокола – церковь стояла на холме – звучали гораздо тревожнее, чем жидкий перезвон нашей собственной церквушки.

Я никак не могла отделаться от мысли о разбойниках. Судя по словам Робера, тысячи арестантов, преступников, обитателей парижских трущоб, голодных, доведенных до отчаяния и вооруженных, хлынули в наши края; они прятались в лесах, охраняемых отрядами Мишеля, и ждали удобного момента, чтобы напасть на нас, украсть наш урожай и порезать скотину.

Вскоре наверх пришел Франсуа и лег рядом со мной, однако раздеваться он не стал и положил на стол у кровати свой пистолет.

Возможно, я немного подремала, не знаю, долго ли. Знаю только, что проснулась с тяжелой головой, нисколько не отдохнув. Да и состояние мое не способствовало хорошему самочувствию, мне

становилось все труднее справляться с усталостью, ведь уже через два месяца должен был появиться на свет мой первый ребенок.

Сойдя вниз, я увидела, что Жак уже проснулся, – он был на кухне и требовал у мадам Верделе, чтобы она накормила его завтраком, а оба моих брата и муж о чем-то совещались в кабинете. При моем появлении они замолчали, и я шутя спросила, не нарушила ли я своим приходом какой-нибудь масонский ритуал.

– Вы даже себе не представляете, мадам Дюваль, – с улыбкой проговорил Робер, – насколько вы близки к истине. Нам следовало выставить часового у дверей, как это мы обычно делаем на собраниях нашей ложи. Впрочем, ничего страшного. Наше совещание закончилось.

Он поднялся с кресла и начал расхаживать по комнате в своей обычной беспокойной манере. Я посмотрела на двух других. У Франсуа был задумчивый вид, тогда как Мишель, напротив, казался возбужденным и смотрел, не отрывая глаз, на Робера.

– Ну п-пошли, п-пора приниматься за дело, – нетерпеливо сказал он. – Нечего рассиживаться. Чем скорее мы все организуем, т-тем лучше для всех.

Робер предостерегающе поднял руку.

– Спокойно, спокойно, – остановил он брата. – У вас с Франсуа есть свои дела, занимайтесь патрулями. А что касается меня и Жака, я прошу только одолжить мне повозку, обещаю вернуть ее через несколько дней.

– С-согласны, – сказал Мишель. – Я с-сразу же об этом позабочусь. – Он воспользовался предлогом и выскочил из комнаты, в то время как во взгляде Франсуа, обращенном на меня, можно было прочесть сомнение и неуверенность.

– Что вы решили? – подозрительно спросила я. – Неужели ты снова хочешь увезти отсюда ребенка, ведь он еще не оправился от усталости и страха.

– Жак такой же выносливый, как и я, – отвечал Робер, – и ничего ему не сделается после вчерашнего. Я собираюсь отвезти его сегодня к матушке в Сен-Кристоф...

Сен-Кристоф, снова в дорогу, за пятнадцать лье, а то и больше, а в лесах бог знает сколько тысяч разбойников гуляют на свободе...

– Ты сошел с ума, – протестовала я. – Ведь мы же ничего не знаем о том, что делается на дорогах между нами и Туренью.

– Придется рискнуть, – сказал Робер, – и я не предвижу особых затруднений. Во всяком случае, мы будем двигаться впереди, перед разбойниками, и одна из причин, по которой я хочу поехать на север, это предупредить людей в округе.

Я так и думала. В такое время безопасность собственного ребенка ничего для него не значила. Его миссия заключалась в том, чтобы сеять рознь, и мне было безразлично, чем продиктованы его намерения: собственным ли извращенным чувством юмора или же распоряжениями, полученными от приспешников герцога Орлеанского. Меня беспокоило только одно: судьба моего племянника, мальчика, которому едва минуло восемь лет.

– Если ты собираешься раздавать монеты с изображением герцога Орлеанского, – заявила я брату, – для того чтобы подстрекать людей, призывая их к насилию, как ты это делал накануне ревейонского бунта, это твое дело. Но, ради всего святого, не вмешивай в это дело своего сына!

Робер удивленно поднял брови.

– Ревейонский бунт? – повторил он. – Какое может быть сравнение между беспорядками, которые устроили рабочие и которые с такой легкостью сумели подавить, и революцией, охватившей всю страну?

– Этого я не знаю, – ответила я, – но только не говори мне, что одно и другое не связаны между собой и что ты и твои друзья не заинтересованы в том, чтобы сеять смуту.

Тут я снова заметила, что у моего мужа смущенный вид, и вспомнила те времена, еще до нашей женитьбы, когда мы пытались спасти Мишеля от позора; но Робер улыбнулся своей неподражаемой обаятельной улыбкой и потрепал меня по щеке.

– Милая моя сестричка Софи, – сказал он, – не путай, пожалуйста, герцога Орлеанского, чье единственное желание – служить своему народу, с принцами, подобными братьям короля, то есть с графом д'Артуа и графом Прованским, которые преследуют свои интересы и стремятся удержать свои привилегии, а на буржуазию им глубоко наплевать. Это они устраивают беспорядки по всей стране, а вовсе не герцог Орлеанский.

– В таком случае ты, наверное, получаешь деньги и от их агентов тоже.

Если бы я бросила ему в голову кирпич, это, наверное, не так поразило бы его, как мои слова. Какое-то время он испуганно смотрел на меня, но потом пришел в себя и пожал плечами.

– Моя маленькая сестричка слишком утомлена и взволнована, – небрежно проговорил он и, повернувшись к моему мужу, добавил: – Если бы ты был настоящим мужем, она бы больше внимания обращала на тебя, вместо того чтобы спорить с братом.

Это окончательно вывело меня из себя. Франсуа никогда не покинул бы меня в трудную минуту, как это сделал Робер по отношению к Кэти.

– Я была рядом с твоей женой, когда нам грозила опасность, – заявила я Роберу, – а теперь сделаю то же самое для твоего сына. Если ты настаиваешь на том, чтобы тащить его сегодня в Сен-Кристоф, можешь считать, что у тебя есть еще одна спутница.

Тут в наш спор вступил Франсуа, говоря, что в моем положении совсем не годится трястись по скверным дорогам. Для паники нет никаких оснований, говорил он: слухи о том, что вчера ночью в наших краях видели разбойников, не подтвердились. Если я хоть сколько-нибудь считаюсь с его желаниями, я останусь в Шен-Бидо.

– А ты, – спросила я его, – что ты сам собираешься сегодня делать?

Он колебался.

– Нужно предупредить соседние деревни, – ответил он, помолчав. – Беспорядки могут начаться в любую минуту – сегодня, завтра или послезавтра. Как говорит Робер, кто предостережен, тот вооружен.

– Иными словами, – сказала я, – и ты, и Мишель, оба вы согласились играть в его игрушки. Вместо того чтобы работать у печи, дуть в свои трубки, вы будете дуть на его мельницу, раздувать слухи и разносить их по округе. В таком случае я предпочитаю находиться у мамы в Сен-Кристофе.

Итак... Робер мог быть доволен. Ему удалось посеять рознь между женой и мужем, не говоря уже о том, что он поссорил Ферт-Бернар с Парижем.

– Это ваша первая ссора? – спросил он. – Ничего, побудете врозь день-другой, в первые месяцы совместной жизни это очень полезно. Я буду рад, Софи, если ты возьмешь на себя заботы о Жаке, только при одном условии: ты будешь молчать и не будешь мне мешать говорить то, что я найду нужным.

Мы уехали сразу же, я только собрала кое-что в дорогу, позвала Жака, который играл на заводском дворе, и отдала распоряжения мадам Верделе по поводу того, что нужно делать в мое отсутствие.

Она очень взволновалась, узнав, что я уезжаю.

– Это потому, что здесь опасно? – спросила она. – Неужели действительно разбойники так близко?

Я успокоила ее, насколько могла, но когда мы проезжали мимо домишек, где жили наши рабочие, я заметила, что женщины и дети смотрят мне вслед, и у меня появилось неприятное чувство: они, наверное, думают, что я их бросаю.

В Плесси-Дорене мы увидели мсье Конье, местного священника, он стоял возле церкви, окруженный своими прихожанами. Робер натянул поводья и остановил лошадь, чтобы с ним поговорить.

– Правда ли, что разбойники находятся в нескольких милях отсюда? – с беспокойством спросил кюре.

– Ничего не известно, – ответил Робер. – Однако необходимо принять все меры предосторожности. Эти бродяги ни перед чем не остановятся, лучше всего, если женщины и дети будут находиться в церкви, а если на вас нападут, начинайте бить в набат и звоните без остановки.

Когда мы свернули на дорогу, ведущую в Мондубло, я оглянулась назад и увидела, что кюре отдает распоряжения столпившимся вокруг него взволнованным людям.

Я же подумала, что лучший способ вызвать панику и страх среди женщин это запереть их всех в церкви, разлучив с мужьями и братьями, и чтобы на колокольне у них над головой непрерывно гудел колокол, разнося весть об опасности.

В Мондубло нам встретился один из наших возчиков-экспедиторов, которых мы обычно нанимали со стороны, и он рассказал нам последние новости о бандитах. Судя по рассказам, дошедшим до них из Клуайе, – а там, в свою очередь, узнали об этом от пассажиров парижского дилижанса, следовавшего по дороге между

Шартром и Блуа, – бандиты наступают тысячными толпами, и все это в результате заговора аристократов, которые стремятся сломить Третье сословие. Здесь тоже били в набат, так же как и в нашей маленькой деревушке Плесси-Дорен, а на улицах стояли группы растерянных и взволнованных людей, не зная, что им делать.

– А как у вас в Шен-Бидо? Все благополучно? – спросил экспедитор, который, естественно, удивился, увидев меня в шарабане рядом с Робером и Жаком.

Прежде чем я успела его успокоить, Робер неуверенно покачал головой и сказал:

– Разбойников видели в окрестных лесах прошлой ночью. Мы выставили сильную охрану вокруг самого завода, ведь говорят, что эти негодяи жгут все, что попадается им на пути.

Он говорил так искренне, что я на секунду испугалась. Неужели слова моего мужа о том, что все эти слухи не подтвердились, говорились только для того, чтобы меня успокоить? А может быть, завод действительно окружен и Франсуа позволил мне уехать с Робером и Жаком только для того, чтобы я была в безопасности?

– Ты мне говорил... – начала я, но Робер стегнул лошадь, и мы снова оказались на дороге, оставив удивленного экспедитора глядеть нам вслед в полном недоумении.

– Где же наконец правда? – спросила я, вновь охваченная мучительными сомнениями. А может быть, я действительно поступила нехорошо, бросив мужа в Шен-Бидо на произвол судьбы? А что, если сейчас, в эту самую минуту, бандиты поджигают мой дом вместе со всем, что мне дорого?

– Правда? – повторил за мной Робер. – Ни один человек на свете не знает правды.

Он натянул вожжи, насвистывая какую-то мелодию, и я вспомнила, как много лет тому назад он отправил в Шартр партию стекольного товара без ведома матушки и на вырученные деньги устроил костюмированный бал. Неужели он играет на моем испуге и на страхе сотен таких же, как я, так же, как тогда он воспользовался неосведомленностью матушки, и все это для того, чтобы удостовериться в своей силе и власти?

Я посмотрела на брата, который сидел возле меня, держа в руках вожжи и внимательно глядя на дорогу, взглянула на сидящего возле

него сына и вдруг осознала то, что как-то забылось благодаря его вечно юному виду: ведь моему старшему брату Роберу уже почти сорок лет. Все его беды и невзгоды не оставили на нем никаких следов, разве что сделали его еще большим авантюристом, если только это возможно; игроком, который ставит на кон не только чужие деньги наравне со своими, но и человеческие слабости.

«Будь осторожен, – говаривал наш отец, обучая Робера искусству обращения со стеклодувной трубкой. – Самое важное в этом деле – осторожность и умение себя контролировать. Достаточно сделать одно неверное движение, и стекло разлетается на куски». Я помню, как загорались глаза у брата – а что, если попробовать, что, если осмелиться выйти за пределы дозволенного? Он, казалось, приветствовал этот взрыв, шел ему навстречу, – он должен был взорвать, разбить вдребезги эту свою первую попытку, а вместе с ней и терпение отца. В работе каждого стеклодува наступает момент, когда он либо вдыхает жизнь в каплю расплавленной массы, которая на его глазах принимает желаемую форму, либо губит ее, превращая в груды осколков. Исход зависит от искусства стеклодува и от того, какое он примет решение, на чашу весов бросались воля мастера и его искусство – в этом и заключался весь интерес для моего брата.

– В Сен-Кале, – сказал Робер, нарушая течение моих мыслей, – мы, возможно, первыми сможем рассказать что-нибудь новое. Во всяком случае, нужно будет обязательно заглянуть в ратушу.

Я лишний раз убедилась в том, что была права. Неважно, кто платил ему за услуги – сторонники ли герцога Орлеанского или братья короля, а может быть, даже само Национальное Собрание, – для брата это не имело никакого значения. Причина, которая заставила его ехать из Парижа в Плесси-Дорен, а потом бросила на дороги провинции, заключалась в том же самом желании опьянить себя, испытать возбуждение, которое двенадцать лет назад заставило его купить стеклозавод в Ружемоне. Его пьянила власть, которой у него не было.

В Сен-Кале все было спокойно. Жизнь текла как обычно. Да, сказал один прохожий, ходят слухи о том, что в Париже беспорядки, но о разбойниках ничего не слышно. Брат передал мне вожжи и отправился в ратушу, где оставался минут двадцать.

Весь этот долгий жаркий летний день, когда мы ехали по дороге от одного селения до другого, мы видели, что все жители работают в полях. Мы не замечали никаких признаков волнения или тревоги, только колеса нашей повозки поднимали дорожную пыль; и тем не менее каждому новому человеку, которого случалось встретить по дороге, будь то старик, прилегший соснуть под деревом, или женщина, сидящая возле дверей своего дома, Робер, окликнув его или ее, сообщал, что со стороны Парижа движется толпа бандитов, грозящих нарушить мир и покой во всей стране.

В Шартре, где мы остановились, чтобы покормить лошадь и закутить самим, нас встретила ответная волна слухов: со стороны побережья на нас движутся толпы бретонцев. Эти слухи были не менее значительны, чем наши: бретонцы стоили бандитов, и я не знаю, у кого из нас был более растерянный вид – у Робера или у меня. В существовании разбойников я уже стала сомневаться, но бретонцы... Разве мы не слышали еще в прошлом году, что на западе они отказываются платить соляной налог и что они разграбили и сожгли множество амбаров с зерном? В Шартре тоже били в набат, там царили такое же волнение и растерянность, как и накануне в Ферт-Бернаре.

– Каким образом вам стало это известно? – спросил Робер у трактирщика, когда мы сели за стол и принялись за еду – в первый раз после того, как выехали рано утром из Шен-Бидо.

Трактирщик, который метался, не зная, что ему делать – то ли обслуживать нас, то ли запирать и баррикадировать двери от грозного нашествия бретонцев, – сообщил, что они узнали эту новость от пассажиров леманского дилижанса.

– А те узнали вчера вечером, новости привез парижский дилижанс, – говорил трактирщик. – Разбойники идут на юг со стороны столицы, а бретонцы движутся от побережья. Мы окажемся между ними, и нас просто уничтожат.

Кучер этого дилижанса, подумала я, хорошо справился со своей работой. Круг замкнулся. Слух, первоначально пущенный в Дрё, набирал силу.

– Ну как? – спросила я у брата. – Теперь ты доволен? – И я рассказала обезумевшему от страха трактирщику, что мы в этот день

находились в Мондубло и даже дальше и не видели на дороге никаких разбойников.

– Может, и не видели, мадам, – отвечал этот человек. – Бандиты или бретонцы – все едино, простым людям вроде нас жалости от них не дожидаться. А ведь нам угрожают не только чужаки, а и наши собственные крестьяне. Пассажиры сегодняшнего дилижанса рассказывали, что карету, в которой ехали двое аристократов – это были депутаты, которые возвращались домой из Парижа, – сбросили в реку возле Савиньи л'Эвек, а самим депутатам пришлось бы расстаться с жизнью, если бы кто-то из местных жителей не спрятал их у себя.

Савиньи л'Эвек – это предпоследняя остановка парижского дилижанса, следующего на Ле-Ман, сразу после Боннетабля.

– А как зовут этих депутатов? – спросил мой брат.

– Граф де Монтессон и маркиз де Вассе, – ответил трактирщик.

Обе эти фамилии я знала понаслышке. Эти депутаты были весьма непопулярны в Ле-Мане из-за своей враждебности к Третьему сословию. Вот вам, пожалуйста, расправа, в которой нельзя обвинить ни разбойников, ни бретонцев и которую нельзя отнести за счет богатого воображения кучера парижского дилижанса.

– Странно, – пробормотал Робер. – Маркиз де Вассе принадлежит к ложе «Parfait Estime». ^[30] Мне казалось...

Он не договорил. Может быть, он хотел сказать, что масоны во времена народных волнений должны оставаться неприкосновенными. Я не знаю, но мне подумалось, что слухи, так же как и революции, отскакивая рикошетом, частенько попадают в голову тех самых людей, которые были их инициаторами.

В Шартре, где в церквях тревожно звонили колокола, а улицы были заполнены возбужденной толпой, мы задерживаться не стали и вскоре снова пустились в путь, миновали Марсон, проехали через Диссе, и вот перед нами раскинулась благодатная холмистая равнина матушкиной родной Турени, где созревшие хлеба золотились в лучах заходящего солнца.

Здесь не было никаких разбойников с вымазанными сажей лицами или смуглолицых бретонцев; на полях виднелись только согбенные фигуры крестьян, которые жали серпами пшеницу и ячмень, – хлеба здесь созревали раньше, чем в наших лесных краях.

Мы выехали из деревни Сен-Кристоф, направляясь в матушкино имение Антиньер. Это была небольшая ферма, расположенная в ложбине и окруженная со всех сторон фруктовыми деревьями и несколькими акрами посевов; и хотя был уже поздний вечер, матушка со своими работниками находилась в полях. Я узнала ее высокую фигуру, которая отчетливо вырисовывалась на фоне закатного неба. Робер окликнул ее, и мы увидели, как она обернулась и посмотрела через поле на шарабан, а потом медленно направилась в нашу сторону, приветственно помахав нам рукой.

– А я и не знал, – удивленно воскликнул маленький Жак, – что моя бабушка работает в поле, как простая крестьянка.

Через минуту она была уже возле нас, и я сразу же соскочила на землю и со слезами бросилась в ее объятия. Не знаю, отчего я плакала – от радости, от усталости или от облегчения. В ее объятиях я чувствовала себя в безопасности, они означали для меня наш прежний старый мир во всей его незыблемости, мир, который был так крепок и теперь рушился; возле ее сердца я нашла убежище от своих страхов перед настоящим и тревоги за будущее.

– Ну полно, полно, – говорила она, прижимая меня к себе, а потом отстраняя и ласково поглаживая по плечу, словно я была ребенком вроде Жака. – Если вы едете из самого Шен-Бидо, вы, конечно, устали и проголодались, вам нужно как следует подкрепиться и отдохнуть. Пойдемте в дом, посмотрим, что там найдется у Берты. Жак, ты вырос. А ты, Робер, по-прежнему неотразим, даже больше, чем обычно. Но что все это означает, зачем вы сюда явились?

Да, она слышала о беспорядках в Париже. Она слышала, что первые два сословия не дают жить Третьему.

– Чего еще можно ожидать от таких людей? – говорила она. – Они слишком долго творили все, что хотели, и им, конечно, не нравится, когда кто-то другой пытается им противостоять.

Нет, она ничего не знает о четырнадцатом июля и о штурме Бастилии, нет, ей никто ничего не говорил о разбойниках и о том, что их нужно бояться.

– Если в наших краях и появятся какие-нибудь негодяи с черными рожами, им не поздоровится, – сказала она.

Матушка бросила взгляд на вилы, прислоненные к амбару, и я подумала, что с этими вилами она выйдет навстречу целой армии и прогонит ее от своего дома, вооруженная подобным оружием и собственной решимостью.

Пока мы все рассказывали и объясняли, матушка вместе с Бертой накрыли в кухне на стол и приготовили ужин – громадный кусок окорока домашнего копчения, сыр, домашний хлеб и даже бутылку домашнего вина, чтобы все это запивать.

– Итак... – сказала матушка, которая сидела, как обычно, во главе стола, отчего мне казалось, что мы по-прежнему находимся дома, на заводе, а она всеми нами распоряжается. – Значит, Национальное Собрание крепко держит в руках власть, а король обещает новую Конституцию. Почему же тогда столько волнений? Ведь все как будто бы должны быть довольны.

– Вы забываете о первых двух сословиях, аристократии и духовенстве. Они не примут нового порядка без борьбы.

– Ну и пусть себе борются, – сказала матушка, – а мы тем временем будем убирать урожай. Вытирай рот, Жак, после того как попьешь.

Робер рассказал ей о заговорах аристократов, о шести тысячах разбойников, которые рыщут по дорогам. Матушка слушала совершенно спокойно.

– Мы пережили самую тяжелую зиму, которую только можно припомнить, – сказала она. – Естественно, что по дорогам ходят бродяги в поисках работы. Я сама наняла на прошлой неделе троих и накормила их к тому же. Они были очень благодарны. Если, как ты говоришь, открыли парижские тюрьмы и все арестанты разбежались из Парижа, то теперь тебе и таким же, как ты, там было бы гораздо спокойнее.

Каковы бы ни были слухи, которые привез Робер из Парижа, Ферт-Бернара и прочих отдаленных краев, они ни в коей мере не нарушили спокойствия, царившего на матушкиной ферме в Антиньере.

Один только раз Роберу удалось вывести ее из равновесия, это было тогда, когда его посадили в тюрьму в Ла-Форсе. Больше этого не случится, даже если он расскажет ей о том, что произошла революция.

– А ты, Софи, – сказала она, глядя на меня со своей обычной прямоотой, – зачем ты вообще сюда явилась, ведь тебе через два месяца рожать.

– Я надеялась, – пробормотала я с необычной для себя смелостью, – что вы позволите мне остаться и рожать в Антиньере.

– Ни под каким видом, – отрезала матушка. – Твое место в Шен-Бидо, рядом с мужем. А кроме того, кто будет заботиться о семьях, пока тебя не будет дома? Никогда не слышала ничего подобного. Жака я оставлю у себя, если Робер этого хочет, воздух здесь лучше, чем в Париже, и накормить его я смогу, теперь уже легче, чем было весной, несколько месяцев тому назад.

Как всегда, она была хозяйкой положения и распоряжалась нами как хотела; даже Роберу нелегко было оправдываться и объяснять, почему он уехал из Парижа. Причина, которую он привел, – он, дескать, заботится о безопасности сына – не произвела на матушку никакого впечатления.

– Я не могу понять, почему ты не думаешь о безопасности своей лавки, – заметила она, – если Пале-Рояль, как ты говоришь, находится в центре событий. Я бы на твоём месте побеспокоилась о целостности своего имущества. Ты там оставил кого-нибудь?

В ответ на его объяснения, что за лавкой присматривают друзья, матушка лишь удивленно приподняла брови.

– Мне приятно слышать, – сказала она, – что в наше беспокойное время можно всецело положиться на друзей. Несколько лет назад, когда ты так нуждался в поддержке, друзей у тебя не оказалось. Возможно, революция все это изменила.

– Я искренне на это надеюсь, – отвечал Робер, – поскольку мой патрон, герцог Орлеанский, собирается выступить посредником между королем и гражданами Парижа в качестве плавного заместителя, заместителя короля.

Они смотрели друг на друга через стол, как два боевых петуха, и я нисколько не сомневаюсь, что это продолжалось бы далеко за полночь, если бы неожиданные звуки, столь знакомые для меня, но новые для матушки, не заставили ее насторожиться.

– Ну-ка, послушайте! – сказала она. – Кому это, скажите на милость, вздумалось звонить в такое время в колокола?

Тревожный звон раздавался со стороны Сен-Кристофа. Жак, измученный волнением и усталостью, расплакался и бросился ко мне.

– Это бандиты! – кричал он. – Бандиты бегут за нами из Парижа.

Даже Робер удивился. Когда мы проезжали через деревню, мы никого не видели и ни с кем не разговаривали. Матушка поднялась со своего места, подошла к дверям и крикнула скотника, который находился во дворе.

– Загони скотину в хлев и запри покрепче, – распорядилась она. – И не забудь запереть свою собственную дверь, когда пойдешь спать.

Вернувшись, она тоже закрыла входную дверь на засов.

– Разбойники там или не разбойники, – сказала она, – всегда лучше подготовиться. Наш кюре никогда не велел бы звонить в колокол, если бы не получил предупреждения об опасности. Наверное, ему что-нибудь сообщили из Шато-дю-Луар или Ле-Мана.

Как я ошибалась, надеясь найти покой в Антиньере. Кучер того дилижанса слишком хорошо знал свое дело. Слухи о революции снова настигли нас.

Глава десятая

Мы пробыли у матушки в Сен-Кристофе понедельник и вторник, а в среду двадцать второго июля, поскольку ни о каких разбойниках в этих краях не было слышно, брат решил не откладывать дальше наше возвращение. Но вместо того чтобы ехать по старому пути, через Шартр и Сен-Кале, мы отправились на запад, в Ле-Ман, чтобы узнать последние новости из Парижа.

– Если выборщики в Ле-Мане образовали комитет с целью сместить муниципальные власти, Пьер обязательно будет с этим связан, в этом можно не сомневаться, – сказал Робер. – А они непременно свяжутся с Парижем. Я считаю, что больше нельзя терять времени, нужно немедленно отправляться.

Мне очень не хотелось уезжать, но я понимала, что выбора у меня нет. Матушка достаточно ясно выразила свою мысль: мне следует возвращаться в Шен-Бидо, ибо это мой долг, и я предпочла бы встретиться с целой бандой разбойников, только бы не заслужить ее неодобрение. За Жака я не беспокоилась, он уже ходил хвостом за матушкой, и ему так не терпелось бежать в поле и помогать убирать хлеб, что он едва мог выдержать несколько минут, чтобы попрощаться со мной и с отцом.

Не знаю, кто охраняет нас на небесах – великий ли Создатель Вселенной, как говорит Пьер, или Пресвятая Дева и все святые, как учила меня матушка, но я всегда думаю, как это счастливо и милосердно, что высшие силы, управляющие нашей жизнью, кто бы они ни были, скрывают от нас наше будущее. Никто из нас не знал, что этому восьмилетнему мальчику исполнится двадцать два года, когда он увидит своего отца в следующий раз, и никто не подозревал, какой горькой и безрадостной будет эта встреча. Что же касается матушки, то она обнимала своего сына в последний раз.

– Ты потерял Кэти, – сказала она ему. – Постарайся удержать то, что у тебя осталось.

– Ничего не осталось, – ответил Робер. – Вот почему я привез к вам своего сына.

Он больше не улыбался и не казался молодым – ему вполне можно было дать его сорок лет. Может быть, его отрешенный вид, равнодушие к другим людям были только ширмой? Никто не знал, как много из того, что составляло его юность, ушло в могилу вместе с Кэти.

– О нем-то я позабочусь, – сказала матушка. – Хотела бы я верить, что о себе ты позаботишься сам.

Мы погрузились в шарабан и выехали из Антиньера, поднявшись вверх по склону на дорогу. Оглянувшись назад, мы увидели, что бабушка и внук стоят, взявшись за руки, рядом и машут нам, и мне показалось, что они олицетворяют собой все, что есть на свете прочного и постоянного в прошлом и будущем, в то время как нашему собственному поколению – Робера и моему – не хватало устойчивости, мы были во власти и милости событий, с которыми порою справиться не могли.

– Мы находимся совсем недалеко от Шериньи, где я родился, – сказал Робер, указывая бичом куда-то направо. – Маркиз де Шербон не оставил наследников. Я забыл спросить у матушки, кто теперь владеет имением.

– На заводе, по-моему, до сих пор хозяйничают наши кузены Ранвуазе, – сказала я ему. – Можно заехать и посмотреть, если хочешь.

Робер покачал головой.

– Нет, – сказал он. – Что прошло, то прошло. Но шато и все, что с ним связано, сохранится у меня в душе до самой смерти.

Он стегнул лошадь, заставив ее бежать быстрее, и я подумала, что до сих пор не знаю, какими чувствами были продиктованы его слова – была ли это зависть или тоска по прошлому, оставался ли шато де Шериньи предметом его вожделений, или же ему хотелось его разрушить и уничтожить.

Мы приехали в Шато-дю-Луар, городок, где была рыночная площадь, и сразу же оказались в гуще самых противоречивых слухов. На площади перед ратушей собралась огромная толпа, и люди кричали: «Да здравствует нация!.. Да здравствует Третье сословие!..» – но как-то смущенно и растерянно, словно эти слова были талисманом, который должен отвести беду.

Был базарный день, и там, должно быть, происходили какие-то беспорядки, поскольку кое-где прилавки были опрокинуты, повсюду бегали куры, которые вырвались на свободу и путались у всех под ногами; женщины плакали, а одна из них, посмелее, чем остальные, грозила кулаком в сторону мужчин, которые бежали по направлению к ратуше.

Наша повозка, чужая в этом городке, сразу же оказалась в центре внимания, нас тут же окружили, спрашивая, какие дела привели нас в город, а один молодчик схватил нашу лошадь за узду и непрерывно дергал, заставляя животное пятиться назад, и при этом кричал нам: «Вы за Третье сословие или нет?»

– Конечно, – отвечал мой брат. – Я родственник одного из депутатов. Отпусти мою лошадь. – И он указал на красно-синюю розетку, которую получил от кучера парижского дилижанса и догадался прикрепить на верхушку повозки.

– Надень ее на шляпу, – кричал этот человек, – так, чтобы всем было ясно!

Мне кажется, что если бы Робер немедленно не послушался, его бы вытащили из шарабана, хотя совершенно неизвестно, понимали ли они, что означает «Третье сословие» и что значат собой красный и синий цвета. Потом нас допросили, требуя, чтобы мы сказали, куда и с какой целью направляемся. Робер ответил на все эти вопросы, но, когда он им сказал, что мы едем в Ле-Ман, кто-то из толпы посоветовал ему повернуть назад и возвращаться в Сен-Кристоф.

– Ле-Ман со всех сторон окружен бандитами, – сообщил этот человек. – В лесах Боннетабля их десять тысяч. Каждый приход, все деревни до самого города получили предупреждение об опасности и готовы обороняться.

– Но мы все-таки рискнем и попробуем проехать, – сказал Робер. – Сегодня вечером я должен там присутствовать на собрании выборщиков.

Слово «выборщики» произвело большое впечатление. Толпа отхлынула, и нам дали возможность проехать. Кто-то крикнул вслед, что, если нам встретится на дороге монах и попросит его подвезти, этого ни в коем случае не следует делать, так как по всей округе бродят разбойники, переодетые монахами. Я снова оказалась во власти прежних страхов, и, когда мы выехали из городка, мне за

каждым деревом чудился монах в черной рясе, а на вершине каждого холма – засада.

– А зачем, собственно, разбойникам переодеваться монахами? Какой в этом смысл? – спросила я у брата.

– Большой, – спокойно ответил он. – Человеку в таком обличье открыт доступ повсюду, он может зайти в любой дом, попросить хлеба, прочесть молитву, а потом убить обитателей.

Возможно, что моя беременность – ведь то же самое было и с Кэти три месяца тому назад – сделала меня более чувствительной и обострила мое воображение, но только мне безумно захотелось вернуться назад, к матушке и Жаку. Чем ближе мы подъезжали к Ле-Ману в этот долгий дождливый день, тем более очевидным становилось, что в каждой деревне, в каждом приходе жители находились во власти страха. Деревни, казалось, вымерли; повсюду царил мертвая тишина; двери домов были заперты, а люди, которые подглядывали за нами из окон верхних этажей, казались призраками. Или, наоборот, как это было в Шато-дю-Луар, тревожно звонил колокол, нас немедленно окружали и требовали новостей.

Два или три раза во время пути мы замечали впереди себя на дороге группы людей, на первый взгляд похожих на разбойников, которых мы так опасались, и Робер из предосторожности сворачивал с дороги, чтобы укрыть повозку под деревьями, в надежде, что нас не заметят. Однако нас неизменно обнаруживали, эти люди тут же неслись к нам, окружали, допрашивали, и оказывалось, что это отряды, состоявшие из местных жителей, которые патрулировали по дорогам между деревнями, то есть делали то же самое, что Мишель и Франсуа делали в Шен-Бидо. От каждого такого отряда мы узнавали что-нибудь новое: там дотла сожгли дом, и его обитатели были вынуждены спасаться бегством; город Ферт-Бернар объят пламенем; разбойники в тот день захватили Ле-Ман, а граф д'Артуа вовсе не бежал из страны, а, напротив, наступает во главе двадцатитысячного войска, с тем чтобы опустошить всю Францию.

Когда к вечеру мы въехали в окрестности Ле-Мана, я приготовилась к тому, что город разрушен до основания или что все улицы залиты кровью, – мне представлялось все что угодно, только не царящее там неестественное спокойствие. Не ожидала я и того, что нас без всяких церемоний заставят выйти из нашего шарабана.

При входе в город нас остановили часовые из шартрских драгун, обыскали нас и весь шарабан, а в город позволили пройти только после того, как Робер назвал имя Пьера в качестве нашего поручителя. После этого нам приказали следовать в ратушу и доложить о нашем посещении официальным лицам.

– Наконец-то появилась организация, – шепнул мне на ухо Робер. – Впрочем, иного нельзя было и ожидать от полковника графа де Валанс, личного друга герцога Орлеанского.

Мне не было никакого дела до их полковника. Однако вид солдатских мундиров придавал мне уверенности. Разве посмеют разбойники сунуться в Ле-Ман, если за его безопасность отвечают солдаты этого полка?

В центре города было не так спокойно. На улицах толкался народ, всюду царило возбуждение. У большинства на груди или на шляпах были приколоты красно-бело-синие розетки, и красно-голубая эмблема Робера выглядела неуместно.

– Ты отстаешь от моды, – сказала я ему. – Похоже, что герцог Орлеанский пока еще не стал генеральным наместником королевства.

На какое-то мгновение брат мой казался обескураженным, но потом быстро обрел прежний апломб.

– В тот день, когда я уезжал, генерал Лафайет раздавал красно-бело-синие кокарды солдатам Гражданской милиции Парижа, – сказал он. – Эти цвета, несомненно, будут приняты во всей стране с одобрения герцога Орлеанского.

Порядок, который поразил нас у городских ворот, ни в коей мере не распространялся на ратушную площадь. Вооруженные горожане с трехцветными кокардами на шляпах изо всех сил пытались оттеснить толпу, которая не обращала на них никакого внимания. Раздавались неизменные возгласы: «Да здравствует нация... Да здравствует король...» – но ни один человек не кричал: «Да здравствует герцог Орлеанский!»

Мой брат – вероятно, это было весьма благоразумно с его стороны – снял со шляпы вышедшую из моды розетку.

На площади, у самого ее края, стояло еще несколько экипажей, и мы оставили шарабан на попечении одного старика, который отгородил веревкой небольшое пространство и повесил плакатик, на котором было написано: «Для выборщиков Третьего сословия».

Важный вид Робера и щедрое вознаграждение, полученное стариком, не оставляли у последнего ни малейшего сомнения в том, что Робер был по меньшей мере депутатом.

С трудом пробившись через толпу, мы оказались наконец в ратуше. Здесь снова были вооруженные горожане из только что образованной милиции, исполненные гордости и сознания собственной значимости, которые провели нас к закрытой двери, где мы ждали минут сорок, а то и больше, вместе с другими людьми, такими же растерянными, как мы сами. Затем дверь отворилась, и мы гуськом прошли мимо длинного стола, за которым сидели разные должностные лица – были ли это члены только что избранного комитета, был ли среди них сам мэр, этого я сказать не могу, – но у всех на шляпах красовались трехцветные красно-бело-синие кокарды. Наши имена, адреса и обстоятельства дела, приведшего нас в Ле-Ман, были записаны и немедленно положены в соответствующую папку, причем замученного человека, который всем этим занимался, гораздо больше беспокоило не то, что Робер прибыл из Парижа и вполне мог оказаться переодетым разбойником, а то, что мы, как выяснилось, не имеем ни малейшего понятия о том, к какому подразделению Гражданской милиции принадлежит наш Пьер.

– Ведь я вам уже сказал, – терпеливо втолковывал ему Робер, – что мы три дня находились в Турени. Мы ничего не знали о том, что в Ле-Мане образована Гражданская милиция.

– Но вы, по крайней мере, знаете, в каком квартале проживает ваш брат? – спросил наконец наш собеседник, глядя на нас подозрительным взглядом.

Мы дали адрес дома, где жил Пьер, а также адрес его конторы, и это еще больше сбило беднягу с толку, поскольку милиция набиралась как из деловых, так и из жилых кварталов, и Пьер мог оказаться одновременно в двух подразделениях. Нам было позволено удалиться лишь после того, как мы получили документ, удостоверяющий, что мы являемся братом и сестрой Пьера Бюссона дю Шарма, принадлежащего к ложе «St. Julien de l'Etroite Union»,^[31] и это обстоятельство, когда Робер о нем вспомнил, оказало незамедлительное действие на нашего чиновника.

– Связи – это всё, – шепнул мне на ухо Робер, – даже когда город охвачен революцией.

Пока мы были в окружении милиции или находились в ратуше среди должностных лиц, мы были избавлены от слухов, но стоило нам выйти из дверей, как мы снова оказались в самой их гуще. В лесах Боннетабля скрываются многие сотни разбойников. Банды мародеров из Монмирайля терроризируют всю округу от Ферт-Бернара до Ле-Мана. Как только я это услышала, я была готова немедленно ехать домой, несмотря ни на какие опасности, но Робер твердо вел меня через толпу к нашему шарабану, не придавая серьезного значения этому последнему слуху.

– Прежде всего мы с тобой никуда не можем двинуться сегодня ночью, не говоря уже о лошади, – сказал он, – и к тому же Мишель, Франсуа и все остальные там на заводе отлично могут за себя постоять.

Когда мы добрались до дома Пьера возле церкви Сен-Павена, мы обнаружили, что в нем полно народа. Кроме его сыновей, которые нацепили крошечные трехцветные кокарды и во весь голос орали: «Да здравствует нация!» – там жили незадачливые клиенты Пьера, которые приехали к нему за советом и помощью: удалившийся от дел престарелый купец, вдова с дочерью и молодой человек – этот последний не мог найти себе применения и заработать на хлеб, и Пьер взял его в дом в качестве компаньона своих сыновей и платил ему жалованье. Младший сынишка Пьера, голенький, стоял в своей кровати под трехцветным красно-бело-синим пологом.

Самого Пьера дома не было, он находился на своем посту в подразделении Гражданской милиции, но его жена Мари сразу же проводила меня в детскую – я была счастлива, узнав, что мальчиков перевели в мансарду, – и я мгновенно погрузилась в тяжелый сон, от которого меня разбудили на следующее утро ненавистные звуки набата, доносившиеся от соседней церкви.

Набат... Неужели мы никогда от него не избавимся? Неужели его призывные звуки будут вечно преследовать нас и днем и ночью, только усиливая наши страхи? Я с трудом поднялась с кровати и дотаскала до окна. Внизу бежали люди. Я подошла к двери и окликнула невестку. Ответа не было, только малыш отчаянно ревел в своей кровати. Я не спеша оделась и спустилась вниз. В доме никого не было, кроме вдовы с дочерью, которые должны были смотреть за ребенком. Все остальные были на улице.

– В городе появились разбойники, в этом нет никакого сомнения, – говорила вдова, качая колыбель, и сама раскачиваясь взад-вперед вместе с ней. – Но мсье Бюссон дю Шарме прогонит их. Он единственный честный человек во всем Ле-Мане.

Поскольку вдова потеряла все, что у нее было, в судебном процессе, который вел Пьер, и он предложил ей свое гостеприимство, разрешив жить у него в доме сколько она пожелает, не было ничего удивительного в том, что она так о нем отзывалась.

Я хотела сварить себе кофе, но мальчики, должно быть, опрокинули банку, потому что зерна были рассыпаны, хлеба я тоже не нашла. Если брат рассчитывал, что его накормят обедом в собственном доме, то напрасно, ибо есть было нечего.

На улицах люди все еще кричали, и по-прежнему звонил колокол. Если это революция, думала я, то без нее вполне можно было бы обойтись. Но потом мне вспомнилась зима, семьи рабочих на нашем заводе – нет, все, что угодно, даже страх, все лучше, чем то, что нам пришлось пережить.

Было уже около полудня, когда вернулись Мари и мальчики. Оказалось, что все волнения произошли оттого, что кто-то увидел, как офицер, командующий артиллерией, распорядился поднять на городскую стену пушку, и тут же разнесся слух, что поскольку он принадлежит к аристократии, то это значит, что пушка будет повернута на город и против народа.

– Теперь каждую телегу или экипаж, въезжающие в город, осматривают в поисках спрятанного оружия, – взволнованно сообщила моя невестка. – Крестьянам, которые приехали из деревень, приходится вываливать свою кладь на землю, и они теперь бунтуют на рыночной площади; беспорядки от этого только увеличиваются.

– Все это не имеет никакого значения, – отозвалась вдова. – Ваш муж быстро прекратит подобные безобразия.

Она, очевидно, была такой же оптимисткой, как и Пьер, который, судя по словам моей невестки, ничего не мог знать о том, что происходит в городе, поскольку его пост находился в подземной часовне собора, которую ему было велено охранять. Робер не появлялся, и о нем ничего не было слышно, но меня это нисколько не удивило, после того как я узнала от одного из мальчиков, что он собирался поговорить с кем-нибудь из официальных представителей

властей, которые находились в ратуше. Мой старший брат, верный себе, считал, что его долг – держать руку на пульсе города...

Мари принялась готовить для всех нас еду из того, что удалось добыть на развороченном рынке, но поскольку мой братец Пьер требовал, чтобы члены семьи и все остальные, живущие в доме, питались сырыми овощами и воздерживались от мяса, эти приготовления не заняли особенно много времени.

После этого мы все сидели дома, дожидаясь мужчин, – я вообще решила не высовывать носа на улицу, пока не прекратятся волнения на рынке, – а мальчики играли в чехарду со своим юным наставником, которому следовало бы их чему-нибудь поучить; я нянчила младенца, невестка спала, а вдова рассказывала мне историю своего судебного процесса со всеми подробностями.

Было уже больше пяти часов, когда вернулись мои братья, они пришли вместе, Пьер – во всем своем великолепии, с мушкетом за плечами и трехцветной кокардой на шляпе. Робер тоже надел кокарду цветов нации. Вид у обоих был серьезный.

– Какие новости? Что происходит?

Эти слова вырвались непроизвольно, они были у всех на устах, даже у вдовы.

– Возле Баллона зверски убиты двое жителей Ле-Мана, – сказал Робер. (Баллон – деревушка примерно в пяти лье от города.) – Разбойников в этом винить нельзя, – добавил он. – Их убили негодяи из соседнего прихода. К нам только что прискакали гонцы с этой вестью.

Пьер подошел ко мне, чтобы поцеловать – ведь мы с ним еще не виделись со времени нашего приезда, – и подтвердил то, что сообщил Робер.

– Это был серебряных дел мастер по имени Кюро, самый богатый человек в Ле-Мане, – рассказал он. – Все его ненавидели и подозревали, что он занимается скупкой зерна. И тем не менее это – убийство, и его никак нельзя оправдать. Последние два дня Кюро скрывался в шато Нуан, к северу от Мамера, а сегодня рано утром в дом ворвалась банда разъяренных крестьян, которые заставили его вместе с зятем – тот из Монтессонов, а его брат – депутат, это его карету давеча скинули в реку, – возвратиться с ними в Баллон. Там они зарубили несчастного Кюро топором, Монтессона застрелили,

отрубили обоим головы и, надев их на пики, маршировали так по всему городу. Это уже не слухи. Один из гонцов видел все это собственными глазами.

Моя невестка, обычно такая выдержанная и спокойная, сильно побледнела. Баллон находится всего в нескольких милях от ее родного Боннетабля, где ее отец занимается торговлей зерном.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал Пьер, обнимая Мари за плечи. – Твоего отца никто не обвиняет в скупке зерна... во всяком случае пока. И кроме того, известно, что он верный патриот. Во всяком случае, можно надеяться, что, как только эта новость распространится, каждый приход в нашей округе организует свой отряд милиции, который и будет поддерживать законный порядок. Беда у нас со священниками. Ни на одного из них нельзя положиться: вместо того чтобы сохранять присутствие духа в минуту опасности, они носятся из прихода в приход, поднимают тревогу и будоражат людей.

Я подошла к невестке и взяла ее за руку. Я ничего не знала об убитых людях, была с ними незнакома, однако то обстоятельство, что с ними так жестоко расправились, причем вовсе не бандиты, а местные крестьяне из близлежащей деревни, делало их гибель просто ужасной. Я подумала о наших рабочих на стекольном заводе, о Дюроше и других, которые в ту ночь отправились на дорогу, чтобы отбить обоз с зерном. Неужели и Дюроше, ослепленный ненавистью и злобой, тоже способен совершить убийство?

– Ты говоришь, что это злодеяние совершили крестьяне? – спросила я у Пьера. – Если у них не было работы, если они голодали, то чего они добились этим убийством?

– Они хотели отплатить за свои страдания, – ответил Пьер, – за месяцы, годы, за целые столетия угнетения. Напрасно ты качаешь головой, Софи, это правда. Но дело в том, что такого рода кровопролитие бессмысленно, этому надо положить конец, а преступники должны быть наказаны. Иначе наступит анархия.

Он пошел на кухню, чтобы поужинать фруктами и сырыми овощами, которые приготовила для него жена, однако мальчики уже успели там побывать, и ему ничего не осталось. Я вспомнила нашего отца, подумала о том, что сказал бы он, если бы кто-нибудь из его сыновей посмел дотронуться до обеда, оставленного для него в кухне

к тому времени, когда он придет после смены. Пьер, однако, остался к этому равнодушен.

– Мальчики растут, – сказал он, – а я нет. К тому же, оставаясь голодным, я, может быть, пойму, что пришлось испытать этим беднякам, прежде чем страдания довели их до убийства.

– Кстати сказать, эти бедняги, которых ты так жалеешь, вовсе не были голодны и отнюдь не доведены до отчаяния, – заметил Робер. – Я узнал это непосредственно от одного из чиновников в ратуше, а тот разговаривал с гонцом. Двое убийц это слуги, один из них, весьма упитанный субъект, служил у твоего коллеги, нотариуса из Рене. Их извиняет только то, что их подстрекали к убийству бродяги, которые скрываются в лесах.

В ту ночь мы отправились спать, продолжая обсуждать это событие, а утром мальчики, которые уже побывали на улице, несмотря на запрет матери, сообщили, что в городе ни о чем другом не говорят. Караул возле ратуши удвоили, и не потому, что боялись бандитов, которых, как говорили, разогнали, а потому, что окрестные крестьяне угрожали всякому хорошо одетому человеку, обвиняя его в том, что он принадлежит к аристократии.

Сыновья Пьера, которых отец приучил ходить босиком, с хохотом рассказывали нам, что они забавлялись, бегая за каждой каретой с криком: «À mort... à mort...»^[32] – и что их едва за это не арестовали добровольцы Гражданской милиции.

Сам Пьер и Робер, конечно, тоже находились в городе. Пьер был в карауле, а Робер, насколько мне известно, снова наводил какие-то справки в ратуше. Я набралась храбрости и вышла из дома, чтобы навестить Эдме, взяв с собой в качестве эскорта мальчиков. Однако в этот день, двадцать четвертого февраля, толпы на улицах были еще гуще, чем в среду, в день нашего приезда, и, несмотря на то что повсюду можно было встретить вооруженных представителей милиции, беспорядка было еще больше. Национальные кокарды, которые леманцы старшего поколения носили скорее для безопасности, чем по каким-либо другим причинам (я была счастлива, что на моей собственной шляпке тоже красовался трехцветный значок), на шляпах молодых казались символом вызова и неповиновения. Группы молодежи, человек по двадцать, разгуливали по улицам с шестами, увитыми трехцветными лентами, и, увидев

какого-нибудь смиренного прохожего – пожилого человека или женщину вроде меня, – с дикими криками бросались к нам, размахивая знаменами, и допрашивали: «Вы за Третье сословие? Вы за нацию?»

Когда мы добрались до Сен-Винсентского аббатства, возле которого жили Эдме с мужем, я с тревогой обнаружила еще более густую толпу, окружавшую стены и здания монастыря. Те, кто посмелее, взобрались на стены и, подбадриваемые снизу, размахивали палками и знаменами и кричали: «Долой скупщиков! Долой тех, кто заставляет народ голодать!»

Несколько милиционеров, поставленных охранять двери аббатства, стояли словно истуканы, неспособные даже воспользоваться своими мушкетами.

– Вы знаете, что сейчас будет? – спросил Эмиль, старший из сыновей Пьера. – Они опрокинут милицию и ворвутся в аббатство.

Я была согласна с Эмилем и повернула назад, чтобы как можно скорее выбраться из давки. Мальчишки, маленькие и юркие, могли, нагнув голову, пронырнуть под руками или даже проползти между ногами у взрослых – таким образом они быстро оказались вне толпы, теснившей нас сзади, меня же подхватила и понесла с собой волна, которая устремилась к аббатству, я оказалась беспомощной и бессильной, просто частичкой людского потока.

Тут я в полной мере осознала, что испытывает каждая беременная женщина при таком скоплении народа: безумный страх, что ее сомнут и раздавят. Меня сдавили со всех сторон, плотно прижав к соседям. Некоторые из них, так же как и я, присоединились к толпе просто как зрители, из любопытства; но в большинстве своем она состояла из обозленных людей, враждебно настроенных по отношению к монахам, обитателям аббатства. Вполне возможно, что те же самые чувства они питали бы (знай только, где он находится) и к мужу Эдме, мсье Помару, сборщику податей и налогов для аббатства.

Толпа – и я вместе с ней – стояла под стенами аббатства, то подступая к ним, то снова откатываясь, и я знала, что если потеряю сознание, – а я была недалеко от этого, – то мне конец: я упаду, и меня затопчут.

– Мы его оттуда вытащим, – кричал кто-то впереди меня, – вытащим и расправимся с ним, так же как расправились с его

друзьями в Баллоне.

Я не знала, кого они имеют в виду, самого ли настоятеля или моего зятя, ибо снова и снова повторялись слова «скупщики хлеба» и «торговцы голодом». Я вспомнила также, что те несчастные, которых зарубили в Баллоне, были не аристократы, а буржуа, которые вызвали всеобщую ненависть своим богатством, и что убили их не голодающие крестьяне, а обычные люди, совсем как те, что окружали меня сейчас, только они временно потеряли человеческий облик, превратившись в дьяволов.

Я чувствовала, как ненависть, подобно приливу, поднимается и рвется из сотен поток, и те, кто прежде был настроен достаточно мирно, тоже ею заразились. Одна супружеская пара, которая пять минут тому назад спокойно шла к аббатству, так же как и я со своими племянниками, теперь потрясала кулаками, лица супругов были искажены, и они в ярости вопили: «Скупщики!.. Вытащите их оттуда и подайте нам!.. Скупщики!..»

А потом, когда толпа снова всколыхнулась и притиснула нас к монастырю, раздался крик:

– Драгуны!.. Здесь драгуны!..

Послышался топот приближающихся всадников и резкий голос офицера, подающего команду. Через минуту они были среди нас, все бросились врассыпную, и меня спасло только то, что между мной и приближающимися лошадьми совершенно случайно оказалась плотная фигура какого-то мужчины. Он каким-то образом оттеснил меня в безопасное место, но я чувствовала запах лошадиного пота и видела поднятую саблю драгуна, надвигавшегося на людей, а женщина, которая только что выкрикивала какие-то угрозы впереди меня, упала на землю вниз лицом. Я никогда не забуду, как дико она закричала, как пронзительно заржала лошадь, поднявшись на дыбы, и как потом копыта опустились ей на голову.

Люди расступились, оставив драгун в середине, и я увидела у себя на платье кровь, кровь этой несчастной. Я пошла, с трудом передвигая ноги, плохо соображая, куда иду, к дверям дома Эдме, совсем рядом с аббатством, постучала и не получила никакого ответа. Я продолжала стучать, звать и плакать, и наконец наверху, в верхнем этаже, открылось окно и показалось лицо мужчины, белое от страха.

Он смотрел на меня, не узнавая. Это был мой зять, мсье Помар, он сразу же снова закрыл окно, оставив меня колотиться в дверь.

Вопли толпы, крики драгун, звон у меня в ушах – все это слилось в единый звук, а потом вдруг наступила темнота, и я упала на пороге дома Эдме и не почувствовала, как спустя какое-то время чьи-то руки подняли меня и внесли в дом.

Открыв глаза, я обнаружила, что лежу на узкой кровати в маленькой гостиной – я узнала, это была гостиная сестры, – а перед кроватью на коленях стоит Эдме. Вид у нее был престранный: платье покрыто пылью и разорвано, лицо грязное, а волосы растрепаны; но еще более странно было то, что через плечо у нее была повязана трехцветная лента. Интуиция подсказала мне, что это означает: она тоже была в толпе, только не просто как посторонний свидетель... Я закрыла глаза.

– Да, это правда. – Сказала Эдме, словно прочитав мои мысли. – Я была там, я была одной из них. Ты этого не поймешь, не поймешь этого порыва. Ты не патриотка.

Я не понимала ничего, кроме того, что я женщина, которой скоро рожать, что я ношу ребенка и он может родиться мертвым, как ребенок Кэти, и что я сама едва избежала смерти, потому что попала в самую гущу орущей толпы, которая сама не понимает, что происходит и зачем она кричит.

– Твой муж, Эдме, – сказала я. – Это о нем они кричат?

Сестра презрительно рассмеялась.

– Он думает, что о нем, – ответила она. – Потому и заперся наверху и не хотел тебя впускать. Слава богу, что я нашла тебя и заставила его спуститься и помочь мне внести тебя в дом. Но теперь уж конец. У нас с ним все кончено.

– Что ты хочешь этим сказать?

Эдме поднялась с колен и стояла в изножье кровати, скрестив на груди руки, и я подумала, что она вдруг из девушки превратилась во взрослую женщину, – женщину, которая считает себя вправе судить своего мужа, хотя он старше ее на двадцать пять лет.

– У меня есть доказательства – в последние месяцы я окончательно в этом убедилась, – что он составил себе состояние, присваивая определенный процент пошлин и налогов. Год тому назад это было мне безразлично, но теперь – нет. За последние три месяца

мир изменился. Я не хочу, чтобы на меня показывали пальцем как на жену сборщика налогов, вот почему я была с ними. Я возвращалась домой и попала в толпу, не могла выбраться. И я этому рада, мое место с ними, с народом, а не здесь, в этом доме, где живут чьей-то милостью и под чьим-то покровительством.

Она с отвращением огляделась вокруг, и я задала себе вопрос: чем вызвано это отвращение в большей степени, порывом ли патриотизма или же тем, что ее муж – старик.

– А что было бы, если бы они сломали дверь и ворвались в дом? – спросила я. – Что бы ты тогда стала делать?

Сестра уклонилась от ответа, совершенно так же, как это сделал бы Робер.

– Толпа, и я вместе с ней, хотела попасть в аббатство, – ответила она. – Разве ты не слышала, как выкрикивали имя Бенара?

– Бенара? – повторила я.

– Кюре из Ноана, это приход возле Баллона, где вчера прятались скупщики зерна, – объяснила она. – Ты, наверное, слышала, что их убили, – впрочем, так им и надо. Этот кюре, который вместе с ними обманывал людей, узнав, что случилось с Кюро и Монтессоном, бежал сюда, к своим друзьям монахам. Ну что же, сегодня драгуны спасли ему жизнь, но мы до него еще доберемся.

Год тому назад Эдме, моя легкомысленная, хотя и ученая сестричка, была невестой, так же как и я, и ее голова была занята исключительно приданым и тем, как она будет выглядеть в обществе почтенных буржуа. А теперь она была революционеркой, еще более яркой, чем Пьер, она собиралась уйти от мужа из-за того, что не одобряла его занятия, и желала смерти сельскому священнику, с которым даже не была знакома...

Внезапно на ее лице появилось озабоченное выражение, и она подозрительно взглянула на меня.

– Я еще не спросила, что ты делаешь в Ле-Мане.

Я коротко рассказала Эдме о том, что в прошлую субботу у нас появились Робер с Жаком, что мы ездили в Сен-Кристоф, а сейчас живем у Пьера, ожидая возможности вернуться в Шен-Бидо. Лицо Эдме прояснилось.

– Начиная с четырнадцатого июля ни о ком нельзя сказать наверняка, патриот он или шпион, – сказала она. – Даже

родственники, члены одной и той же семьи, лгут друг другу. Я рада, что Робер – один из нас; из того, что было известно о его жизни в Париже, можно было сделать и другое, противоположное заключение. Как хорошо, что за Мишеля и твоего мужа можно не беспокоиться. После вчерашнего дня ни того, ни другого нельзя обвинить в том, что они предатели нации.

Я оставалась в постели, ощутив вдруг, как я ужасно устала и измучена, и едва слышала, что она говорит. Вскоре раздался стук в дверь. Это пришли Робер и Пьер, которым испуганные мальчики сообщили о том, какой опасности я подвергалась. Муж Эдме оставался наверху, и хотя я слышала, как эти трое, шепотом переговариваясь между собой, несколько раз упомянули его имя, ни один из братьев не поднялся наверх, чтобы с ним поговорить.

На улице возле дома ожидал фиакр, и когда я достаточно оправилась и уже в состоянии была двигаться, они помогли мне дойти до экипажа и мы поехали к Пьеру, потому что я предпочитала находиться там, несмотря на шум и беспорядок, а не здесь, у Эдме, где царил атмосфера злобы и подозрительности.

Братья не задавали мне никаких вопросов. Они так перепугались, представив себе, что со мной могло произойти в этой толпе, что решили не утомлять меня расспросами, и как только мы благополучно добрались до дома Пьера, я сразу же поднялась в детскую и легла.

Лежа в постели, я еще раз мысленно представила себе все жуткие события этого дня, то, как я чудом избежала смерти. Меня охватила острая тоска по своему дому, по мужу. Я гадала, дома ли Франсуа и Мишель или в дозоре, и вдруг, словно молния, в мозгу сверкнули слова Эдме: «После вчерашнего никому не придет в голову упрекнуть их в предательстве».

Вчера, значит, двадцать третьего июля, это тот самый день, когда в Беллоне были убиты серебряных дел мастер Кюро и его зять Монтессон, а тех, кого обвиняли в убийстве, если верить последним слухам, полученным в ратуше, науськивали бродяги из леса. Из какого леса? Тут только я вспомнила сообщение, одно из многих, которые мы слышали в среду, в день нашего приезда, что бандитов разогнали, но что всю округу от Ферт-Бернара до Ле-Мана терроризируют мародеры из лесов Монмирайля.

Глава одиннадцатая

Робер отвез меня домой в воскресенье, двадцать шестого июля. Мы ехали через Кудресье, мимо нашего старого дома в Ла-Пьере, а потом через леса Вибрейе, но на сей раз, хотя мы по дороге разговаривали со встречными людьми, бандитов никто не видел. Они исчезли; как нам говорили, они откатились дальше на юг, к Туру, или на запад, в сторону Ла-Флеш и Анжера, предавая огню и разграблению все, что встречалось им на пути. Впрочем, никто не мог сказать наверняка, чьи земли пострадали, чей дом или имение были разграблены и уничтожены, – все это были только слухи, слухи и слухи, так же, как и всегда.

Когда мы приехали в Шен-Бидо, там все было спокойно. Поселок имел заброшенный вид, словно во время нашего отсутствия завод вообще не работал. Трубы не дымили, склады и сараи были на запоре; окна господского дома закрыты ставнями, никаких признаков жизни. Мы обошли дом сзади и стали стучаться в дверь черного хода, и через некоторое время услышали, как в кухне открылись ставни, и в щелку выпянула мадам Верделе, бледная как смерть. Увидев нас, она вскрикнула, подбежала к двери, открыла ее и бросилась мне на шею, заливаясь слезами.

– Они говорили, что вы больше не вернетесь, – рыдала она, схватив мою руку и крепко сжимая ее. – Что вы останетесь у мадам в Сен-Кристофе, пока не прекратятся беспорядки, возможно, на несколько недель, до самых родов. Слава Пресвятой Деве и всем святым, что с вами все благополучно.

Я вошла в дом и огляделась. Если не считать кухни – владений мадам Верделе, – в доме царила нежилая атмосфера, воздух в комнатах застоялся и было душно; судя по виду большой гостиной – это была самая главная комната в доме, – на креслах никто не сидел с самого нашего отъезда.

– Кто вам сказал, что я не вернусь? – спросила я.

– Мсье Мишель и мсье Франсуа. В тот день, когда вы уехали, они велели мне закрыть ставни и запереть двери на случай, если нападут разбойники. К счастью, у меня было достаточно еды, так что мне

хватило. Они оставили несколько человек охранять стекловарню, но женщинам тоже было велено запереться и сидеть дома, по крайней мере не высовывать носа за ворота завода.

Я взглянула на Робера. Лицо его оставалось бесстрастным, но он стал ходить по комнате, открывать окна и ставни, так что в комнату ворвались свет и свежий воздух.

– Теперь все это кончилось, – сказал он. – Разбойники отошли на юг. Нас они больше не будут беспокоить.

Я, однако, не была в этом уверена. Разбойников я больше не боялась, я боялась чего-то худшего, но не могла этого объяснить мадам Верделе.

– А где теперь мсье Мишель и мсье Франсуа? – спросила я.

– Не знаю, мамзель Софи, – ответила она. – Всю эту неделю они были в лесах, патрулировали дороги вместе с другими мужчинами. Наши сторожа говорили, что возле Ферт-Бернара и еще дальше на запад, в Боннетабле, были настоящие сражения, так может быть, наши люди тоже там сражались. Никто этого не знает.

Она снова готова была заплакать, и я отвела ее в кухню, успокоила и помогла готовить для нас еду. А потом, вспомнив свой долг и подумав о том, что сделала бы на моем месте матушка, я с тяжелым сердцем отправилась через заводской двор к жилищам рабочих, чтобы навестить их семьи.

Некоторые женщины видели, как мы приехали, и теперь высыпали из своих домишек, такие же испуганные и взволнованные, как мадам Верделе, чтобы поздороваться со мной. Единственное, что я могла сделать, это повторить успокоительные слова Робера: разбойники разбежались, самое скверное уже позади и из Ле-Мана мы добрались благополучно, не встретив по дороге никаких препятствий.

– Если опасность миновала, почему не возвращаются наши мужчины? – спросила одна из них.

Все остальные подхватили:

– Где наши мужья? Что они делают?

Я не могла ответить на эти вопросы. Я могла только сказать, что они все еще патрулируют в лесах или, возможно, помогают Гражданской милиции в Ферт-Бернаре, если там действительно идут сражения.

Мадам Делаланд, жена одного из наших старших мастеров, стояла и смотрела на меня, скрестив руки на груди.

– Это правда, – спросила она, – что в Баллоне убили двух предателей?

– О предателях я ничего не знаю, – осторожно ответила я. – В четверг были убиты двое почтенных граждан Ле-Мана. Больше я ничего сказать не могу.

– Скупщики зерна, – отрезала она, – аристократы, так им и надо. Это из-за них мы голодали всю зиму. Их надо не просто убивать, а рвать на куски, всех до одного.

Эти слова были встречены всеобщим одобрением, женщины переговаривались, качали головами, а одна из них выкрикнула, что муж перед уходом рассказал ей о заговоре: аристократы по всей стране сговорились убить всех бедных людей. Об этом говорит весь Париж, а теперь дошло и до нас.

Вот почему мсье Бюссон Шалуар и мсье Дюваль отправились сражаться с аристократами.

– Верно, – сказала мадам Делаланд. – Мой Андре говорил мне то же самое. Но король на нашей стороне, и герцог Орлеанский тоже, и они обещали, что теперь все будет принадлежать народу, а у аристократов не будет ничего. Если мы захотим, то можем отобрать у них замки и особняки.

Эта идея показалась мне столь же маловероятной, как и слух о появлении в наших краях шести тысяч разбойников или убийство всех бедняков во Франции.

– Скоро мы узнаем правду о том, что действительно происходит в Париже, – сказала я. – А пока, независимо от того, вернулись наши мужчины или нет, мы прежде всего должны думать об урожае. Хлеба на наших полях созрели, и мы можем начать жатву завтра же. Чем больше мы соберем, тем меньше опасность, что зимой нам снова придется голодать. Женщины одобрительно загудели, и я смогла вернуться домой, положив конец разговорам о том, чтобы сражаться с аристократами или захватывать их имения и замки, что, возможно, встретило бы одобрение Эдме, но мне казалось столь же бессмысленным и неосуществимым, как если бы мы все отправились в Версаль и стали бы просить хлеба у самой королевы.

Когда я вернулась, Робер разговаривал с дозорными, которые, наконец, появились. Они вышли из стекловарни, где, как я полагаю, скорее всего спали. Их было не менее десятка: истопники Мушах и Берье, Дюкло, один из наших гравировщиков, который все равно уже несколько месяцев болел; помощник флюсовщика Казар и другие, простые рабочие и подмастерья.

Печь не топилась, поскольку так распорядился Мишель, и никакой работы на заводе не было. Они понятия не имеют, куда делись остальные мастера и рабочие. Они могут быть либо в Ферт-Бернаре, либо в Отоне. Возможно, они сражаются с разбойниками, а может быть и с аристократами, трудно сказать наверняка. Мы с Робером вернулись в дом и сели за ужин, который приготовила нам мадам Верделе.

– Может, ты все-таки знаешь, – спросила я у брата, – где сейчас Франсуа и Мишель?

Робер был слишком занят едой и ответил мне не сразу. Когда он, наконец, это сделал, у него был иронический, насмешливый вид, который я так хорошо знала.

– Нет никаких оснований полагать, что с ними что-нибудь случилось, – ответил он. – Если они действовали по инструкции, то несут охранную службу в лесах, держась в стороне от городов.

– Инструкции? Какие инструкции?

Робер проговорился, и понял это. Он пожал плечами и продолжал есть.

– Правильнее было бы сказать «совет» – поправился он, помолчав минуту. – Все это было решено еще до нашего отъезда в Сен-Кристоф. С разбойниками, наступающими с севера из Парижа, гораздо легче справиться в лесу, – где они могут заблудиться и потерять друг с другом связь, – чем на дорогах.

– Если вообще существуют разбойники, с которыми нужно справляться, – заметила я.

Он налил себе еще вина и посмотрел на меня поверх своего бокала.

– Ты же слышала, что говорили, так же как и мы все, – сказал он. – Разбойников видели в Дрё, в Веллеме, в Шартре. Самое меньшее, что можно было сделать, это предупредить об опасности народ.

Я отодвинула от себя тарелку, вдруг почувствовав тошноту – и от пищи, и от всего, что мне пришлось пережить; вдруг, неизвестно почему, мне снова представилась несчастная женщина, которая попала под копыта лошадей возле Сен-Винсентского аббатства, в ушах прозвучал ее пронзительный крик.

– Ты сам привез этот слух из Парижа, когда приехал сюда в дилижансе, – сказала я. – Ты, и никто другой.

Он вытер салфеткой рот и пристально посмотрел на меня.

– Дилижанс, в котором я ехал с Жаком, был не единственным, – сказал он. – В субботу утром, когда мы уезжали, на конечной станции на улице Белле стояло не меньше десятка, они выезжали из столицы по разным направлениям. Там, в конторе дилижансов, только и разговоров было что о разбойниках, которые могут встретиться нам по пути.

– Я тебе не верю, – сказала я. – А в других дилижансах, наверное, тоже были агенты вроде тебя, которым хорошо заплатили, либо герцог Орлеанский, либо Лакло или еще кто-нибудь, чтобы они распространяли эти слухи, вызывая у населения тем самым страх и панику.

Робер улыбнулся. Он снова взял нож и вилку, которые до того положил на стол.

– Дорогая сестренка, – ласково сказал он, – путешествие настолько тебя утомило, что ты сама не знаешь, что говоришь. Мне кажется, тебе нужно лечь в постель и как следует выспаться. Сон рассеет все твои страхи.

– Я никуда не пойду, пока ты не скажешь мне всей правды, – отвечала я. – По какой такой инструкции Франсуа и Мишель собрали рабочих и повели их в лес?

Он ничего не ответил. Я смотрела на него, пока он доедал то, что у него было на тарелке, а потом мы молча сидели за столом. Было тихо, кроме тиканья больших старых часов на комодке не было слышно ни одного звука, и это заставило меня мысленно вернуться назад, во времена нашего детства в Ла-Пьере, когда во главе стола сидел отец, напротив него мать, справа три брата, а слева мы с Эдме, ожидая, когда отец позволит нам разговаривать.

– Даже если бы я признал – чего я не делаю, – что мне заплатили, как ты говоришь, за то, чтобы я распространял слухи, вызывающие

волнения в народе, ты совершенно не способна была бы понять смысла и причины этих действий. Ни одна женщина на это не способна.

– Продолжай, – сказала я ему.

Он встал и принялся мерить шагами комнату. Было такое впечатление, что в его душе происходит борьба, что он пытается выпустить на свободу что-то, что слишком долго, с самого юного возраста копилось у него в душе и не находило выхода.

– Всю свою жизнь, – начал он говорить, – я стремился вырваться отсюда. О нет, не из Шен-Бидо, не из какой-то конкретной стекловарни – в конце концов, когда я был здесь управляющим, то делал все, что хотел, – но вообще из этого окружения, из замкнутого пространства стекловарни, любой стекловарни. Один только раз, в Ружемоне, мне казалось, что мне это удалось. Помнишь, как вы с отцом и матушкой приезжали туда к нам в гости? Это был день моего торжества, мне казалось, что для меня нет ничего недоступного. А потом наступил крах, после этого были и другие неудачи. Ты, конечно, скажешь, так же как сказал бы наш отец, что виноват только я один; но я не могу с этим согласиться. В моих неудачах виновато прежде всего общество, а потом уже я сам. Кевремон Деламот в Вильнёв-Сен-Жорж, Комон и другие, например маркиз де Виши, который обещал мне тридцать тысяч ливров и не исполнил своего обещания, – вот кто помешал мне добиться успеха, вот почему я этого не сделал, по крайней мере пока.

Он перестал шагать, остановился и стоял, глядя на меня через стол.

– А теперь настало время, когда я могу отомстить за все, – продолжал он. – Впрочем, месть это слишком сильное слово. Скажем так: встретиться наконец на равных. То, что произошло в последние месяцы, начиная с мая, и в особенности в последние недели, коренным образом изменило все общество. Я не могу тебе сказать, да и никто не может, что несет с собой будущее, куда теперь подует ветер. Но для человека, который хочет использовать благоприятный момент и знает, как это сделать, – а таких как я у нас сотни и тысячи – час настал. Мне безразлично, так же как и всем остальным, таким как я, какие произойдут катаклизмы. Если мы можем извлечь из них пользу, все остальное не имеет ровно никакого значения.

Снова, как в тот день, когда мы ехали в Сен-Кристоф, он выглядел молодым: было ясно, что ему сорок лет, однако в его лице появилось и другое: он походил на человека, который поставил на кон все, что у него было, решив рискнуть напоследок, а там – будь что будет. Но если он проиграет, он уж позаботится о том, чтобы вместе с ним пострадали и другие.

– Неужели на тебя так подействовала смерть Кэти? – спросила я его.

– Оставь Кэти в покое. Эти воспоминания давно умерли и похоронены.

В этот момент брат вдруг показался мне таким одиноким, таким ранимым. Мне стало безумно жаль его, захотелось подойти к нему и обнять, но он внезапно рассмеялся, снова надев свою маску легкомыслия и веселости.

– До чего мы стали серьезными! – воскликнул он. – Вместо того чтобы радоваться – ведь в мире с каждым днем становится все интереснее, разве не так? Вот посмотришь, что у нас будет через несколько месяцев. Иди-ка ты лучше спать, Софи.

Это было предупреждение: не следовало давать волю чувствам, и я это поняла. Я поцеловала его и пошла наверх спать, а на следующее утро мы оба поднялись ни свет ни заря и отправились со всеми вместе в поля. Робер, сняв сюртук и засучив рукава, подбирал колосья, складывал снопы в скирды, словно всю жизнь только этим и занимался, смеялся и шутил, отбросив в сторону свой важный вид и обычную манерность. Мне трудно было следовать его примеру, поскольку у нас до сих пор не было никаких сведений о Франсуа и Мишеле, за весь этот долгий день мы не встретили ни одного чужого человека и не слышали никаких новостей.

В тот вечер я рано отправилась спать, так же как и Робер, ведь оба мы страшно устали после целого дня работы в поле. Я проснулась среди ночи, где-то между тремя и четырьмя, когда в комнату только-только начинают заползать бледные предрассветные сумерки. Меня разбудил какой-то звук, какое-то движение. Я не могла определить, что это было, однако инстинкт подсказал: они вернулись.

Я встала с постели и пошла в бывшую комнату Пьера, откуда был виден заводской двор перед стекловарней; все они были там, человек тридцать-сорок, они двигались словно призраки в сером сумеречном

свете и говорили шепотом, как если бы до сих пор находились в лесу, в засаде, подстерегая противника. Иногда вдруг слышался смех – так смеются мальчишки, когда им удается кого-то проведи. Задняя дверь стекловарни была открыта, и они сновали взад-вперед с тяжелыми мешками на плечах.

Я слышала шаги Робера в коридоре рядом с комнатой Пьера, слышала, как он спустился по лестнице, значит, он тоже проснулся; через минуту он отпер входную дверь и вышел во двор. Тут я вернулась назад к себе в комнату, в наивной уверенности, что через минуту-другую ко мне придет Франсуа, страшно обеспокоенный тем, как я себя чувствую и что со мной происходит. Я намеревалась встретить его достаточно холодно, чтобы ему стало стыдно. Однако прошло полчаса, а он все не являлся.

Но потом беспокойство и волнение победили мою гордость, и я, накинув капот, подошла к лестнице послушать, что происходит. Из большой гостиной слышались голоса; очень громко, как всегда, когда он волновался, говорил Мишель, потом засмеялся Робер. Я спустилась вниз и открыла дверь.

Первое, что я увидела, был Франсуа, который лежал на полу на подушках. Робер и Мишель сидели рядом с ним в креслах, у Мишеля на голове была повязка. Я сразу же подбежала к мужу и опустилась возле него на колени, чтобы посмотреть, куда он ранен. Глаза у него были закрыты, но я не заметила ни следов крови, ни повязки.

– Что случилось? Куда он ранен? – спросила я у братьев. К моему великому удивлению и негодованию они не проявляли ни малейшего беспокойства, и Робер, посмотрев на Мишеля, соорудил насмешливую гримасу.

– Н-ничего не случилось, – сказал Мишель. – П-просто он пьян, вот и все.

Я снова посмотрела на мужа. Никогда, за все время, что мы были знакомы, не видела я его в таком состоянии, однако поняла, что они правы, как только почувствовала его дыхание: от него разило спиртным. Франсуа был мертвецки пьян.

– Пусть лежит, – сказал Робер. – Ничего страшного, он скоро проспится.

Потом я обратила внимание на стол, который они оттащили к стене; он был завален разнообразными предметами, начиная от

съестного и кончая домашними вещами. На обитом атласом стуле валялся огромный окорок, мешки с мукой были завернуты в парчовые портьеры, столовое серебро валялось рядом с брусками соли и банками с маринадами и вареньем.

Они смотрели на меня и ждали, что я скажу. Я знала, что если подождать, Мишель не выдержит и заговорит сам.

– Ну и что? – сказал он. – Что ты на это скажешь?

Я подошла к столу и потрогала портьеры. Мне вспомнились очень похожие, те, что висели в большом зале в Ла-Пьере.

– Что тут говорить? – в свою очередь спросила я. – Не в лесу же вы все это нашли, верно? Вот и все. Если вы решили закрыть завод и добывать себе пропитание подобным образом, это ваше дело, а не мое. Но в следующий раз, когда вам вздумается сражаться с разбойниками, моего мужа оставьте в покое.

Я повернулась, чтобы снова подняться к себе в комнату, но меня остановил Мишель.

– Н-не обманывай себя, Софи, – сказал он. – Уверю тебя, Франсуа совсем не нужно было уговаривать. А то, что ты видишь здесь на столе, это сущая ерунда. Все наши склады и сараи забиты доверху. Могу сказать тебе только одно: ни я, ни Франсуа не намерены терпеть то, что нам пришлось пережить в прошлую зиму. Это уж точно.

– Вам и не придется, – ответила я. – Если то, что говорит Робер, правда, весь мир изменился. За первым же углом вас ожидает рай. А теперь, если это вас не затруднит, перенесите, пожалуйста, Франсуа на кровать. Только не ко мне, а в комнату Пьера.

Я вышла, не посмотрев на них, и когда закрыла дверь к себе в комнату, услышала, как они волочили Франсуа вверх по лестнице. Он отбивался, говорил какие-то глупости, как это обычно делают пьяные, а братья пытались его унять и смеялись при этом.

Я снова легла в постель, наблюдая за тем, как разгорается день, а потом, когда после предутреннего затишья проснулись и зашевелились птицы, услышала, как просыпается вся ферма, расположенная за господским домом: лаяли собаки, мычали коровы, ожидая утренней дойки, – словом все привычные звуки, возвещающие начало очередного летнего дня.

Это было странное чувство: лежать здесь, в матушкиной комнате, в комнате, которую она делила с нашим отцом и которую она уступила мне сразу же после нашей свадьбы, считая, что мы с Франсуа, по-своему, конечно, будем следовать тем же самым путем. И вот теперь, в течение одной ночи – а может быть, это готовилось гораздо дольше, всем тем, что произошло за эти несколько недель, начиная со смерти Кэти и бунтов в Париже, включая страшную долгую зиму, которая затмила все остальное? Теперь (я знала совершенно точно) между сегодняшним днем и всем, что было раньше, лежит огромная пропасть.

Мои братья, муж, даже Эдме, моя маленькая сестренка, принадлежат нынешнему времени, они ожидали его, приветствуя перемены как нечто такое, формированию чего они способствовали, как если бы выдували сосуд из стекла, придавая ему желаемую форму. То, чему их учили с детства, больше не имело для них никакого значения. Все это отошло в прошлое, и с ним было покончено навсегда; значение имело только будущее, оно должно быть иным, во всех отношениях отличаться от известного ранее. Почему же я от них отстаю? Почему у меня не лежит к этому душа? Я думала о зиме, о том, как страдали мы сами и наши рабочие с семьями, и понимала, что имел в виду Мишель, когда говорил, что это никогда не должно повториться; и все-таки во мне все сопротивлялось, когда я думала о том, что он сделал.

Я себя не обманывала. Вещи, которые лежали внизу на столе в большой гостиной, – краденые, они украдены, по всей вероятности, из шато Нуан, где скрывались несчастные серебряник Кюро и его зять, прежде чем их вытащили из дома и поволокли в Баллон навстречу смерти. Чего я не знала и вероятно никогда не узнаю, это принимали ли мой брат и муж участие в расправе над ними.

Я наконец уснула, оттого что все внутри у меня онемело, а когда проснулась, рядом со мной был Франсуа, он умолял простить его, ему было так стыдно за вчерашнее, за то, что он напился, и мне ничего не оставалось – только обнять его и утешить.

Я не собиралась его расспрашивать, но он сам охотно все рассказал, ему, наверное, очень хотелось избавиться от необходимости скрывать что-то от меня. Я угадала правильно: они были в Нуане. Их патруль вышел далеко за пределы установленных для него границ,

подгоняемый слухами о заговоре аристократов. Весь район к югу от Мамера, вплоть до самого Баллона и Боннетабля, был охвачен паникой, причем никто толком не знал, что это за слухи, – кто-то им сказал, что в лесу рыщут разбойники, переодетые монахами, – та же старая история, что мы слышали в дороге.

– Когда Мишель услышал про этих вооруженных монахов, которые врываются в деревни и пугают людей, – рассказывал Франсуа, – он просто обезумел. Нам было известно, что кюре Бенар из Нуана – скупщик зерна и что он поехал в Париж за оружием и боеприпасами, чтобы привезти все это в шато и потом использовать против своих же прихожан. Толпа уже ворвалась в дом, они схватили Кюро и его зятя в качестве заложников. Мы за ними не пошли.

– А ты знаешь, что с ними случилось потом? – спросила я.

Франсуа помолчал.

– Да, – сказал он наконец. – Да, мы слышали. Потом, приподнявшись на локте и склонившись надо мной, он сказал:

– Мы не принимали никакого участия в убийстве. Эти люди словно лишились рассудка. Им нужна была жертва. Здесь нельзя винить никого в отдельности, их всех охватило какое-то безумие, словно мгновенно распространившаяся зараза.

Точно такое же безумие охватило толпу возле Сен-Винсентского аббатства, и в результате там под копытами лошадей погибла женщина. В его власти оказалась и моя сестра Эдме, охваченная им, она забыла своего мужа, свой дом.

– Франсуа, – сказала я, – если так пойдет дальше, и начнутся грабежи и убийства, и можно будет отнимать у человека жизнь и имущество, то наступит конец закону и порядку и мы вернемся к варварству. Неужели это и есть построение нового общества, о котором толкует Пьер?

– Это одно из условий достижения цели, – ответил он. – Во всяком случае, так говорит Мишель. Прежде, чем что-нибудь построить, нужно разрушить старое, по крайней мере, расчистить место. Те люди, Софи, которых... которые погибли в Баллоне, они же устраивали заговоры против народа. Они бы, не задумываясь, всех перестреляли, если бы только у них в шато было оружие. Они заслужили смерть, их надо было убить в назидание другим, в качестве

примера. Мишель нам все это объяснил, ведь наши люди тоже задавали ему вопросы.

Мишель сказал... Мишель объяснил... Все было, как прежде. Мой муж шел за своим другом, за своим вождем.

– Значит, вы взяли в шато все, что хотели, и вернулись домой? – спросила я.

– Можно сказать и так, – ответил он. – Мишель говорит, что человек, который голодал и мерз целую зиму, имеет право получить за это компенсацию. И люди, конечно, против этого не возражали, как ты можешь себе представить. Четыре ночи подряд мы ночевали в лесу, ожидая, чтобы все успокоилось. Еды и питья, как видишь, у нас было достаточно. Тогда-то я...

– ...и напился, чтобы успокоить свою совесть, – закончила я за него.

Потом мы еще немного полежали, не говоря ни слова. В течение этой недели, с того момента как мы расстались, каждый из нас проделал огромный путь, скорее даже не по расстоянию, а по времени. Если это новое общество действительно такое, к нему нелегко будет приспособиться.

– Не будь ко мне слишком суровой, – вдруг сказал он. – Я не знаю, как это случилось. Мы развели костер в лесу, пили и ели, мы с Мишелем все время находились рядом с людьми. Это было очень странное чувство – только мы, все остальное не имело никакого значения, у нас не было мыслей о вчерашнем дне, не думали мы и о завтрашнем. Мишель все повторял: «Это все в прошлом... это все в прошлом... Старое ушло навсегда. Страна принадлежит нам». Я уже говорил тебе, нас охватило безумие...

Потом муж заснул, положив голову на мою согнутую руку, а позднее, когда он снова проснулся и мы оделись и сошли вниз, в гостиной все было чисто и прибрано, стол по-прежнему стоял посередине комнаты, и единственным изменением стало то, что за обедом у нас на столе было великолепное серебро: вилки и ножи с монограммами и серебряная сахарница.

– Интересно, – сказала я мадам Верделе, чтобы испытать ее, – что сказала бы матушка, если бы видела все это.

Мы стояли возле буфета в кухне, рассматривая остальное серебро, аккуратно разложенное и расставленное на полках. Мадам

Верделе взяла в руки огромный подсвечник, подышала на него, потерла, чтобы он блестел, и снова поставила на место.

– Она бы сделала то же, что и я, – ответила она. – Приняла бы за благо этот дар и не стала бы задавать вопросов. Как говорит мсье Мишель, человек, который обладает такими сокровищами и морит голодом тех, кто на него работает, заслуживает, чтобы у него все отобрали.

Это удобная философия, но я не была уверена, что отобранным должны воспользоваться мы. Знаю только одно: по мере того как шло время, я начала привыкать к виду серебра с монограммами на нашем столе, а через неделю сама помогала мадам Верделе укорачивать парчовые портьеры, чтобы их можно было повесить у нас в гостиной, где окна не такие высокие, как в шато.

О разбойниках больше разговора не было. Великий Страх, который прокатился по всей Франции после взятия Бастилии, захватил нас тоже, рассеялся и канул в вечность. Рожденная слухами, подхваченная нашими собственными страхами паника возникла мгновенно и так же быстро исчезла, наложив, однако, неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь.

В каждом из нас проснулось что-то, о чем мы и не подозревали: смутные мечты, желания и сомнения, пробужденные к жизни этими самыми слухами, пустили корни и расцвели пышным цветом. Всех изменило это время, никто не остался прежним. Робер, Мишель, Франсуа, Эдме, я сама – все как-то незаметно переменились. Слухи, верные или ложные, раскрыли, обнажили, подняли на поверхность то, что прежде было скрыто, таилось в глубине, – наши страхи и надежды, которые отныне будут составлять часть нашей повседневной жизни.

Единственный из нас, кто радовался от души, кого не тронули, не испортили текущие события, был Пьер. Это он на второй неделе августа рассказал нам о великом решении, принятом в ночь на четвертое Национальным Собранием в Париже. В Ле-Мане эту новость услышали двумя днями раньше, и он воспользовался первой же возможностью для того, чтобы приехать к нам верхом на лошади и сообщить об этом. Виконт де Ноайль, шурина генерала Лафайета, представлявший аристократов, которые придерживались прогрессивных взглядов, выдвинул предложение, адресованное всему Собранию, согласно которому отменяются все феодальные права и все

люди объявляются равными, независимо от рождения и положения. Все титулы должны быть отменены, и каждый человек сможет молиться Богу так, как он того пожелает, что же касается привилегий, то они должны быть отменены навечно.

Все члены Собрания поднялись на ноги, как один человек, чтобы приветствовать предложение депутата. Многие плакали. Те депутаты от аристократии, которые разделяли взгляды Ноайля, поднимались один за другим и приносили торжественную клятву, отказываясь от прав, которыми они пользовались на протяжении веков. По словам Пьера, там, в Версале, вдруг случилось чудо: всё Собрание, все, кто там собрались, оказались под влиянием какого-то волшебства – аристократия, духовенство, Третье сословие вдруг слились в одно целое.

– Наступил конец несправедливости и тирании, – говорил Пьер. – Это начало новой Франции.

Я помню, как он стоял в нашей большой гостиной, рассказывая нам эти новости, и вдруг разразился слезами – Пьер, которого я никогда не видела плачущим, он плакал только один раз, ребенком, когда погиб наш котенок, – и через мгновение мы все плакали, смеялись и обнимали друг друга. Из кухни пришла мадам Верделе, пришла ее племянница, которая помогала ей по хозяйству. Мишель выскочил из комнаты и помчался на заводской двор звонить в колокол, чтобы собрать всех рабочих и сообщить им, что отныне он и Франсуа, Робер и Пьер и все они – братья.

– С-старым законам к-конец! – кричал он. – Все люди равны. Всё обновилось и родилось заново.

Ничего подобного мы не испытывали с самого Троицына дня. Мы были счастливы, мы стремились к добру, казалось, что сам Господь возложил свою руку на каждого из нас. Робер, взволнованный, с блестящими от волнения глазами, говорил, что за всем этим стоит герцог Орлеанский, ведь сам виконт де Ноайль никогда бы до этого не додумался.

– Да кроме того, – добавил он мне на ухо, у де Ноайля и отдавать-то нечего, у него ничего нет, и он по уши в долгах. Вот если бы вместе с привилегиями были отменены все долги, тогда действительно наступил бы Золотой век.

Он уже строил планы возвращения в Ле-Ман вместе с Пьером, с тем чтобы на следующий же день сесть в дилижанс, отправляющийся в Париж.

Заводской колокол продолжал звонить, на сей раз, слава богу, это был не набат, а радостный перезвон. Рабочие вместе с женами и детьми потянулись в дом, сначала робко, а потом смелее, мы радостно встречали их, пожимали им руки. Угощения у нас никакого не было, но вином удалось оделить всех, и вскоре детишки, позабыв свою робость, с веселыми криками гонялись друг за другом по заводскому двору.

– Сегодня в-все разрешается, – сказал Мишель. – Власть взрослых отменяется вместе с феодальными правами.

Я видела, как Франсуа посмотрел на него с улыбкой, и в первый раз не ощутила ревности. Перст Божий коснулся и меня тоже.

О неделях, которые за этим последовали, у меня не сохранилось особых воспоминаний. Помню только, что урожай мы убрали благополучно, стекловарня снова заработала, а Эдме приехала ко мне и была со мной, когда родился мой сын двадцать шестого сентября.

Это был прелестный малютка, как говорила Эдме, первый плод революции. Он принес нам добрые вести, и поэтому я назвала его Габриэлем. Он прожил всего две недели... К этому времени наше праздничное настроение уже прошло.

Часть третья

LES ETRANGES [\[33\]](#)

Глава двенадцатая

Мое горе не имеет отношения к этой истории. Многие женщины теряют первого ребенка. Моя матушка до моего рождения потеряла двоих в течение двух лет. Дважды это случилось с Кэти, третий ребенок унес ее собственную жизнь. Мужчины называют нас слабым полом. Однако нести в себе другую жизнь, как это делаем мы, чувствовать, как она растет, развивается и, наконец, выходит из тебя как оформленное живое существо, отделяется, оставаясь все равно частью тебя, а потом видеть, как она хиреет и угасает, – это требует немалой силы и душевной стойкости.

Мужчины держатся от этого в стороне, они беспомощны в таких делах, если они и пытаются что-то сделать, у них ничего не получается, словно они понимают – и это совершенно верно, – что в данном случае их роль с самого начала была второстепенной.

Если говорить о двух моих мужчинах, мастерах-стеклодувах, то я больше полагалась на своего брата Мишеля. Он обращался со мной с грубоватой нежностью, больше разбирался в практических делах – это он вынес из комнаты колыбельку моего сына, чтобы она не напоминала мне о нем.

Он также рассказал мне о своих детских страхах – я уже слышала эту историю от матушки – о том, как он боялся, что его маленький братец и сестричка умерли оттого, что он для забавы снимал с них одеяльце.

Франсуа был со мной слишком робок, и поэтому не мог стать мне утешением. Он ходил с таким убитым и смущенным видом, словно сам был виноват в смерти нашего малютки, и поэтому разговаривал шепотом и ходил по комнатам на цыпочках. Со мной он обращался чуть ли не подобострастно, и это выводило меня из себя. Он видел по моему лицу и слышал по тону моего голоса, что раздражает меня, – я ничего не могла с собой поделать, но это только еще больше удручало его, а я злилась еще больше. Я нисколько его не жалела и не подпускала к себе с полгода, а то и больше, а потом, когда уступила, это было – кто знает? – вероятно скорее от апатии, чем по склонности.

Говорят, что когда женщина теряет ребенка, ей все равно требуется полный срок для того, чтобы оправиться.

Тем временем Декларация прав человека сделала всех если не братьями, то равными, однако уже через неделю после принятия закона в Ле-Мане, а также в Париже начались беспорядки – ведь цены на хлеб не снизились, а безработица осталась прежней. В городах владельцев булочных обвиняли в том, что они слишком дорого берут за четырехфунтовую буханку хлеба, а те, в свою очередь, обвиняли торговцев зерном – словом все были виноваты, кроме тех, кто высказывал обвинения.

Жители Ле-Мана по-прежнему были разделены на два лагеря: одни считали, что убийцы серебряника Кюро и его зятя должны быть наказаны, другие же были за то, чтобы отпустить их на свободу, и в связи с этим тоже были волнения: одни выходили на улицу, вооружившись ножами и камнями, чтобы использовать их против Гражданской милиции, которая теперь называлась Национальной гвардией, и кричали: «Отпустите на свободу баллонцев!» Я так и не знаю, была ли среди них Эдме.

Сен-Винсентское аббатство было занято шартрскими драгунами, а что до мсье Помара, мужа Эдме, то его звание «сборщика налогов для монахов» было упразднено, так же как многие другие профессии и привилегии. Он уехал из города, но куда, мне неизвестно, поскольку Эдме с ним не поехала. В ее доме были расквартированы драгуны, и она перешла жить к Пьеру.

Муниципальные власти проявили твердость по отношению к баллонским убийцам, один из них был приговорен к смертной казни, а другого отправили на галеры. Третий, как мне кажется, сбежал. Таким образом анархия, которой опасался Пьер, была задушена. В те немногие разы, что я бывала в Ле-Мане, наше распрекрасное равенство было там не так уж заметно, разве что торговки на рынке стали вести себя более нахально, да еще некоторые из них, у кого нашелся для этого материал, украсили свои лавки трехцветными полотнищами.

В Париже тем временем прошел еще один штурм Бастилии, на этот раз без кровопролития. Толпа людей, наполовину состоящая из женщин, – рыбных торговок, как называл их Робер, сообщивший нам эти сведения, и я вспомнила мадам Марго, которая помогла мне при

родах Кэти в тот злополучный день, – отправилась пятого октября в Версаль и целую ночь простояла там во дворе, требуя, чтобы к ним вышли члены королевской семьи.

Их было не меньше тысячи, они готовы были все разгромить, и только благодаря вмешательству Лафайета и Национальной гвардии этот день не закончился катастрофой, а, наоборот, превратился в триумф.

Короля и королеву, вместе с двумя детьми и сестрой короля, мадам Элизабет, уговорили, можно сказать, заставили покинуть Версаль и сделать своей резиденцией дворец Тюильри в Париже, и процессия, которая шествовала из одного дворца в другой, представляла собой, как писал Робер, самое фантастическое зрелище, какое только можно себе вообразить.

Королевская карета, эскортируемая Лафайетом и национальными гвардейцами, набранными из разных районов Парижа, вышла из Версаля в сопровождении пестрой толпы горожан, численность которой составляла не менее семи тысяч человек. Они несли мушкеты, колья, ломы, метлы, они пели и орали во весь голос: «Да здравствуют Бейкер и Бейкеровы отродья!»

«Они находились в дороге шесть часов, – писал нам Робер, – и мне довелось увидеть этот цирк в самом конце, когда процессия завернула на площадь Людовика XV. Это напоминало зверинец в Древнем Риме, не хватало только одного: не было львов. Там были женщины, некоторые из них полуобнаженные, они сидели верхом на пушках, словно ехали на слонах; по пути они обрывали ветви с деревьев, чтобы украсить пушки зеленой листвой. Старые ведьмы из предместий, рыбные торговки с центрального рынка, уличные девки, все еще размалеванные, не смывшие краски с лица, и даже добропорядочные жены лавочников, принаряженные в лучшие свои воскресные платья и шляпки, – можно было подумать, что это менады^[34] на празднике Диониса. Все обошлось без жертв, если не считать одного несчастного случая, произошедшего, когда шествие выходило из Версаля. Один из телохранителей короля выстрелил – надо же, какая глупость! – в парнишку-гвардейца и убил его. В результате его самого, этого телохранителя, и его товарища толпа разорвала на части. Их головы, надетые на пики, несли в авангарде процессии, направляющейся в Париж».

Мишель, которому было адресовано это письмо, читал его вслух. Они с Франсуа находили все это очень интересным и забавным, они-то не видели, как видела я, лиц парижан накануне бунта, они не ощущали тяжелого запаха на улицах, после того как дело было сделано.

Я выхватила письмо у Мишеля, потому что из-за его смеха и заикания нельзя было понять, что он читает. В письме дальше говорилось, что теперь, когда король находится в Париже среди своего народа, все успокоится, хлеба будет больше и честные торговцы вроде него смогут спать спокойно, не боясь, что у них разобьют стекла.

«Я, конечно, состою в Национальной гвардии, – писал он, – охраняющей нашу секцию Пале-Рояля. Обязанности у меня не слишком сложные: мы просто патрулируем улицы в полном вооружении, надев на шляпы кокарды, а на грудь гвардейский значок. Когда появляется эта сволочь – а они теперь постоянно выползают из каждой щели, напые как тараканы, – нам достаточно пригрозить им штыком, и они тут же исчезают. Женщины теперь носят исключительно трехцветные ленты, а нас они находят неотразимыми. Стоит лишь взглянуть, и они тут же вешаются на шею. Я бы веселился от души, если бы не то обстоятельство, что торговля практически умерла».

Во всем письме ни слова о Лакло или о герцоге Орлеанском. Героем дня был Лафайет, так по крайней мере казалось. А потом – это мы узнали не из писем Робера, а от Пьера, который прочел эту новость в журнале, а потом каким-то образом нашел подтверждение, – нам стало известно, что герцог Орлеанский вместе с Лакло, своим адъютантом Кларком и мадам де Бюффон, своей любовницей, четырнадцатого числа бежали из Парижа и находятся в Булони, направляясь в Англию. В качестве предлога приводилось поручение, которое он должен выполнить в Англии.

– Однако, – добавил Пьер, – граф де Валуне, драгунский полковник в Шартре и друг герцога Орлеанского, пустил такой слух, что будто бы Лафайет и другие члены Собраниа считают, что именно герцог был инициатором марша в Версаль, что он практически был виновником всех этих беспорядков и что для всех заинтересованных лиц было бы желательно, чтобы герцог на время исчез из поля зрения. Итак, любимец публики отправился в Лондон и, как говорят, очень

доволен этим обстоятельством – ведь скачки в Англии гораздо лучше, чем во Франции!

Я вспомнила экипаж, который выезжал из Пале-Рояля по направлению к Венсену, двух любовников, уютно устроившихся на мягких сиденьях кареты, ленивый приветственный жест руки. Неужели Робер поставил не на ту лошадь?

Прошел ноябрь, а от него не было ни слова. Мишель и Франсуа были заняты работой на заводе, которая, слава богу, понемногу возобновилась, однако шла довольно вяло: пока не были приняты новые законы, никто не знал, как они отразятся на торговле и промышленности. Затем, в начале ноября, пришло письмо от Робера, адресованное мне.

«У меня снова крупные неприятности, почти такие же, как те, что постигли меня в восьмидесятом и восемьдесят пятом годах».

Он, конечно, имел в виду свое банкротство. Возможно, и тюремное заключение.

«Для меня было страшным ударом, как ты понимаешь, – продолжал он, – то, что герцог Орлеанский вместе с Лакло покинули Париж, ни слова не сказав тем людям, которые, так же как и я, верой и правдой служили им в течение последних месяцев. Я не помню, кто это сказал: „Не доверяйся принцам“. Возможно, всему этому есть какое-нибудь объяснение, которого пока еще никто не знает. Поскольку я оптимист, я живу надеждой. Но если говорить о моих финансовых делах, то мне остается один-единственный выход, я не могу писать об этом в письме, так же как и о других делах, касающихся моего будущего. Я хочу, чтобы ты приехала в Париж. Пожалуйста, не отказывай мне».

Я ничего никому не говорила, обдумывая все обстоятельства про себя. Письмо было написано мне, в нем не было ни слова о Пьере или о Мишеле. Матушка была далеко, иначе я непременно бы с ней посоветовалась. Естественнее всего было бы обратиться к Пьеру, поскольку он знал законы, но мне было известно, что он очень занят муниципальными делами и не может позволить себе уехать из Ле-Мана. Кроме того, именно то обстоятельство, что Пьер юрист, может заставить Робера отнестись к нему с осторожностью. Я без конца обдумывала это дело, прикидывая, как мне лучше поступить, и наконец пришла с письмом Мишелю.

– Конечно ты должна ехать, – сказал он без малейшего колебания. – Франсуа я все объясню.

– В этом нет необходимости, – сказала я. Прошло два месяца с тех пор, как умер Габриэль, и мой муж все еще был в немилости. Я знала, что это пройдет, но пока просто не могла на него смотреть. Будет лучше для нас обоих, если я проведу несколько месяцев вдали от него, думая о том, что я перед ним виновата и что я его обижаю. Но потом, вспомнив последнюю поездку в Париж и то, как мне было там плохо, я сказала Мишелю:

– Поедем со мной.

Если не считать нескольких лет ученичества в Берри, Мишель никогда не покидал нашу глушь, никогда не бывал в более крупном городе, чем Ле-Ман. В прежние времена я никогда не предложила бы ему такой поездки; у него был вид типичного рабочего, каким он на самом деле и был: черный как углежог и такой же дремучий и неотесанный. Однако теперь, когда все стали равными, когда революция стерла все различия, неужели мой брат не имеет права ходить по парижским мостовым и даже попросить посторониться какого-нибудь парижанина? Возможно, у него возникли такие же мысли. Он улыбнулся мне совершенно так же, как, верно, улыбался, когда ему позволили в первый раз встать к печи рядом со взрослыми.

– Отлично, – сказал он. – Я с удовольствием поеду.

Мы отправились в Париж через два-три дня. Единственной уступкой моде и современным вкусам со стороны Мишеля было то, что он постригся у парикмахера в Монмирайле и купил пару башмаков; что же касается всего остального, то он решил, что вполне сойдет его воскресное платье: кафтан и панталоны.

– Кабы мне з-знать пять месяцев тому назад, что придется служить тебе эскортом, – сказал он мне конфузясь, – я бы порылся как следует в сундуках шато Ноана, разоделся бы как павлин.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда дилижанс въезжал в столицу, было то, что в городе было гораздо меньше карет, улицы были почти пусты, если не считать телег и повозок. На многих нарядных кафе и лавках, которые я помнила, висели объявления: «Продается» или «Сдается внаем», и хотя на тротуарах людей довольно много, праздношатающихся среди них не было; большинство прохожих шли явно по делу, и одеты они были бедно и

скромно, так же как и мы сами. Правда, в последний раз я была здесь в апреле, а теперь стоял декабрь, мрачный и дождливый, и все-таки что-то исчезло из парижской жизни, чего-то в ней не хватало, только трудно сказать, чего именно.

Великолепные кареты и те, кто в них ехали – мужчины и женщины, роскошно, хотя зачастую нелепо разодетые, придавали столице некий волшебный блеск, делали ее похожей на сказку. Теперь же Париж походил на самый обыкновенный город, и Мишель, который не отрываясь смотрел в окно дилижанса, пытаясь что-то разглядеть в унылом пасмурном мраке, заметил, что здания, конечно, великолепны, но в общем все это не слишком отличается от Ле-Мана.

На улице Дю-Буле не было ни одного фиакра, который мог бы отвезти нас в гостиницу, и слуга, хлопотавший возле нашего багажа, сообщил, что кучерам теперь не выгодно дожидаться пассажиров. Теперь большинство из них предпочитали служить у депутатов.

– Деньги в наши дни есть только у них, – заметил он, подмигнув. – Наймись кучером или курьером к депутату Собрании, и всем твоим заботам конец. Ведь депутаты, почитай, все из провинции, и стричь такого все одно, что ягненочка.

Мишель взвалил на плечи наши вещи, и вскоре мы уже находились в «Шеваль Руж» на улице Сен-Дени. Я считала, что будет неудобно, если мы нагрянем к Роберу без предупреждения, а другой гостиницы я в Париже не знала.

Тех стариков, что владели «Шеваль Руж» во времена моих родителей, уже не было, теперь хозяином был их сын, но он помнил нашу фамилию и встретил нас достаточно приветливо. Лучшую комнату в гостинице – ту самую, в которой некогда останавливались матушка с отцом, – занимал депутат с женой, и новый хозяин очень этим гордился, поскольку они были самыми лучшими его постояльцами. Мы потом встретили их на лестнице, депутат был дородный мужчина с простоватым лицом, он надувался от важности, словно зобатый голубь; в жене его не было ничего примечательного. Эта особа готовила всю пищу в своих комнатах, поскольку повару она не доверяла. Депутат был раньше нотариусом где-то в Вогезах и до тех пор, пока его не избрали депутатом, никогда в жизни не бывал в Париже.

Нам подали обед, состоявший из супа и говядины, далеко не так хорошо приготовленной, как это обычно делалось у нас в доме, и хозяин, который подошел к нам поболтать, пожаловался, что после взятия Бастилии стало совершенно невозможно держать слуг: они каждую минуту ожидали, что их сделают господами, и поэтому не задерживались на одном месте больше, чем на неделю.

– Пока депутаты находятся в Париже, я еще продержусь, не буду закрываться, – говорил он. – Но вот когда они разъедутся... – хозяин пожал плечами, – тогда это, наверное, уже не будет иметь смысла. Придется мне, верно, купить небольшое имение в провинции и держать постоянный двор. В Париж сейчас никто не ездит. Жизнь слишком дорога, да и времена уж очень беспокойные.

Когда мы кончили есть, Мишель взглянул на потоки дождя, заливающие улицы, и покачал головой.

– Яркие огни Пале-Рояля могут подождать, – сказал он. – Если это и есть столица, то по мне уж лучше огонек нашей стекловарни в Шен-Бидо.

На следующее утро я поднялась рано и, заглянув в комнату Мишеля, увидела, что он еще спит. Я не стала его будить и оставила ему записку, объяснив, как добраться до Пале-Рояля. Я пошла туда одна, мне казалось, что будет лучше, если я сначала повидаюсь с Робером наедине и скажу ему, что вместе со мной приехал Мишель.

По утрам на улицах Парижа всегда бываетлюдно: женщины идут на рынок, рабочие спешат на работу. И теперь все было, как прежде: обычная толкотня и ругань, которые я помнила по прошлым моим визитам в Париж. Новостью было только присутствие национальных гвардейцев, они парами патрулировали улицы. Ну что же, по крайней мере, это защищало от грабителей.

Когда я наконец добралась в Пале-Рояль, там царила обычная унылая атмосфера, характерная для места, где никто не живет; ощущение заброшенности еще усугублялось огромными размерами дворца. Все окна были закрыты ставнями, громадные ворота заперты. Открыты были только боковые калитки, через которые можно было войти в сады и торговые галереи. У калиток стояли часовые из национальных гвардейцев, но они пропустили меня, не задав ни одного вопроса, и мне подумалось, что от их присутствия здесь нет никакого толка.

Стояло раннее утро, да и время года совсем не подходило для прогулок, поэтому в садах не было обычной толпы. Но то ли здесь сказалось отсутствие герцога Орлеанского, который вместе со всем своим двором переселился в Лондон, то ли по той простой причине – как писал мне мой брат, – что дела в торговле шли из рук вон плохо, но только и сам Пале-Рояль выглядел совершенно иначе. Галереи имели скучный, неряшливый вид, на каменных плитах переходов скопились лужи воды. Все это напоминало ярмарочную площадь после того, как закроется ярмарка. Окна и двери многих лавочек были забиты досками и снабжены красноречивыми табличками «Продается», а в витринах тех, что еще функционировали, были выставлены товары, которые, должно быть, находились там целыми неделями, а то и месяцами. Все торговцы так или иначе отдавали дань времени: витрины были задрапированы трехцветными полотнищами, а среди безделушек, выставленных на продажу, самое почетное место занимали изображения Бастилии, изготовленные из самых разнообразных материалов, начиная от воска и кончая шоколадом.

Добравшись до номера двести двадцать пять, я с болью в сердце, хотя и ожидая этого, увидела табличку «Продается», висящую на дверях. В витринах, хотя и не заколоченных, не было никакого товара.

Какая печальная разница по сравнению с тем временем восемь месяцев тому назад, когда, несмотря на беспорядки, в затянутых черным бархатом витринах, привлекая взоры возможных покупателей, были выставлены с полдюжины наиболее интересных и пользующихся спросом произведений искусства Робера. «Никогда не выставляй слишком много! – говаривал Робер. – Убранство витрины – это такое же искусство, как и всякое другое. Один предмет, привлекающий внимание, предполагает, что в лавке имеются десятки таких же. Чем реже подвешены крючки, тем охотнее клюет рыба». А теперь там не было ничего, ни одной далее самой скромной кокарды.

Я позвонила, без особой надежды на то, что кто-нибудь ответит на звонок, потому что верхние комнаты казались такими же безжизненными, как и лавка внизу. Однако вскоре в доме послышались шаги, кто-то отодвинул засов, и дверь открылась.

– Прошу прощения, лавка закрыта. Чем я могу быть полезной?

Голос был тихий и мелодичный, вид настороженный. Передо мной стояла женщина, примерно такого же возраста, как Эдме, может

быть, немного моложе и несомненно красивая; ее испуганные глаза говорили о том, что меньше всего на свете она ожидала увидеть особу женского пола, одетую для утреннего визита.

– Могу я видеть мсье Бюссона? – спросила я.

Женщина покачала головой.

– Его здесь нет, – ответила она. – Он временно живет при лаборатории на улице Траверсьер, там в верхнем этаже есть жилые комнаты. Он, возможно, будет здесь сегодня утром, если вам угодно зайти попозже. Как о вас доложить?

Я уже готова была сказать, что я сестра мсье Бюссона, но что-то меня удержало.

– Несколько дней тому назад я получила от него письмо, – сказала я, – в котором он меня просил зайти и поговорить с ним по делу, если я буду в Париже. Я приехала только вчера вечером и пришла прямо из гостиницы.

Она по-прежнему смотрела на меня с подозрением, придерживая рукой дверь. Удивительно то, что эта женщина каким-то неуловимым образом напоминала мне Кэти. Она была немного выше и стройнее, но глаза у нее были такие же огромные, а вот цвет лица несколько смугловат; и волосы были распущены по плечам, совершенно так же, как носила Кэти, когда только что вышла замуж за моего брата.

– Простите за бесцеремонность, – сказала я, – но какое вы занимаете положение в этом доме? Вы консьержка?^[35]

– Нет, – сказала она. – Я его жена.

Она, должно быть, заметила, что я изменилась в лице. Я и сама это почувствовала, сердце у меня бешено колотилось, к щекам прилила кровь.

– Прошу прощения, – пробормотала я. – Он никогда не говорил о том, что снова женился.

– Снова? – Она приподняла брови и в первый раз улыбнулась. – Боюсь, что вы ошибаетесь, – сказала она мне. – Мсье Бюссон никогда до этого не был женат. Вы, должно быть, путаете его с братом, владельцем замка где-то между Ле-Маном и Анкером. Вот тот вдовец, насколько мне известно.

Здесь была какая-то путаница. Я была настолько изумлена, что мне стало даже немного нехорошо. Она, должно быть, это почувствовала, потому что пододвинула мне стул, и я села.

– Возможно, вы правы, – сказала я. – Братьев иногда путают.

Теперь, глядя на нее снизу, я увидела, какая прелестная у нее улыбка. Не такая откровенно приветливая, как у Кэти, но очень молодая и безыскусная.

– И давно вы поженились? – спросила я у нее.

– Около полутора месяцев, – ответила она. – Сказать по правде, это пока еще держится в секрете. Насколько я понимаю, в кругу семьи его женитьба может встретить возражения.

– Семьи?

– Да. В особенности может быть недоволен его брат, тот, у которого замок. Мой муж – его наследник, и семья хотела, чтобы он женился на женщине своего круга. Я же сирота, и у меня нет никакого состояния. А среди аристократии такие вещи считаются непростительными, даже и в наши дни.

Я начинала понемногу понимать, в чем дело. Робер снова принялся за свои старые штучки, снова фантазирует, выдумывает то, чего нет на самом деле. Совсем как раньше, когда он поступил в аркебузьеры или устроил бал-маскарад в Шартре. Придется пустить в ход всю изобретательность, чтобы его обман не вышел наружу.

– Где вы встретились? – спросила я, осмелев от любопытства.

– В приюте для сирот в Севре, – сказала она. – Вы, может быть, знаете, там была большая стекольная мануфактура, только теперь она закрылась. К сожалению, мой муж в свое время потерял на этом много денег. Он встречался по делам с директором приюта – это было вскоре после падения Бастилии, – и они как-то договорились насчет меня. Вы понимаете, я, когда выросла, стала работать в прислугах у директора и его жены. Одним словом, я приехала сюда, в лавку, и через несколько недель мы поженились.

Она опустила глаза и посмотрела на свое обручальное кольцо; рядом с ним было и второе: великолепный рубин, который стоил, должно быть, моему брату целого состояния, если, конечно, он его не украл.

– А вас не смущает, – спросила я, – что ваш муж почти вдвое старше вас?

– Напротив, – ответила она, – это значит, что у человека есть жизненный опыт.

На сей раз ее улыбка была еще прелестней. Я пожалела о Кэти, но брата едва ли можно было обвинять.

– Я не понимаю, как это он решается оставлять вас одну по ночам.

Она казалась удивленной:

– Но ведь ставни закрыты, а дверь на засове.

– Все равно... – Я махнула рукой, не окончив фразы.

– Мы видимся днем, – прошептала она. – Он много работает в своей лаборатории, да еще стряпчие и адвокаты, которые занимаются его делами, но он всегда выкраивает час-другой, чтобы побыть с женой.

Мне показалось, что для девушки, воспитанной в приюте, она прекрасно во всем разбирается, хотя и поверила рассказам моего брата о его происхождении.

– Нисколько в этом не сомневаюсь, – ответила я, вдруг осознав и посмеявшись этому про себя, что в моем голосе появились такие же ледяные нотки, какие прозвучали бы в аналогичных обстоятельствах в голосе матушки. Однако мое веселое настроение длилось недолго. Взглянув на лестницу, я сразу же вспомнила, как во время моего предыдущего визита помогала бедняжке Кэти подняться в ее комнату и дойти до кровати, которую она покинула только для того, чтобы быть положенной в гроб. И вот передо мной ее преемница, счастливая, довольная и безмятежная, не подозревающая о том, что у нее была предшественница, которая ступала по тем же ступеням меньше года тому назад. Если Робер способен об этом забыть, то я никак не могу этого сделать.

– Я должна идти, – сказала я, поднимаясь со стула. Мне вдруг стало все противно, хотя я и презирала себя за это. Видит Бог, думала я, если это поможет Роберу, скрасит его одиночество, так на здоровье. Она спросила, как сказать, кто приходил, и я назвала свою фамилию: Дюваль, мадам Дюваль. Мы попрощались друг с другом, и девушка закрыла за мной дверь лавки.

Снова шел дождь, и листья в саду, которые были еще в почках, когда я приходила сюда в прошлый раз, теперь опали и лежали на земле. Я поспешила прочь от этого места, где витал призрак бедняжки покойницы Кэти, и вспомнился маленький Жак, который катил передо мной свой обруч. Забитые окна Пале-Рояля и плазующие на меня

часовые символизировали совсем иной мир по сравнению с тем, что окружал меня весной.

В полном унынии я шла обратно, в сторону «Шеваль Руж», и на пороге гостиницы увидела Мишеля, который уже собирался отправиться на поиски. Сама не зная, почему, скорее всего инстинктивно, я ничего ему не сказала. Только то, что дверь лавки заперта, окна закрыты ставнями и там никого нет. Он счел это вполне естественным. Если Робер снова находится на грани банкротства, лавка уйдет в первую очередь.

– Пойдем, погуляем по улицам, – тащил меня Мишель со всем нетерпением провинциала, впервые попавшего в столицу. – Робера мы разыщем потом.

Надеясь, что это поможет прогнать мрачное настроение, я позволила себя увести – мне было безразлично, куда именно, – и мы отправились бродить по тем же самым местам, где я только что была. Мишель, конечно, ничего не подозревал. Наконец мы подошли к Тюильри, где теперь была резиденция короля и королевы. Мы смотрели на огромный дворец, на ту его часть, которая была видна в глубине двора, видели швейцарских гвардейцев, шагавших взад вперед вдоль фасада, и думали, как, вероятно, многие провинциалы: а вдруг сейчас в эти окна на нас смотрят король и королева.

– Подумать только, – говорил Мишель, – все эти комнаты, весь дом всего только для четырех человек. Ну, для пяти, если считать сестру короля. Как ты думаешь, что они там делают целыми днями?

– Наверное, то же самое, что и мы, – предположила я. – После обеда король играет в карты с сестрой, а королева читает книжки своим детям.

– Что? – удивился Мишель. – А все придворные стоят вокруг и смотрят?

Кто может это знать? В сером свете декабря дворец казался мрачным и неприступным. Я вспомнила королеву, как она, более десяти лет тому назад, выходила из кареты перед зданием оперы – фарфоровая статуэтка, которая могла разлететься вдребезги от одного лишь легкого дуновения, – опираясь на руку д'Артуа и окруженная пажами, готовыми исполнить любое ее приказание. Граф теперь находился в эмиграции, можно сказать, в изгнании, а королева, которую все ненавидели, строила козни против Собрания – нити

тянулись из Тюильрийского дворца во все концы страны. Правда это или нет, неизвестно, достоверно только одно: дни опер и маскарадов канули в вечность.

– Он все равно что мертвый, – вдруг сказал Мишель. – Смотрим на него – гробница, да и только. Пойдем отсюда, пусть себе гниет дальше.

Мы пошли назад, вернулись на набережную, где, как сказал Мишель, несмотря на вонь, чувствовались какая-то жизнь и работа – к берегу реки приткнулись плоскодонные баржи, груженные лесом; раздавались хриплые голоса лодочников. Здесь я могла не стесняться деревенского вида моего брата. В этой части Парижа не было ни одного человека, перед которым нужно было стыдиться. Всюду были нищие, и если бы я позволила Мишелю подавать каждому из них, у нас не осталось бы денег, чтобы заплатить за постой в гостинице.

– Если Б-бастилию разгромили такие вот люди, – заметил Мишель, – их никак нельзя осуждать. Будь я в это время там, я бы заодно разрушил и Т-тюильри.

Ему хотелось посмотреть то место, где стояла Бастилия, и мы, расспрашивая, как туда пройти, оказались наконец на площади и смотрели на каменные глыбы и груды обломков, которые прежде были крепостью. На развалинах работали группы рабочих с кирками и ломками.

– Какой это б-был день, – мечтательно проговорил Мишель. – Чего бы я ни д-дал, чтобы находиться среди тех, кто там сражался.

А я совсем не была уверена, что мне этого хочется. Ревельонский бунт и дикие крики перед Сен-Винсентским аббатством рассказали мне все, что мне хотелось бы знать о мятежах и бунтах.

Время уже перевалило за полдень, оба мы устали и проголодались. Как люди, не привыкшие к большому городу, мы зашли слишком далеко и не представляли себе, где находимся. «Шеваль Руж» могла быть на востоке, на западе, далеко от нас или в двух шагах – мы не имели ни малейшего представления, где именно. Нам попалось маленькое кафе, не так чтобы очень привлекательное и не слишком чистое, но мы тем не менее там пообедали, и даже неплохо. Мальчик, который подавал нам еду, сообщил Мишелю, что это место называется Фобур Сент-Антуан. Тут я вспомнила, что лаборатория Робера находится где-то поблизости. Когда мы кончили

есть, я спросила, как найти улицу Траверсьер, и мальчик показал мне пальцем. Она была всего в пяти минутах ходьбы.

Мы с Мишелем обсудили, что делать дальше, и решили отправиться в лабораторию – номер дома я знала – и посмотреть, не там ли Робер. Я велела Мишелю подождать меня на улице, мне хотелось сначала поговорить с Робером наедине.

Улица Траверсьер казалась бесконечной, там были сплошь лавки и склады, и я была рада обществу Мишеля. Там, кроме всего прочего, было довольно много рабочих, провожавших нас любопытными взглядами, и возчиков, которые погоняли измученных лошадей, запряженных в тяжело нагруженные телеги, осыпая несчастных животных ругательствами.

– Н-не могу я этого понять, – вдруг сказал Мишель. – Почему он не остался в Брюлоннери? Чего ему там не хватало? Он похож на Исава – продал свое первородство за чечевичную похлебку. Ну скажи на милость, чего он добился, живя такой жизнью? Разве стоило ради этого бросать все, что у него было?

Брат указал на черно-серые дома, на сточную канаву, которая текла посередине мостовой, на грубого возчика, нещадно хлеставшего своих лошадей.

– Ничего, – ответила я, – если не считать права называться парижанином. Для нас это не имеет значения, а для него имеет.

Наконец мы дошли до номера сто сорок четыре. Высокий сырой дом с примыкающим к нему двориком. Я сделала Мишелю знак подождать, пересекла дворик и стала читать фамилии, нацарапанные на входной двери. Наконец мне удалось разобрать выцветшие буквы, составляющие фамилию Бюссон, и стрелку, указывающую в сторону подвала. Я ошупью спустилась по лестнице в уставленный ящиками коридор, ведущий в большую пустую комнату, в центре которой находилась печь, – это, должно быть, и была лаборатория. Пол в комнате был покрыт пылью и завален мусором; там, похоже, не подметали несколько недель.

Из маленькой комнатки, расположенной по соседству, доносились звуки голосов и стук молотка, поскольку дверь в нее была полуоткрыта. Пройдя по замусоренному полу к дверям, я увидела брата, он сидел за столом, заваленным бумагами, которые находились в полном беспорядке. Возле него на коленях стоял рабочий,

забивавший гвоздями крышку какого-то ящика. Робер поднял голову как раз в тот момент, когда я входила в дверь, и на какое-то мгновение на его лице появилось выражение удивления и страха, словно у животного, попавшего в ловушку. Однако он быстро оправился и поднялся мне навстречу.

– Софи! – воскликнул он. – Почему, скажи на милость, ты не известила меня, что находишься в Париже?

Он обнял меня и поцеловал, велел рабочему оставить свое дело и выйти из комнаты.

– Как давно ты здесь и как тебе удалось найти этот дом? Прошу прощения за беспорядок, я продаю лабораторию, как ты понимаешь.

Он обвел рукой комнату и пожал плечами, тихо засмеявшись, и у меня создалось впечатление, что он извиняется не за беспорядок, а за то, какими жалкими оказались его владения. Слова «моя лаборатория», которые он произносил в прошлом, вызывали в моем воображении великолепное обширное помещение, хорошо оборудованное и содержащееся в полном порядке, – отнюдь не этот Мрачный подвал, где окна были расположены под самым потолком и все равно не достигали уровня улицы.

– Я приехала вчера, – сообщила я ему. – Остановилась в гостинице «Шеваль Руж». А утром заходила в лавку в Пале-Рояле.

Брат сделал глубокий вдох, некоторое время смотрел на меня, а потом внезапно расхохотался.

– Ну и как? – спросил он. – Значит, теперь ты знаешь мой секрет, то есть один из моих секретов. Что ты о ней думаешь?

– Очень хорошенькая, – ответила я, – и очень молодая.

Робер улыбнулся.

– Двадцать два года, – сказал он. – Прямо из приюта в Севре. Понятия не имеет о том, что такое жизнь, не умеет даже подписать свое имя. Впрочем, я узнал от людей, которые работают в приюте, все, что касается ее родителей. Здесь совершенно нечего стыдиться. Она родилась в Дудене, отец ее был торговцем, не особенно крупным, а мать – племянница знаменитого Жана Барта, капитана пиратского судна. В ее жилах течет хорошая кровь.

Теперь настал мой черед улыбнуться. Неужели он действительно думает, что меня занимает ее происхождение? Если девушка ему

нравится и он решил на ней жениться, вот и отлично, все остальное значения не имеет.

– Ты знаешь о ее семье значительно больше, чем она о твоей, – заметила я. – Я и не подозревала, что у тебя есть брат, которому принадлежит замок между Ле-Маном и Анжером.

На какой-то миг Робер смутился, но потом снова рассмеялся, вытер пыль с одного из стульев и заставил меня сесть.

– Да ладно, – сказал он. – Она ведь решительно ничего не понимает, и это так интересно. Мне кажется, что моя любовь доставляет ей еще больше удовольствия, оттого что она считает меня важной персоной, дворянином, которого преследует злая судьба. Стеклодув на грани банкротства это ведь не такое уж ценное приобретение. Зачем лишать молодую девицу иллюзий?

Я оглядела комнату и еще раз отметила разбросанные бумаги и общий беспорядок.

– Значит, это правда? – спросила я. – Ты снова до этого дошел?

Брат кивнул головой.

– Я оставил доверенность на ведение дел одному своему другу, – сказал он, – стряпчему старого парламента. Его зовут мсье Мушо де Бельмон. Он разделается со всеми моими кредиторами, проследит за продажей лаборатории и лавки, и, если удастся что-нибудь спасти, в чем я сомневаюсь, то положит деньги в Ле-Манский банк на имя Пьера. Во всяком случае, он напишет Пьеру после моего отъезда, сообщив ему все обстоятельства, слишком запутанные для того, чтобы я сейчас мог тебе их объяснить.

Я смотрела на него, ничего не понимая. Он же делал вид, что поглощен разборкой бумаг.

– Отъезда? – спросила я. – Какого отъезда? Куда ты уезжаешь?

– В Лондон, – ответил он после минутной паузы. – Я эмигрирую. Покидаю страну. Здесь мне больше делать нечего. А там нужны гравировщики по хрусталу. Меня ожидает место у одного из самых крупных стеклоделов в Лондоне.

Я была потрясена. Я думала, что брат уезжает из Парижа в Нормандию, где было несколько стекольных заводов, или даже, что он возвращается в наши края, где его знают и уважают. Но я не могла себе представить, что он бежит из страны, эмигрирует, словно какой-

нибудь трусливый аристократ, который не может примириться с новым режимом...

– Не делай этого, Робер, – сказала я. – Умоляю тебя, не делай этого.

– А почему, собственно говоря? – резко спросит брат. Он сердито дернул рукой, смахнув со стола бумаги на пол. – Что меня здесь держит? Только долги, долги и долги, а потом наверняка и тюрьма. В Англии я начну новую жизнь, никто не будет задавать мне вопросов, а молодая жена придаст мне мужества. Все уже решено, и никто не заставит меня отказаться от принятого решения.

Я поняла, что мне не удастся ни в чем его переубедить.

– Робер, – ласково сказала я. – Со мной приехал Мишель. Он дожидается на улице.

– Мишель? – Снова в глазах Робера мелькнуло выражение животного, попавшего в капкан. – Он был с тобой в Пале-Рояле? – спросил Робер.

– Нет, я ходила туда одна. Я ничего не сказала ему о том, что ты снова женился.

– Это как раз меня не очень беспокоит. Это он поймет. А вот мой отъезд... – Робер помолчал, глядя прямо перед собой. – Пьер пустился бы в бесконечные споры, но он, по крайней мере, способен видеть две стороны вопроса. А Мишель это другое дело. Он фанатик.

Я снова приуныла. С моей стороны было ошибкой взять с собой Мишеля. Если бы я только знала о намерении Робера оставить страну, я бы никогда этого не сделала. Дело в том, что мой старший брат нашел верное слово. Мишель никогда этого не поймет. Он действительно фанатик.

– Все равно придется ему сказать, пойду позову его.

Робер прошел через комнату к окну и крикнул:

– Мишель, иди сюда, негодяй ты этакий. Мишель!

Я увидела, как в окне у нас над головой показались ноги брата и задержались там на мгновение. Потом он что-то крикнул в ответ, и ноги исчезли. Робер прошел в лабораторию, вскоре я услышала, как они здороваются друг с другом, услышала их смех, и братья вошли в комнатку вместе, держась за руки.

– Ну что же, признаюсь, вы загнали меня в мою собственную нору, словно барсука, – говорил Робер. – Как видите, у меня не

осталось никакого оборудования. Все пусто. А ведь раньше здесь делались большие дела, я неплохо здесь потрудился.

Я видела по обескураженному лицу Мишеля, что его, так же как и меня, поразило то обстоятельство, что Робер, его обожаемый старший брат, работает в этом жалком подвале.

– Конечно, я в этом уверен, – вежливо сказал он. – Всякое помещение будет иметь жалкий вид, когда в нем ничего нет и печь погашена.

Для того чтобы избежать разговоров на эту тему. Робер наклонился и поднял с полу какой-то пакет.

– Впрочем, кое-что удалось сохранить, – сказал он, разворачивая сверток и торжественно ставя его на стол. – Наш знаменитый кубок.

Это был бокал с королевскими лилиями, изготовленный в Ла-Пьере для Людовика XV почти двадцать лет тому назад.

– Я уже снимал с него копии и собираюсь делать это снова, – сказал Робер. – Там, куда я уезжаю, бокал с таким символом можно будет продавать за двойную цену.

– А куда ты уезжаешь? – спросил Мишель.

Мне стало жарко, я почувствовала, что приближается гроза. Робер взглянул на меня в притворном смущении.

– Скажи ему, что ты узнала сегодня в лавке, – велел он мне.

– Робер снова женился, – сказала я. – Я не хотела тебе говорить, не получив его разрешения.

Теплая улыбка осветила лицо Мишеля, он подошел и хлопнул брата по плечу.

– Я очень рад, – сказал он. – Это лучшее, что т-ты мог сделать. Софи просто дурочка, что сразу мне не сказала. Кто она?

Робер начал рассказывать о сиротском приюте, и Мишель одобрительно закивал головой.

– П-похоже, она красавица, – сказал он, – и ничего о себе не воображает. Я так и знал, что ты женишься, но боялся, что выберешь себе какую-нибудь высокомерную девицу с аристократическими предрассудками. Так как же ты собираешься дальше жить, если ты продал лавку и это заведение?

– В том то и дело, – сказал Робер. – Я вынужден оставить Париж. Я уже объяснил Софи: меня преследуют кредиторы, и мне совсем не улыбается перспектива снова угодить в Ла-Форс.

Брат снова замолчал, и я видела, что он обдумывает, как бы смягчить удар, который он собирается нанести.

– П-приветствую твое желание уехать из Парижа, – сказал Мишель. – Просто не могу понять, как ты до сих пор мог выносить этот город. Возвращайся к нам, старина. Если не в Шен-Бидо, то по крайней мере устройся где-нибудь недалеко оттуда. Послушай, ведь можно, наверное, как-нибудь договориться с нынешним хозяином Ла-Пьера. Все сейчас переходит из рук в руки. Аристократы перепуганы насмерть, они бегут из страны как крысы, и поэтому повсюду открываются великолепные возможности. Мы найдем тебе что-нибудь, т-ты не беспокойся. Забудь про свои долги.

– Все это бесполезно, – перебил его Робер. – Слишком поздно.

– Чепуха, – настаивал Мишель, – ничуть не поздно. Я знаю, что последние несколько месяцев в делах был застой, но теперь положение с каждым днем исправляется. Всех нас ждет великолепное будущее.

– Нет, – отвечал Робер. – Франция погибла. Мишель с недоумением посмотрел на брата.

Было такое впечатление, что он не расслышал, что тот сказал.

– Во всяком случае, таково мое мнение, – сказал Робер, – и поэтому я уезжаю. Эмигрирую. Я везу свою молодую жену в Лондон. Там нужны гравировщики по хрусталу, и, как я говорил Софи, меня уже ждет работа. Там у меня есть друзья, они все это устроили.

Воцарилось тягостное молчание. На Мишеля больно было смотреть. Лицо его побелело, брови, казавшиеся на этом фоне черными как уголь, сошлись над переносицей, образовав прямую линию, совсем так же, как это бывало у отца.

– Друзья, – сказал Мишель. – Ты хочешь сказать: предатели.

Робер улыбнулся и сделал шаг к брату.

– Ну, успокойся, – сказал он. – Не торопись с выводами. Просто я не особенно верю в то, что может сделать нынешнее Собрание для торговли и промышленности, да и вообще. Эти последние месяцы в Париже многому меня научили. Очень приятно быть патриотом, но человек должен думать и о собственном будущем. А при существующем положении вещей для меня во Франции будущего нет. Поэтому я уезжаю.

Когда Робер обанкротился – это было в год смерти нашего отца, – Мишеля не было дома, он находился в Берри. Стыд и позор, которые испытала тогда вся семья, не коснулись его, он их не почувствовал. Мне кажется, что если Мишель вообще об этом думал, то считал, наверное, что Роберу не повезло. Во второй раз, в восемьдесят пятом, он был слишком занят своими делами – был хозяином Шен-Бидо – и своей дружбой с Франсуа, и у него не оставалось времени на то, чтобы беспокоиться о делах старшего брата. Робер всегда был мотом, его постоянно подводили друзья. Но теперь дело обстояло иначе.

– Ты написал Пьеру, сообщил ему об этом? – спросил Мишель.

– Нет, – сказал Робер. – Я напишу ему перед отъездом. Во всяком случае мой поверенный, которому я поручил уладить все свои дела, напишет ему и все объяснит.

– А как же Жак? – спросила я.

– Об этом я тоже договорился. Пьер будет его опекуном. Я предполагаю оставить Жака у матери. Насколько я понимаю, она сможет его обеспечить. А там уж пусть он сам пробивает себе дорогу в жизни.

Можно было подумать, что он отдает распоряжение о каком-нибудь ящике, который нужно доставить туда-то и туда-то, а не о судьбе собственного сына. Безразличие, звучавшее в его голосе, не было для меня новостью. Это был Робер, с которым я ехала в Сен-Кристоф, Робер, который только что потерял свою жену Кэти, человек, который жил только сегодняшним днем. Человек, которого совершенно не знал наш младший брат. Глядя в глаза Мишеля, я видела, как рассыпаются в прах иллюзии, которые он лелеял на протяжении всей своей жизни. Все, что говорил Робер, когда приезжал к нам в Шен-Бидо после падения Бастилии – о патриотизме, о заре новой жизни, – оказалось ложью, обыкновенными баснями. Сам Робер ничему этому не верил.

Возможно, после потери первого ребенка я немного очерствела. Никакие слова Робера, никакие его поступки не могли больше меня удивить. Если он предпочитает уехать от нас таким образом – пусть даже мое сердце разрывается от этой мысли, – это его дело, а не мое и не наше.

Я не думала, что Мишель так это воспримет. Его вера разлетелась в прах. Он поднял руку, чтобы освободить галстук. На какой-то

момент мне показалось, что он сейчас задохнется; лицо его из бледного стало пепельно-серым.

– Так это окончательно? – спросил он.

– Окончательно, – подтвердил Робер. Мишель обернулся ко мне.

– Я возвращаюсь в «Шеваль Руж», – объявил он. – Пойдем, если хочешь, со мной. Я уезжаю утренним дилижансом. А если хочешь, оставайся, это твое дело, решай сама.

Робер ничего не сказал. Он тоже побледнел. Я смотрела то на одного, то на другого. Я любила их обоих.

– Вы не можете так расстаться, – сказала я им. – В былые времена, когда у вас случались размолвки с отцом, вы всегда стояли против него вдвоем. Между собой мы никогда не ссорились. Прошу тебя, Мишель.

Мишель ничего не ответил. Он повернулся на каблуках и пошел прочь из лаборатории. Я бросила беспомощный взгляд на Робера и пошла за ним.

– Мишель! – крикнула я. – Может быть, мы больше никогда его не увидим. Неужели ты хотя бы не пожелаешь ему счастья?

– Счастья? – отозвался Мишель, обернувшись через плечо. – Все счастье, к-которое ему может понадобиться, он заб-бирает с собой вместе с этим кубком. Б-благодарю Бога, что отец не дожил до этого дня.

Я снова оглянулась на Робера, который смотрел на нас, – странная потерянная фигура среди беспорядочно разбросанных бумаг в этой мрачной подвальной комнатухе.

– Я приду к тебе утром, – сказала я. – Приду в Пале-Рояль попрощаться.

Он пожал плечами – странный жест полунасмешки и полуютчаяния.

– Будет разумнее, если ты сядешь в дилижанс и отправишься домой, – сказал он.

Секунду я колебалась, а потом быстро подошла к нему и обняла брата.

– Если в Англии у тебя не заладится, – сказала я ему, – я буду тебя ждать. Всегда, Робер.

Он поцеловал меня, на лице его мелькнула ничего не значащая улыбка.

– Ты единственный человек, – сказал он, – единственный из всей семьи, который меня понимает. Я этого не забуду.

Взявшись за руки, мы прошли через заваленную мусором лабораторию и поднялись по лестнице вслед за Мишелем. Рабочий куда-то исчез. Мишель ожидал меня в маленьком дворике.

– Береги Шен-Бидо, – сказал ему Робер. – Ты ведь такой же отличный мастер, как и наш отец, ты это знаешь. Я возьму с собой в Лондон этот кубок, но фамильную честь я оставляю в твоих руках.

Я чувствовала, что со стороны Мишеля достаточно было одного жеста, и Робер остался бы. Улыбка, пожатие руки, и они снова начали бы спорить, решение было бы отложено, и положение было бы спасено. Если бы здесь во дворике стоял Пьер, не было бы такого озлобления. Иллюзии были бы утрачены, но осталось бы сочувствие, незримая нравственная связь. Мишель был сделан из другого теста. Если задета его гордость, для него это был конец. В его словаре не было слова «прощение». Он смотрел на Робера через весь этот маленький дворик, и в глазах у него читалась такая мука, что я готова была заплакать.

– Не говори мне о чести, – сказал он. – У т-тебя никогда ее не было, как я теперь понимаю. Ты самый обыкновенный предатель и мошенник. Если у нашей страны не будет счастливого будущего, это произойдет по вине таких людей, как ты. Как т-ты, б-б... – Слово «брат» привычно просилось на язык, но он его так и не произнес и, повернувшись, чуть не бегом выскочил на улицу, продолжая бормотать: «Как т-ты, как т-ты!»

Словно не было всех этих лет. Он снова был обиженным ребенком, который не понимает, за что его обидели. На Робера он так и не оглянулся. Я бегом догнала Мишеля и пошла рядом с ним по улице Траверсьер, пока нам, слава богу, не попался фиакр и не довез нас до «Шеваль Руж». Мишель сразу же пошел к себе в комнату и заперся на ключ.

На следующее утро мы сели в дилижанс, не говоря ни слова о Робере и о том, что произошло. Только ближе к вечеру, когда наше путешествие уже близилось к концу, Мишель обернулся ко мне и сказал:

– Можешь сама рассказать Франсуа о том, что произошло. Я больше не желаю об этом говорить.

Яркие краски нового мира померкли и для него тоже.

Глава тринадцатая

Поступок Робера, его решение эмигрировать, явилось глубоким потрясением для всей семьи. Женитьба его была воспринята как нечто естественное, хотя и поспешное, а вот то, что он покинул Францию в тот момент, когда страна нуждалась в каждом умном и образованном человеке, когда всеми силами нужно было доказать, что новый режим чего-то стоит, – на это были способны только трусы и аристократы да еще авантюристы вроде нашего брата.

Пьер, который был поначалу так же потрясен, как и Мишель, несколько смягчился, после того как прибыли документы из Парижа, поняв, что оснований для осуждения меньше, чем он предполагал. Не было никаких сомнений в том, что все деньги до последнего су, вырученные от продажи лавки и лаборатории на улице Траверсьер, пойдут на уплату кредиторам, но даже этого будет недостаточно, чтобы полностью их удовлетворить. Робер снова жил не по средствам, снова давал обещания поставить товар, который так никогда и не доходил до заказчика; заключал контракты с коммерсантами на условиях, выполнить которые был не в состоянии. Если бы он не бежал из страны, ему неминуемо пришлось бы провести многие месяцы в тюрьме.

– Мы могли бы общими усилиями выплатить его долги, – говорил Пьер. – Если бы он только посоветовался со мной, этой трагедии можно было бы избежать. Теперь же Робер окончательно замарал свое имя. Ни один человек не поверит ему, если он скажет, что поехал в Лондон, чтобы усовершенствовать свое мастерство в изготовлении английского хрустала. Эмигрант есть эмигрант. Все они предатели, изменники нации.

Эдме, так же как и Мишель, запретила произносить имя Робера в своем присутствии.

– У меня больше нет старшего брата, – сказала она. – Для меня он все равно что умер.

Теперь, когда сестра ушла от мужа, она занималась тем, что помогала Пьеру в его работе нотариуса: писала письма как заправский клерк, принимала вместо него клиентов, когда он был

занят муниципальными делами. Она справлялась с работой не хуже любого мужчины, как говорил Пьер, и делала это в два раза быстрее.

Матушку мою не слишком занимала политическая подоплека поступка Робера. Больше всего ее огорчило то, что он бросил сына. Конечно же, она возьмет к себе Жака, пусть живет в Сен-Кристофе, пока не вернется Робер; она отказывалась верить, что он не вернется, считала, что это вопрос всего лишь нескольких лет.

«Робер ничего не мог добиться в Париже, – писала она нам, – почему, собственно, он рассчитывает на успех в чужой стране? Он вернется домой, как только новизна положения померкнет, и поймет, что не сможет одурачить англичан с помощью своего обаяния».

Я получила от брата два письма вскоре после того, как он приехал в Лондон. Все виделось ему исключительно в розовом свете. Он и его молодая жена без всяких затруднений нашли себе жилье, и он уже работал гравировщиком в солидной фирме, где новые хозяева, по его словам, «очень с ним носятся». Он быстро осваивает английский язык. В том районе, где он живет, – кажется, Робер назвал его Панкрас – обосновалась кучка французов, приехавших в Англию, так что они не испытывают недостатка в обществе.

«У герцога Орлеанского дом на Чапель-стрит, – писал он, – и хозяйкой там мадам Бюффон. Большую часть времени герцог проводит на скачках, но я слышал из достоверных источников, что ему, вероятно, предложат корону Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Если это случится, вполне возможно, что мои планы могут существенно измениться».

Этого не случилось. Дальнейшие сведения о герцоге Орлеанском мы получили из статьи, помещенной в леманском журнале. Там говорилось, что герцог вернулся в Париж и предстал перед Собранием, чтобы принести клятву верности Конституции. Это было в июле тысяча семьсот девяностого года, и в течение целого месяца я ожидала, что Робер, верный своим патронам, тоже вернется во Францию. Напрасные надежды. Письмо наконец пришло, однако оно было кратким, там не было ничего интересного, кроме известия, что Мари-Франсуаза ожидает своего первого ребенка. Что до герцога Орлеанского, то его имя вообще не упоминалось.

Тем временем мы сами пережили первые девять месяцев нового режима, и хотя обещанный рай покуда не наступил, промышленность

и торговля заметно оживилась. Нам не на что было жаловаться.

Тяготы и лишения прошедшей зимы больше не повторились, не было и такого голода, хотя цены держались на прежнем высоком уровне и народ роптал. Общий интерес и оживление, поддерживавшие в нас бодрость, вызывали выпускаемые каждый месяц декреты, которые заменяли законы для всей страны.

Старые привилегии были аннулированы, и теперь каждый человек в стране мог улучшить свое положение и добиться высоких постов, если для этого у него было достаточно ума и энергии. Была изменена система судопроизводства, что вызвало глубокое удовлетворение моего брата Пьера, и теперь, для того чтобы признать человека виновным, недостаточно было решения судьи, это мог сделать только гражданский суд при участии присяжных. В армии каждый солдат мог стать офицером, и в связи с этим многие прежние офицеры эмигрировали из страны, что не явилось для нее большой потерей.

Самым тяжелым ударом для тех, кто придерживался прежних взглядов, являлись реформы в области церкви. Для людей же вроде моего брата Мишеля они были самым великим достижением великого тысяча семьсот девяностого года. В феврале были запрещены монашеские ордены. Это было только начало.

– Н-не будет больше толстопузых монахов, им пришел конец! – весело воскликнул Мишель, услышав эту новость. – Придется им теперь потрудиться, чтобы заработать себе на пропитание, как и всем прочим.

Четырнадцатого мая был издан декрет, объявляющий все церковные земли собственностью нации. Мишель, который командовал Национальной гвардией в Плесси-Дорен, – надо честно признать, что его отряд состоял почти исключительно из наших рабочих со стекловарни, – испытал чувство наивысшего удовлетворения, когда явился в дом своего старинного врага кюре Конье и самолично вручил ему копию декрета.

– Я еле удержался, – рассказывал он нам через несколько дней, – мне так хотелось собрать скотину со всей деревни – всех коров и свиней – и п-пустить на его поле. Пусть знает, что земля принадлежит деревне Плесси-Дорен, а не церкви.

Дальше бедняге кюре пришлось еще хуже. В том же году в ноябре Национальное Собрание объявило, что каждый священник должен принести клятву Гражданскому Духовному Управлению, которое являлось частью государства, поскольку власти Папы больше не существовало, а если кто-либо из священников откажется принести эту клятву, он будет отстранен от должности и ему запретят отправлять требы.

Кюре Конье отказался принести клятву, и ему пришлось уйти...

– Два года я этого дожидался, – признался Мишель. – Когда же наконец Собрание решится и объявит, к-как и к-когда будут продаваться церковные земли, я буду первым покупателем.

Национальное Собрание больше всего на свете нуждалось в деньгах, для того чтобы укрепить пошатнувшееся финансовое положение страны, и были выпущены долговые обязательства, называемые ассигнатами^[36] и обеспеченные церковными землями, которые раздавались патриотам, желающим получить их в обмен на наличные деньги. Чем большим количеством ассигнат располагал человек, тем большим патриотом он считался в глазах своих братьев, а позднее, когда началось действительное распределение земель, он мог обменять эти ассигнаты либо на землю, либо на соответствующее количество денег.

Звание «приобретатель национальной собственности» сделалось весьма почетным, предметом особой гордости, и в нашем округе Луар-э-Шер, Мондубло (дело в том, что при новой системе все департаменты Франции были переделены и получили новые названия) мой брат Мишель и мой муж Франсуа стояли во главе списка людей, носящих это звание.

Уже в феврале девяносто первого года Мишель, используя свои ассигнаты, купил имение некоего епископа где-то между Мондубло и Вандомом – шато и прилегающие к нему земли, что стоило ему тринадцать тысяч ливров, – исключительно из-за ненависти к церкви.

Он не собирался в нем жить. Поселил там одного крестьянина, чтобы тот обрабатывал землю, а сам намеревался только наезжать туда, ходить по земле, озирая свои владения, с удовлетворением думая о том, что он до некоторой степени расквитался с кюре Конье и, каким-то странным образом, со своим старшим братом. Робер транжирил деньги, которые ему не принадлежали, обманывал своих

компаньонов. Мишель же намеревался так или иначе это компенсировать во имя народа.

Я не претендую на то, чтобы объяснить, как работала его мысль, знаю только одно: мало-помалу, по мере того как он становился «приобретателем национальной собственности», в нем появилась тяга к власти ради самой власти. Помню – это было еще до того как он купил землю, значит примерно в ноябре тысяча семьсот девяностого года, – я как-то раз пришла навестить семью Делаланд, потому что болела их маленькая дочка, и мадам Делаланд мне сказала:

– Наши мужчины, значит, отправляются нынче вечером в Отон с отрядом Национальной гвардии.

Я слышала об этом впервые, но мне не хотелось выглядеть перед ней неосведомленной, и я ответила:

– Похоже, что так.

Она улыбнулась и добавила:

– Если они вернутся с таким же грузом, как год назад, во времена лесных патрулей, всем нам будет неплохо. Говорят, Шарбоньер это отличное имение, дом там прямо-таки набит всяким добром. Я велела Андре принести мне белья.

– Долг Национальной гвардии заключается в том, чтобы охранять собственность, а не в том, чтобы грабить, – холодно заметила я.

Она рассмеялась:

– Наши ребята понимают долг по-своему. К тому же в наши дни все принадлежит народу. Мсье Бюссон-Шалуар сам это говорит.

Я вернулась в дом, и когда мы все трое сели за стол обедать, спросила насчет предполагаемой экспедиции. Франсуа ничего не сказал. Как обычно, он бросил быстрый взгляд в сторону Мишеля.

– Да, это правда, – коротко подтвердил брат. – Но нас интересует не шато, а его хозяин.

– Хозяин? – удивилась я. – Но разве это не мсье де Шамуа, который командует гарнизоном где-то на границе, кажется, в Нанси?

– Он самый, – ответил Мишель. – Но он изменник, все это говорят. А у меня есть сведения, что он прячется в шато де Шарбоньер, и я со своим отрядом намереваюсь его арестовать.

Это было не мое дело, я не могла вмешиваться. Если мсье де Шамуа изменник, долг Национальной гвардии заключается в том, чтобы его арестовать. Я знала это имение, оно находилось совсем

недалеко, по дороге в Отон, до него можно было свободно дойти пешком. Знала я и мсье де Шамуа; в былые времена он покупал у нас стеклянную посуду и хрусталь, это был приятный любезный господин, он пользовался особым расположением нашей матушки. Мне казалось маловероятным, чтобы он вдруг сделался изменником. Он был офицер, служил в армии и не собирался эмигрировать.

– Не забывай о вежливости, когда будешь его арестовывать, – сказала я. – В последний раз, когда он был здесь, он приезжал выразить сочувствие по поводу смерти нашего отца, сразу после того как тот умер.

– От меня он с-сочувствия не дождется, – проворчал Мишель. – Пусть только п-попробует сопротивляться: скрутят руки, д-дадут пинок под зад, и дело с концом.

Они отправились, едва только стемнело, отрядом в шестьдесят человек, в полном вооружении, и когда они не вернулись на следующий день, я стала опасаться самого худшего, очередной кровавой расправы, подобной той, которая произошла в Баллоне и исполнителями которой будут на сей раз наши люди. Сейчас в округе не было ни разбойников, ни скупщиков зерна – все было спокойно.

Я позвала Марсея Готье, одного из молодых рабочих, который не мог отправиться со всеми остальными из-за того, что у него болела нога, и велела ему отвезти меня в Отон. За несколько месяцев до этого я крестила у него ребенка, и он рад был мне услужить.

День был сырой и пасмурный, и мы поехали в шарабане – том самом, в котором мы с Робером ездили в Сен-Кристоф. На развилке, немного не доезжая шато де Шарбоньер, мы увидели, что дорога загорожена и там стоит охрана из наших людей. Въезд в шато был запрещен, для того чтобы туда попасть, нужно было специальное разрешение, но меня сразу узнали, и нас пропустили. Перед домом стояли национальные гвардейцы, очевидно, под командой Андре Делаланда, и первое, что бросилось мне в глаза в приготовленной куче добра, сваленного на подъездной аллее, – это груды постельного белья. Он не забыл наказа жены.

Андре подошел к шарабану – мое появление, по-видимому, его несколько удивило, – отдал мне честь и сообщил, что птичка улетела, – какой-то шпион предупредил мсье де Шамуа об опасности, и он сбежал, прежде чем подоспела Национальная гвардия. По этой

причине мои брат и муж отправились в Отон, чтобы расспросить тамошних людей.

Я велела Марселю повернуть лошадь и следовать дальше в Отон, и когда мы проезжали мимо дома, оттуда вышли еще несколько наших людей, по крайней мере с десятков, неся в руках стулья, столы и одежду. Марсель бросил на меня хитрый взгляд, но я не сказала ни слова.

Дорога в Отон тоже была перегорожена, но часовые опять-таки узнали наш шарабан, и нас пропустили. Мы остановили лошадь у ратуши, возле которой собралась небольшая толпа испуганных людей. Когда я спросила о причине, мне сказали, что комендант Национальной гвардии дал команду осмотреть каждый дом в поисках мсье де Шамуа.

– Нет его здесь! – крикнула из толпы какая-то женщина. – Его никто не видел в Отоне. Но им это безразлично, они все равно решили перевернуть все вверх дном в каждом доме.

Я действительно видела, как они это делают. Вот по улице идет Дероше – уж ему-то совсем не пристало заниматься такими делами, – толкая перед собой мушкетом лавочника и требуя, чтобы тот открыл лавку, а рядом с ним, с ревом, бегут двое малышей.

Я вышла из шарабана и поднялась по ступенькам в ратушу. Там я нашла Франсуа и Мишеля, они сидели за столом, у каждого за стулом – двое наших рабочих в качестве часовых, а перед ними, вытянув руки по швам, стоял невысокий человек, серый от страха. Насколько я понимала, это был мэр города. Меня никто не заметил, когда я остановилась в дверях, так как все глаза были прикованы к Мишелю.

– Вы п-понимаете, что я исполняю свой д-долг, – говорил он. – Если де Шамуа будет обнаружен в Отоне, безразлично где, вы будете нести ответственность. А мы останемся здесь, по крайней мере на сорок восемь часов, пока все как следует не обыщем. На это время вы обязаны предоставить помещение для нас и наших людей, разумеется бесплатно. Вам это ясно?

– Вполне ясно, мой комендант, – отвечал мэр, кланяясь и весь дрожа. Он тут же повернулся к другому служащему, с тем чтобы отдать необходимые приказания.

Мишель прошептал что-то на ухо Франсуа, и я видела, как мой муж засмеялся и подписал какую-то бумагу, снабдив подпись

затейливым масонским росчерком.

Я видела по их лицам, что оба они находятся в превосходном настроении. Напугать мэра, расквартировать своих людей в маленьком городишке – все это было для них вроде забавы. Можно было подумать, что Мишель с братьями играет в индейцев в нашем лесу, как в далеком детстве.

Однако для мэра это были не игрушки. Так же как и для жителей городка, которые должны были кормить пришельцев, насильно ворвавшихся в их дома.

Вдруг Франсуа поднял голову и увидел меня. Он побагровел и толкнул локтем Мишеля.

– Чт-то ты здесь д-делаешь? – спросил меня брат.

– Я просто хочу узнать, будете ли вы дома к обеду, – ответила я.

Кто-то хихикнул, – должно быть, один из молодых рабочих, которых недавно заставили вступить в Национальную гвардию. Мишель ударил кулаком по столу.

– Молчать! – рявкнул он.

Наступила мгновенная тишина. Мэр побледнел еще больше. Франсуа, опустив голову, смотрел на лежавшие перед ним бумаги.

– В таком случае можешь отправляться назад в Шен-Бидо, – сказал Мишель. – Н-национальная гвардия находится здесь на службе нации, и к-когда долг перед нацией б-будет исполнен, Национальная гвардия вернется. Вельо, Мушар, проводите мадам Дюваль на улицу.

Я пошла к двери в сопровождении двух гвардейцев, которые шли по обе стороны от меня. Я понимала, что если не считать сомнительного удовольствия от того, что мое появление нанесло некоторый урон их престижу, я ничего своим приездом не добилась. Боюсь только, что их обращение с мэром стало еще более суровым.

Мы с Марселем покатали назад, на завод, и когда выезжали из Отона, увидели, как из города вышел еще один отряд национальных гвардейцев, которые рассыпались по полю по обе стороны дороги, перекрикиваясь между собой, и стали шарить в канавах, совсем так же, как это делают собаки во время охоты на кабана.

– Если он там, они его поймут, – заметил Марсель, – и вряд ли после этого от него что-нибудь останется, насколько я знаю наших ребят.

Он поцокал языком, погоняя лошадь. И это тот самый человек, который едва три месяца тому назад стоял у купели в Плесси-Дорен, отирая слезы умиления, когда крестили его малютку-дочь.

– Ты надеешься, что его поймают? – спросила я.

– Поймают и прикончат, мадам, – ответил он. – Чем скорее страна избавится от этой нечисти, тем лучше.

Они так и не нашли мсье де Шамуа. Кажется, он вернулся в Нанси и, доказав, что не изменник, снова стал служить в тамошнем гарнизоне, хотя мы узнали об этом значительно позже.

Я всегда со стыдом вспоминаю один эпизод, который произошел с нами по дороге. Когда мы подъезжали к Плесси, мне показалось, что я увидела в канаве сгорбленную фигуру, и, вместо того, чтобы промолчать, тут же пришла в страшное возбуждение и крикнула Марселю:

– Вон он, спрятался за кустом, скорее... – и чуть ли не вырвала вожжи у него из рук, чтобы гнать лошадь и не упустить беглеца. Оказалось, что это всего-навсего пень от сгнившего дерева, и невольное разочарование, которое я при этом испытала, потрясло меня до глубины души.

Это была лишь одна из многочисленных экспедиций подобного рода, предпринятых мастерами Шен-Бидо совместно с их работниками в облинии национальных гвардейцев, и мой брат Мишель за свое рвение и патриотизм был назначен генерал-адъютантом округа Мондубло. Поначалу мне было противно, однако скоро я смирилась, приняв эти набеги на имения как нечто естественное, и даже испытывала гордость, когда женщины говорили мне, что во всей округе между Ферт-Бернаром и Шатодёном люди больше всего боятся мсье Дюваля и мсье Бюссон-Шалуара. Мишель по-прежнему главенствовал во всем, однако Франсуа тоже приобрел известный статус, в его поведении чувствовалась властность, которая нравилась мне больше, чем его прежний покорный вид. Он хорошо выглядел в форме Национальной гвардии – высокий, широкоплечий, – и мне приятно было думать, что стоило ему только появиться во главе отряда в каком-нибудь нашем городке или деревне, как там мгновенно закипала лихорадочная деятельность.

Мой Франсуа, который был, когда мы поженились, всего-навсего мастером-стеклодувом на небольшой стекловарне, имел теперь власть

явиться в какое-нибудь имение и арестовать его владельца, если тот находился под подозрением, – того самого владельца, который всего несколько лет назад просто вышвырнул бы его за дверь.

Был один случай, когда эта пара – мои брат и муж – с горсткой национальных гвардейцев арестовали половину всех жителей деревни Сент-Ави, схватили двух бывших аристократов, братьев Белиньи, и еще одного, мсье де Невё, обезоружили их и отправили под стражей в Мондубло по подозрению в том, что они изменники нации. Муниципальные власти в Мондубло держали всех троих под арестом, так как они не смели ослушаться приказа генерал-адъютанта. Несколько дней спустя, заходя в дома наших рабочих в Шен-Бидо, я обратила внимание на великолепные ножи и вилки – некоторые из серебра и с монограммами, – выставленные напоказ, и нисколько об этом не задумалась, словно они были просто куплены на рынке в какой-нибудь лавке.

Великое дело привычка: стоит только привыкнуть, и новая для тебя точка зрения начинает казаться вполне естественной. Постепенно я стала смотреть с подозрением на всякую собственность более или менее внушительных размеров. Я решила, что если человек при старом режиме принадлежал к аристократии, он не имеет права ею владеть. Так же как Мишель и Франсуа, я считала, что эти люди затаили злобу и мечтают о мести, а возможно, скрывают у себя склады оружия, которое потом будет использовано против нас. Ведь новые законы очень больно ударили по аристократам, и естественно было предположить, что они будут тайно собираться группами, имея целью свержение нового режима.

Я никогда не слышала, что думает об этих мародерских делах Пьер. Когда мы бывали в Ле-Мане, речь о них никогда не заходила, ведь у него всегда было достаточно собственных новостей, которыми он жаждал поделиться. Он сделался ревностным членом организации, носившей название «Club des Minimes».^[37] Она была филиалом «Якобинского клуба» в Париже, знаменитого своими прогрессивными взглядами, и была образована теми депутатами Национального Собрания, которые постоянно требовали дальнейших изменений Конституции. Заседания «Club des Minimes» частенько проходили весьма бурно, а на одном из них в конце девяносто первого года Пьер поднялся со своего места и произнес страстную речь, направленную

против трехсот священнослужителей и такого же количества экс-дворян в Ле-Мане, которые – он был готов в этом поклясться – делали все возможное, чтобы уничтожить революцию.

Все это я узнала от Эдме, которая приезжала к нам в Шен-Бидо на несколько дней погостить.

– Это я ему об этом рассказала, – поделилась со мной сестра. – Жена одного из наших клиентов, мадам Фулар, явилась ко мне и пожаловалась, что, когда она пришла на исповедь, священник велел ей использовать свое влияние на мужа, с тем чтобы он не вступал в «Club des Minimes». Если она этого не сделает, он не даст ей отпущения грехов.

Я не могла поверить, что священник может решиться на такое, однако Эдме уверила меня, что это был не единичный случай; то же самое она слышала и от других женщин.

– Ле-Ман заражен отвратительным реакционным духом, – говорила она, – и я уверена, что виноваты в этом офицеры шартрского драгунского полка. В моем старом доме в Сен-Винсентском аббатстве поставили на постой одного бригадира, и он мне рассказал, что офицеры запрещают драгунам браться с национальными гвардейцами. Пьер со мной согласен, «Club de Minimes» считает, как он говорит, что пора совсем избавиться от этого полка. Драгуны сослужили свою службу, к тому же у тамошних офицеров слишком много родственников, которые эмигрировали из Франции, бежали к принцу Конде в Кобленц.

Принц Конде, двоюродный брат короля, вместе с графом д'Артуа находился в Пруссии и пытался создать из эмигрантов, которые за ним последовали, добровольческую армию, а потом с помощью герцога Брауншвейгского вторгнуться во Францию и свергнуть новый режим.

От Робера мы не имели никаких известий в течение нескольких месяцев, и я очень боялась, что он, подобно многим другим, уехал из Англии и направился в Кобленц. Находясь в непосредственном общении с реакционерами, которые спят и видят как бы восстановить свое положение, он, конечно же, заразился их идеями, и ничего не знает о том, что делается у нас для блага страны.

Всякий раз как мы встречались с Пьером, он, прежде чем меня обнять, вопросительно смотрел, а я только качала головой. Ни он, ни я

не говорили ни слова, пока не оставались наедине. На нашей семье лежало позорное клеймо: среди нас был эмигрант.

Между тем Эдме была права, говоря, что в Ле-Мане существуют реакционные силы. Это легко можно было заметить в театре – нам говорили, что то же самое происходит и в Париже: когда по ходу пьесы упоминались свобода, равенство и братство, все патриоты, присутствующие в зале, начинали громко аплодировать, когда же, наоборот, речь заходила о верности трону или о принцах, приветственные крики и аплодисменты раздавались со стороны тех, кто считал, что наши собственные король и королева подвергаются в Париже притеснениям.

В самом начале декабря девяносто первого года я решила поехать к Пьеру погостить. Это было в то время, когда Мишель купил свой участок церковной земли за Мондубло, поэтому ни он, ни Франсуа не могли сопровождать меня в Ле-Ман. Я приехала в понедельник, а на следующий день Пьер и Эдме явились домой к обеду в страшном возбуждении, вызванном тем, что они услышали о событиях, произошедших накануне в Театре комедии. Оркестр драгунских офицеров, в сопровождении которого шел спектакль, отказался играть популярную в то время песню «Ça ira»,^[38] несмотря на то, что этого требовала большая группа зрителей, сидевших на дешевых местах.

– Муниципальные власти в ярости, – объявил Пьер. – Они уже подали жалобу офицеру, который сегодня утром командовал парадом драгун. Если ты хочешь позабавиться, Софи, пойдём в четверг с нами в театр, мы с Эдме собираемся посмотреть «Семирамиду», а после нее балет. Будет играть этот самый оркестр драгун, и если они не сыграют нам «Ça ira», я заберусь на сцену и буду петь сам.

Эта песня пользовалась бешеным успехом в Париже, а теперь и у нас в провинции чуть ли не каждый либо насвистывал, либо напевал эту мелодию, хотя написана она была как карийон^[39] и исполнять ее нужно было на колоколах. Честное слово, это была заразная мелодия. Я слышала ее с утра до ночи от молодых работников и подмастерьев у нас на заводе и во дворе, и даже мадам Верделе напевала ее в кухне, хотя и сильно фальшивила. Мне кажется, что молодежи особенно нравились слова, и, вероятно, именно эти слова и были восприняты как оскорбление консервативно настроенными музыкантами драгунского оркестра.

Если я правильно помню, начальная строфа звучала так:

Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira!
Les aristocrates a la lanterne,
Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira!
Les aristocrates on les pendra!^[40]

Поначалу эту песню пели легко, она была чем-то вроде шутки – парижане всегда славились любовью к насмешкам, – но по мере того как шло время и в народе росло озлобление против эмигрантов и тех аристократов, которые пока еще оставались здесь, но в любое время могли последовать примеру уехавших, слова песни начали приобретать иной смысл. Мишель стал использовать ее в качестве марша для своего отряда Национальной гвардии в Плесси-Дорен, и когда его люди, построившись на заводском дворе, отправлялись в поход – с законными целями или с какими-либо иными, – я должна признаться: что мелодия и слова, которые выкрикивали шестьдесят человек, громко топая в такт, заставили бы меня крепко запереть дверь и спрятаться, если бы только меня можно было заподозрить в отсутствии патриотизма.

Но как бы то ни было, «Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira!» постоянно звучало у меня в голове так же, как и у всех остальных. У нас в Шен-Бидо и в кружке Пьера в Ле-Мане начало песни превратилось в крылатое выражение: всякий раз, когда мы слышали о новом законе, направленном против сил реакции, или когда дома предлагался какой-нибудь план, который мы намеревались осуществить, мы говорили: «Ça ira!», и больше никаких разговоров не было.

Вечером в четверг десятого декабря Пьер, Эдме и я отправились в Театр комедии – жена Пьера осталась с детьми и очень уговаривала меня сделать то же самое, поскольку я снова была беременна, уже на четвертом месяце, и она опасалась давки. К счастью, Пьер догадался заранее купить билеты: перед театром собралась такая толпа, что нам с трудом удалось через нее пробиться.

Театр был набит до отказа, но у нас были прекрасные места в партере, возле самого оркестра. Пьеса – давали «Семирамиду»

Вольтера – прошла без всяких инцидентов, актеры играли отлично, но когда начался антракт, Эдме подтолкнула меня и прошептала:

– Смотри, сейчас начнется.

Наша Эдме придерживалась весьма передовых, особенно для провинциалки, взглядов на то, что следует и чего не следует носить. В тот вечер, презрев тогдашнюю моду, согласно которой волосы зачесывались наверх и из них устраивалась высокая башня наподобие копны сена, которая украшалась лентами, она надела на голову небольшой задорный фригийский колпачок из бархата – ни дать ни взять мальчишка-посыльный из тех, что бегают по улицам. Как это пришло ей в голову, я не знаю, но этот головной убор, несомненно, был предшественником «красных колпаков», которые в последующие месяцы стал носить весь Париж.

Сидя в партере, мы осматривались вокруг себя и старались угадать, кто из наших соседей принадлежит к реакционерам. Эдме уверяла, что может угадать реакционера с первого взгляда. Пьер, который встал со своего места и отошел, чтобы поговорить с друзьями, вернулся и шепнул нам, что единственный выход на улицу охраняется крупными силами Национальной гвардии.

Внезапно с дешевых мест позади нас раздался шум; сидевшие там люди стали топтать ногами, а национальные гвардейцы, одетые в свою форму, закричали: «Господин дирижер! Будьте так любезны! Народ хочет слышать „Ça ira"».

Дирижер не обратил на эти крики никакого внимания. Он поднял палочку, и драгуны начали играть какой-то быстрый марш, не имеющий никакой политической окраски.

Топот усилился, к тому же люди стали хлопать в ладоши, медленно и ритмично, и в этот ритм включилось множество голосов, подхватив привычный мотив «Ça ira! Ça ira! Ça ira!».

Песня звучала угрожающе, сопровождаемая гулким аккомпанементом топающих ног на фоне военного марша. Тут и там вскакивали люди, выкрикивая противоположные приказания: кто-то требовал, чтобы играли «Ça ira», другие приказывали драгунам продолжать свою программу.

В конце концов национальные гвардейцы подступили к сцене, дирижер был вынужден сделать знак оркестру прекратить играть.

– Этот беспорядок – позор для города! – кричал он. – Если кто-то не хочет слушать музыку, пусть покинет зал.

Одни приветствовали эти слова, другие протестовали, слышались свистки и топот ног.

Офицер, который командовал национальными гвардейцами, крикнул:

– «Ça ira» – национальная песня. Каждый патриот, находящийся в зале, желает ее слышать!

Дирижер покраснел и посмотрел вниз, на зрительный зал.

– Среди зрителей есть и такие, которые этого не хотят, – отвечал он. – Слова этой песни являются оскорблением для верных подданных короля.

Ответом были свист и дикие крики. Эдме, сидевшая рядом со мной, присоединилась к этим крикам, к великому смущению соседей. В разных концах зрительного зала люди что-то выкрикивали, размахивая в воздухе программками.

Потом драгунские офицеры, сидевшие рядом с нами в партере, а также те, что находились в ложах, вскочили на ноги и выхватили из ножен шпаги. Один из них, капитан по званию, приказал всем драгунам, присутствующим в зале, собраться возле ложи рядом со сценой, где сидели офицеры, и следить за тем, чтобы никто не тронул музыкантов.

Национальная гвардия выстроилась напротив, в полном вооружении. Страх охватил всех находящихся в зале – ведь если противные стороны вступят в драку, что случится с остальными зрителями, при том, что выход закрыт и никто не может покинуть зал?

Как мне не везет, думала я, всякий раз, как я ношу ребенка, непременно попадаю в какую-нибудь кашу, однако в данный момент по какой-то непонятной причине мне не было страшно.

Так же как Эдме, я терпеть не могла надменных драгунских офицеров, которые расхаживали по улицам Ле-Мана с таким видом, словно город принадлежит исключительно им одним. Я поглядела на Пьера, который по случаю выхода в театр надел форму национального гвардейца, и подумала, что она очень ему идет. Пьеру не было еще сорока лет, однако волосы его почти совсем поседели, и это придавало

его облику еще большую значительность, а синие глаза, так похожие на матушкины, сверкали от негодования.

– Пусть те из присутствующих в зале, кто не хочет слушать «Ça ira», встанут, чтобы мы могли их видеть! – громко закричал он. – Таким образом мы сразу же увидим, кто здесь враги народа.

Это предложение было встречено криками одобрения, и я почувствовала гордость за брата. Пьер, наш непрактичный Пьер, не собирался пасовать перед драгунами.

Несколько человек нерешительно поднялись на ноги, но их тут же поспешно заставили сесть соседи, которые, несомненно, опасались услышать угрожающее «аристократ». В воздухе слышались выкрики и звуки споров, и драгуны со шпагами наголо готовы были наброситься на нас и изрубить в куски.

Мэр Ле-Мана с шарфом через плечо – знаком муниципальной власти – прошел в сопровождении еще одного муниципального чиновника по проходу к драгунскому офицеру, принявшему на себя командование, и твердым голосом предложил ему опустить шпагу и приказать остальным сделать то же самое.

– Велите своим музыкантам играть «Ça ira», – сказал он.

– Прошу прощения, – отвечал офицер – это был майор де Руийон, как шепотом сообщил кто-то по соседству с Эдме, – но песня «Ça ira» не входит в репертуар оркестра шартрских драгун.

В тот же момент все находящиеся в зале офицеры, так же как и некоторая часть публики, грянули хором: «Ça n'ira pas»,^[41] в то время как противники драгун продолжали петь свою песню, притопывая ногами и обходясь без музыки.

Наконец был достигнут некий компромисс. Майор де Руийон согласился разрешить оркестру играть требуемую песню, если после этого им будет позволено сыграть знаменитую мелодию «Richard, o mon roy, l'univers t'abandonne».^[42]

Эта песня была в большой моде в то время, когда король и королева вместе со всем двором находились в Версале, и намек был ясен. Ради воцарения мира и для того, чтобы можно было продолжать балет, который должен был заключить программу вечера, мэр Ле-Мана согласился.

Мне казалось, что крыша рухнет у нас над головой, когда наконец грянула «Ça ira». Даже я стала подтягивать, пытаюсь себе представить,

что сказала бы матушка, если бы могла меня видеть. Когда после этого запели «Richard, o mon gou», казалось, ее поют шепотом, поскольку пели только одни драгуны да еще одна-две женщины в партере, которым хотелось выделиться.

Мы ушли, не дождавись конца балета, – после того, что только что произошло, остальное было совсем неинтересно. Шагая по улицам, вся наша троица – две сестры и между ними брат – громко распевала:

Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira!
Les aristocrates a la lanterne!
Ah! Ça ira! Ça ira! Ça ira!
Les aristocrates on les pendra!

На следующий день в городе была огромная демонстрация: толпы народа требовали изгнания шартрских драгун, а Пьер и Эдме пошли по домам, собирая подписи под петицией аналогичного содержания. Многие горожане, а также члены муниципалитета считали, что драгуны сослужили городу хорошую службу, защищая его в годину опасности; другие же – Пьер, Эдме и все остальные, принадлежавшие к их кругу, – настаивали на том, что среди офицеров преобладают контрреволюционные настроения и что для поддержания порядка достаточно Национальной гвардии.

На какое-то время эта проблема была отложена, но в течение моего недельного пребывания в Ле-Мане мы пережили еще одно волнующее событие, а именно выборы нового епископа нашей епархии. Им стал мсье Прудом де ла Бусиньер, который принес присягу Конституции.

Мы вышли на улицу, чтобы посмотреть на процессию и приветствовать епископа, который направлялся в собор, где будет отслужена месса Конституции. Его сопровождал эскорт, состоявший из отряда Национальной гвардии, – среди них был и Пьер, – а также шартрских драгун, и тут уж не было никакой ошибки: гремели барабаны, свистели дудки – оркестр грянул «Ça ira».

В конце кортежа длинной вереницей шли простые горожане, вооруженные пистолетами из страха перед возможными беспорядками, и женщины с палками, угрожавшие всякому

приверженцу устаревших взглядов на духовенство, буде он окажется среди нас.

Что же касается шартрских драгун, то для них ситуация сделалась критической три месяца спустя, в середине мая, я тогда снова приехала в гости к Пьеру, на этот раз в сопровождении обоих моих мужчин: Франсуа и Мишеля. За несколько дней до нашего приезда на площади Якобинцев состоялась церемония посадки Майского дерева, и, в соответствии с веяниями времени, ствол дерева был задрапирован трехцветным полотнищем. Следующей же ночью дерево было распилено на мелкие кусочки. Это был настоящий акт вандализма, и подозрение тут же пало на драгун, тем более что в тот самый вечер компания драгун оскорбила офицера Национальной гвардии.

На сей раз поднялось все население города. Можно было подумать, что снова наступил восемьдесят девятый год. Огромные толпы народа собрались на площади Якобинцев с криками: «Отмщения! Отмщения!» В город начал прибывать народ из окрестностей, ибо, как обычно, новость распространилась с молниеносной быстротой, и вот уже из соседних деревень повалили крестьяне, вооруженные пиками, кирками, вилами и топорами, грозя сжечь город до основания, если горожане не возьмут дело в свои руки и не заставят муниципалитет изгнать драгун.

На сей раз я оставалась дома, памятуя ужасы мятежных событий перед Сен-Винсентским аббатством почти два года тому назад, но, высунувшись из окна вместе с возбужденными мальчиками, я могла слышать гул толпы. Не прибавляла мне спокойствия и мысль о том, что Пьер, Мишель и Франсуа и даже Эдме находятся там, на площади Якобинцев, призывая к отмщению.

Национальная гвардия, не дожидаясь приказа муниципалитета, начала возводить баррикады и устанавливать на них пушки. Если бы офицеры, командующие драгунами, отдали хоть один поспешный приказ к наступлению, их бы встретили пушечными выстрелами и дело кончилось бы кровавым побоищем.

Однако офицеры, надо отдать им Справедливость, сдерживали своих солдат. А тем временем взволнованные чиновники муниципалитета метались от одного начальника к другому, не зная, что делать, и пытаясь добиться от них указаний.

В восемь часов вечера толпа оставалась такой же плотной и ничуть не менее угрожающей, чувствуя за собой поддержку Национальной гвардии, и все, как один, кричали, несмотря на уговоры муниципальных деятелей разойтись: «Никаких полумер! Драгуны должны уйти сегодня же ночью!»

Снова, как привычный клич, прозвучала «Ça ira». В ту ночь город, казалось, весь гудел, сотрясаясь от звуков этой песни, однако муниципалитет все еще колебался, опасаясь, что, если полк уйдет, простые обыватели окажутся во власти сброда, заполонившего город.

Решение было, должно быть, принято где-то между одиннадцатью и полуночью, где и как, я так и не узнала, но только в час ночи, когда улицы все еще были заполнены толпой, шартрские драгуны оставили город. Я уже лежала в постели, беспокоясь о Франсуа и братьях, которые все еще находились на улицах. Крики стихли, все было спокойно. И вот, едва только церковные колокола пробили час, я услышала, как двинулась кавалерийская часть. Есть что-то зловещее, даже сверхъестественное в том, как ритмично цокают копыта по мостовой, как позвякивает сбруя, сначала громко, потом все тише и, наконец, совсем замирает вдали. И кто может сказать, что принесет городу их отъезд – благо или, напротив, новые беды? Два года назад я дрожала бы от страха, узнав об их уходе. А теперь, лежа в постели и ожидая прихода Франсуа и всех остальных, я только улыбалась при мысли о том, как горстка национальных гвардейцев без единого выстрела заставила подчиниться целый полк солдат.

Уход шартрских драгун из Ле-Мана стал знаком победы «Club des Minimes» и других подобных ему организаций, и с этого дня они приобрели неограниченное влияние на все городские дела. Те чиновники муниципалитета, которые высказывались в свое время за то, чтобы полк остался в городе, лишились своих постов, и даже в самой Национальной гвардии была проведена чистка: удалялись все, кто подозревался в симпатиях к старому режиму.

В ознаменование этих событий менялись названия улиц, срывались геральдические знаки, и в то же самое время состоялась продажа церковных земель. Начало всего этого я еще застала до своего отъезда домой.

Мишель, услышав, что рабочие собираются ломать одну из небольших городских церквей и что вся находящаяся в ней утварь будет продаваться любому, кто пожелает что-нибудь купить, предложил мне сходить и посмотреть, просто из любопытства.

Это было странное зрелище, и не могу сказать, чтобы оно мне понравилось. Я считала, что это кощунство – продавать предметы, к которым мы привыкли относиться с благоговением. Церковь еще не начали крушить, но из нее уже вытащили все, что там находилось: алтарь, кафедру, разную церковную утварь, – все это предлагалось для продажи. Поначалу торги шли довольно вяло, люди колебались, несомненно по тем же причинам, что и я, глядя широко раскрытыми глазами на все это. Но потом они осмелели, стали даже неловко посмеиваться, и один здоровенный молодчик – это был мясник – вышел вперед, держа в руках пачку ассигнатов, и купил алтарное ограждение, чтобы поставить его в своей лавке. После этого никто уже более не колебался. Статуи, распятия, картины – все продавалось и быстро находило покупателя. Я видела, как две женщины, сгибаясь под тяжестью, несут отличную картину, изображающую Вознесение, а один мальчишка схватил распятие и вертит его над головой наподобие шпаги, словно играя в войну. Я повернулась и уныло побрела прочь по улице. Мне вдруг вспомнилась часовня в Ла-Пьере, мы с Эдме и добрый кюре, благословляющий нас после первого причастия.

Вдруг я услышала смех у себя за спиной. Это были Мишель, Франсуа и Эдме со своим трофеем с этой распродажи. Мишель оказался обладателем ризы, священнического облачения, которую он накинул себе на плечи в виде плаща.

– Мне уже давно нужна новая рабочая блуза, – заявил он. – Теперь я буду законодателем мод в Шен-Бидо... На тебе, держи!

Он бросил мне алтарный покров, предлагая использовать его в качестве скатерти для стола в господском доме. Я видела, что Франсуа и Эдме держат в руках по чаше для причастия и с торжественным видом смотрят в мою сторону, словно собираясь пить за мое здоровье.

Глава четырнадцатая

Весть о том, что королевская семья тайно покинула Париж, дошла до нас днем двадцать четвертого июня девяносто первого года. Новость эта нас потрясла. Муниципалитет охватила паника. Именитые горожане, которых подозревали в симпатиях к старому режиму, были немедленно арестованы и подвергнуты допросу. Слухи вновь стали расползаться по округе. Шептались, что король и королева направляются к границе, чтобы соединиться там с принцем Конде; оказавшись в Пруссии, они соберут огромную армию, вторгнутся во Францию и восстановят прежний образ жизни.

Этот отъезд, как уверял Мишель, задуман как знак ко всеобщему исходу. Все малодушные, все недовольные, что до сих пор прикрывались, как вывеской, патриотизмом, тоже попытаются бежать, увеличив таким образом поток эмигрантов. В течение двух дней мы говорили исключительно об этом. Я помню, как женщины собирались в кружок, чтобы высказать свое мнение, и все, как одна, уверяли, что король пошел на это не по своей воле, все это дело рук королевы, король ни за что бы этого не сделал, если бы не она.

А потом пришла хорошая новость. Королевская семья была арестована в Варенне, возле самой границы, и теперь в сопровождении эскорта возвращается назад, в Париж.

– Теп-перь им конец, – сказал Мишель. – Никто больше не будет их уважать. Король окончательно лишился чести. Он обязан отречься.

Какое-то время мы думали, что именно так и произойдет. Называлось имя герцога Орлеанского в качестве возможного регента при дофине, были даже разговоры о республике. Затем мало-помалу страхи утихли, двор вернулся, и жизнь потекла по-прежнему, хотя и под сильной охраной, а несколько позже, в сентябре, король принес клятву верности Конституции.

Прежнее отношение к королю никогда больше не восстановилось. Как сказал Мишель, он потерял право на честь и уважение. Он был всего-навсего орудием в руках королевы и партии Двора, которые, как всем было известно, поддерживали отношения с бежавшими принцами и прочими эмигрантами. Меры безопасности

ужесточались. Самое строгое наблюдение велось за аристократами, оставшимися в стране, и теми представителями духовенства, которые не присягнули Конституции. Страсти так накалились, что некоторых из женщин, которые отказывались идти в церковь, когда мессу служили государственные священники, высекли на рыночной площади и заставили подчиниться и ходить в церковь независимо от того, кто там служит. Мне эта мера показалась чрезмерно суровой, однако я не стала высказывать свое мнение, и кроме того, мои собственные дела представляли для меня гораздо больший интерес.

Мое второе дитя, Софи-Магдалена, родилась восьмого июля, и по этому случаю ко мне из Сен-Кристофа приехала матушка вместе с Жаком. Как приятно было оказаться рядом с матушкой, которая по-прежнему властвовала над господским домом, словно никогда оттуда не уезжала. Она благоразумно воздержалась от каких бы то ни было комментариев по поводу произошедших у нас перемен, хотя я совершенно уверена, что она заметила все, начиная от парчовых портьер и кончая серебром с монограммами.

Ничего не сказала она и о том, как шла работа на стекловарне, где эскизы для гравировки на предметах из стекла и хрусталя делались в расчете на совершенно иного потребителя, существенно отличающегося от заказчиков прежних времен. Исчезли королевские лилии и затейливые монограммы. Эти символы и эмблемы вышли из моды, более того, они стали признаком упадка и разложения. Теперь на наших бокалах появились факелы, знаменующие свободу, а рядом – две руки, соединенные в дружественном пожатии, и надпись: «Равенство и братство». Не могу сказать, чтобы мне они особенно нравились, но в Париже и Лионе за них платили хорошие деньги, а для нас это было главным соображением.

Сидя в своей комнате, наблюдая, как я кормлю ребенка, и прислушиваясь к счастливому смеху Жака – крепкого десятилетнего мальчугана, – который играл во дворе с ребятами Дюроше, матушка улыбнулась мне и сказала:

– Мир может меняться, но есть вещи, которые остаются неизменными.

Я посмотрела на свою крошечную дочку и отняла у нее грудь, боясь, что она захлебнется.

– Ничего не известно, – ответила я. – Народное Собрание может издать закон, запрещающий это как потворство человеческим слабостям.

– Меня бы это не удивило, – отозвалась матушка, – как и все другое, что вздумалось бы сделать этим людям. Ведь добрая половина из них – жалкие адвокатишки и выскочки-чиновники.

Счастье, что Пьер этого не слышал, так же как и Мишель. Всякий человек, который произносил в адрес Собрания хотя бы одно критическое слово, был в их глазах предателем и изменником.

– Но ведь вы же не против революции? – спросила я с необычайной для себя смелостью.

– Я не против чего не возражаю, лишь бы это шло на пользу честным людям, – отвечала она. – Если человек хочет продвинуться в жизни, его надо в этом поощрять. Не понимаю, при чем тут революция. Твой отец стал богатым исключительно благодаря собственным усилиям. Он начал с самых низов, с подмастерья.

– Но у батюшки был талант, – возражала я. – Новые законы рассчитаны на то, чтобы помогать тем, у кого нет таких способностей.

– Не верь этому, – сказала матушка. – Крестьяне сейчас живут нисколько не лучше, чем раньше. Сейчас лезут вверх те, кто посередке. Лавочники и прочие. Я бы и не возражала против этого, если бы только они умели прилично себя вести.

Если смотришь на то, как младенец сосет грудь, если слушаешь, как рядом смеются дети, лазая по деревьям, то кажется, что революции происходят где-то бесконечно далеко.

– Этого ребенку вполне достаточно, – вдруг сказала матушка. – Она ест из жадности, а не по необходимости, совсем как взрослые. Положи ее в колыбель.

– Она революционерка, – сказала я. – Революционерам всегда всего мало, они постоянно требуют еще.

– Именно это я и говорю, – согласилась матушка, забирая от меня Софи-Магдалену и похлопывая ее по спинке, чтобы вышел воздух и она не срыгнула. – Она не знает, когда нужно остановиться, так же как эти так называемые патриоты у нас в стране. Кто-нибудь должен набраться решимости и иметь власть, чтобы сказать им: «Довольно!» Они ведь все равно что стадо без пастуха.

Как приятно было с ней разговаривать. Славно было слышать ее слова, исполненные здравого смысла. Революции могли приходиться и уходить, слухи и сплетни могли носиться по округе, общественное устройство – чему мы были свидетелями – могло рушиться, а матушка всегда оставалась сама собой. Она не была революционеркой, в то же время не отличалась особым упрямством, она только сохраняла свой благословенный здравый смысл. Она стояла возле колыбели, слегка покачивая ее, как делала это в давно прошедшие времена для каждого из нас, и вдруг сказала:

– Интересно, есть ли у твоего брата такой же маленький?

Она имела в виду Робера, и по выражению ее лица я поняла, как она о нем тоскует.

– Думаю, что теперь уже есть, – ответила я. – В прошлом своем письме он писал, что они ждут ребенка.

– Я ничего от него не получаю, – сказала матушка. – Вот уже десять месяцев прошло, и ни одного письма. Жак уже больше не спрашивает об отце. Как это странно, верно? Ведь если у Жака появится маленький брат или сестрица там, в Лондоне, малыш ведь будет уроженец Англии. Какой-нибудь маленький кокни, который ничего не будет знать о собственной стране.

Мама наклонилась над моей крошкой и, сотворив над ней крестное знамение, пошла вниз в кухню, пробормотав что-то относительно обеда для мужчин, которые должны вернуться домой со смены. Она ушла, но, казалось, в комнате еще какое-то время витали неясные тени, и мне внезапно показалось, что у меня что-то отняли. Все, что мы пережили за последние два года, показалось мне бессмысленным, и меня, неизвестно почему, охватило уныние и чувство потерянности.

Когда она снова уехала, возвратившись в свой Сен-Кристоф вместе с Жаком, было такое впечатление, будто здравый смысл и покой покинули нас вместе с ней. Франсуа и Мишель стояли посреди заводского двора, бессильно опустив руки, и всем нам троим казалось, что день для нас померк. В течение своего короткого визита матушка сумела, не дав никому этого почувствовать, вернуть свою былую власть. Мои мужчины являлись к столу, приведя себя в порядок и приодевшись; мадам Верделе каждый день скребла и мыла всю кухню, а рабочие, когда матушка к ним обращалась, сдергивали

шапки и стояли вытянувшись – и все это не из страха, а повинуюсь внутреннему чувству. На всем заводе не было ни одного человека, который не испытывал бы к ней уважения.

– К-как странно, – сказал после ее отъезда Мишель. – Ей стоит только посмотреть, и она д-добивается этим больше, чем мы своими ругательствами и уговорами. Жаль, что женщина не может быть депутатом. Ее бы непременно выбрали.

Я не знаю почему, но только за весь месяц ее пребывания у нас Мишель ни разу не созвал Национальную гвардию для очередной экспедиции, хотя устроил в честь матери парад перед церковью в Плесси-Дорене.

В сентябре, после того как прошли выборы и вновь выбранные депутаты заняли свои места в Законодательном Собрании, как его стали называть, у нас появились основания с достаточной компетентностью высказывать свое мнение об общественных делах, демонстрируя свою осведомленность перед Пьером и Эдме в Ле-Мане. Дело в том, что старший брат моего мужа, Жак Дюваль из Мондубло, был избран депутатом от нашего округа Луар-и-Шер. Как и все прогрессисты, он был членом Клуба якобинцев, и когда он возвращался домой из Парижа, то либо Франсуа и Мишель отправлялись к нему в Мондубло, чтобы узнать новости, либо он, выкроив время, приезжал к нам в Шен-Бидо. Именно он рассказал нам о том, как разделились мнения в новом Собрании: одни стояли за более мягкие меры, другие же, в том числе и он сам, придерживались самой решительной политики, причем внутри каждой из этих группировок велась беспощадная борьба за лидерство.

К королю по-прежнему относились с недоверием, и еще менее доверия вызывала королева, которая, как было известно, переписывалась со своим братом, австрийским императором, уговаривая его начать войну против Франции. Депутаты-прогрессисты – все они принадлежали либо в Клубу якобинцев, либо к Клубу кордельеров – считали, что за аристократами, оставшимися в стране, следует установить самое строгое наблюдение, так же как и за теми лицами духовного сословия, которые отказались принять присягу. Эти люди, по словам моего деверя, представляли собой угрозу безопасности нации, провоцируя волнения и вызывая недовольство в разных частях страны. До тех пор, пока они остаются

на свободе, они будут мешать делу революции, тормозить движение вперед.

Жак Дюваль сделался близким другом Марата, редактора «L'Ami du Peuple»,^[43] одного из наиболее популярных и широко читаемых изданий в Париже, и каждую неделю посылал нам эту газету, чтобы мы были в курсе всего, что говорится и делается в столице. Сама я не очень-то могла разобраться в том, что там написано; газета печатала зажигательные лозунги, призывая своих читателей к насилию, побуждая их принимать собственные меры против «врагов народа», в том случае если законодательные органы окажутся слишком медлительными. Мишель и Франсуа жадно впитывали каждое слово этой газеты и передавали все это рабочим, чего делать не следовало. У них было и без того достаточно дел на заводе: нужно было поддерживать темп производства, выполнять полученные нами заказы, и совсем не обязательно было шастать по округе в поисках изменников-дворян и закоснелых упрямцев-священников.

Что до меня, то я не мешала им говорить и только закрывала уши, не желая слушать никаких споров. Все мое время занимала малютка. Те девять месяцев, в течение которых мне было даровано счастье прижимать ее к своей груди, сохранились лишь как счастливое воспоминание. Ничего другого у меня не осталось.

Весной она простудилась, простуда перекинулась на грудь, и, хотя я не отходила от нее ни днем ни ночью в течение недели и вызвала доктора из Ле-Мана, нам не удалось ее спасти. Она умерла двадцать второго апреля тысяча семьсот девяносто второго года, за два дня после того, как Пруссия и Австрия объявили Франции войну; помню, мы услышали об этом в тот самый день, когда хоронили Софи-Магдалену. Я оцепенела от горя, так же как Франсуа, да и все наши люди на заводе горевали – малютка была такая веселая и жизнерадостная, все ее обожали.

Так же как это случается с другими людьми, понесшими тяжелую утрату, известие о войне принесло мне какое-то горькое удовлетворение. Теперь буду страдать не только я одна. Тысячи людей будут оплакивать своих близких. Пусть воюют, пусть терзают друг друга. Чем скорее враг вторгнется в наши пределы, чем скорее мы начнем нести тяжелые потери, тем скорее утихнет моя собственная боль.

Мне кажется, в ту весну я мало думала о том, что станется со всей страной, но прошло какое-то время, и неутешное горе, вызванное смертью моего ребенка, обернулось ненавистью к врагу. Ненависть к пруссакам и австрийцам, которые посмели вмешаться в дела Франции и объявили нам войну из-за того, что им не понравился наш режим; но более всего я питала ненависть к эмигрантам, которые подняли оружие против своей собственной страны.

Если раньше я их жалела и сочувствовала им, то теперь эти чувства исчезли бесследно. Они были предатели, все до одного. А ведь мой брат Робер, который не писал мне более года, тоже мог находиться в числе тех, кто вступил в армию герцога Брауншвейгского. От одной этой мысли мне делалось нехорошо. Теперь, когда Мишель и Франсуа отправлялись с отрядом Национальной гвардии в инспекционный поход, я вместе со всеми желала им удачи, а когда они возвращались с добычей, захватив во имя нации чье-то имущество, я испытывала удовлетворение, так же как и все остальные женщины на нашем заводе.

Земли, принадлежавшие аристократам, постигла та же участь, что и церковные земли, и именно в это время мы с Франсуа приобрели небольшое имение в Ге-де-Лоне, недалеко от Вибрейе, в расчете на будущее, на то время, когда нам захочется уйти на покой.

Повсюду были брошенные замки, поскольку их владельцы бежали за границу. Из Ла-Пьера уехали Гра де Луары, Шарбоны покинули свой дом в Шериньи. Владельца нашего Шен-Бидо, Филиппа де Манжена, выгнали из шато Монмирайль, однако его тестю, которого не коснулись подозрения, разрешили остаться и там жить.

Каждый день мы слышали о том, как все новые крысы бегут с корабля; большинство из них вступали в партию принца Конде, под начало к герцогу Брауншвейгскому, и по мере того как их имена попадали в эмигрантский список, мы с сомнительным удовлетворением отмечали про себя, что если они когда-нибудь и вернуться, то увидят, что в их домах, если их не сожгут и не разграбят, живут чужие люди, а все имение до последнего су перешло в собственность нации. Законодательное Собрание не проявляло по отношению к предателям достаточной суровости. Брат Франсуа Жак Дюваль и многие другие, разделявшие его мнение, требовали более решительных мер: каждого подозреваемого следует разыскать,

изловить и подвергнуть допросу, а в случае надобности держать под стражей до тех пор, пока он не докажет свою невиновность. Страна находилась в смертельной опасности: с востока на нее надвигались две армии, однако эта опасность была не единственной, поскольку в Бретани и на юго-западе, в Вандее, сохранялись роялистские настроения и эмигранты пользовались там большим сочувствием.

Война, естественно, оказала разрушительное действие на экономику, и мы в нашем стекольном деле почувствовали это одними из первых. Многие молодые люди, повинувшись велению сердца, вступили в армию, и у нас остались только старые рабочие, так что стекловарня работала дай бог если три дня в неделю.

Лошади и экипажи были реквизированы для армии, снова подскочили цены на зерно, и хотя кое-кто из депутатов Собрания требовал для скупщиков смертной казни, эта мера не прошла. И очень жаль, думала в то время я, вспоминая, на сей раз без всякого отвращения, убийство серебряника и его зятя в Баллоне. За эти три года я стала умнее, во всяком случае жалости во мне поубавилось. Когда твой муж офицер Национальной гвардии, а деверь – депутат, невольно начинаешь склоняться к мнению властей.

Друг Жака Дюваля, журналист Марат, был прав, когда в своей газете «L'Ami du peuple» поносил нерешительных членов Собрания и ратовал за то, чтобы власть перешла в руки сильной группы настоящих патриотов, которые не побоятся принять решительные меры для объединения страны и подавления оппозиции. Был один депутат, которому мы все доверяли: маленький адвокат Робеспьер, который в восемьдесят девятом году с таким блеском выступал в Версале. Если у кого-то и есть сила и способности для того, чтобы овладеть ситуацией, которая в течение лета постоянно ухудшалась, то только у него одного, как говорил мой деверь.

Робеспьер... известный в кругу друзей своим прозвищем «неподкупный», ибо никто и ничто не могло заставить его сойти с пути, который он считал правильным и справедливым. Пусть другие снисходительно смотрят на тех, кто не желает осуждать войну или поддерживает дружеские отношения с эмиграцией, на случай если переменится ветер и враг окажется победителем; пусть кто угодно, только не Робеспьер. Снова и снова предупреждал он министров, которые контролировали политику Собрания, что с той позицией,

которую занимает король, больше мириться нельзя: его упрямство, нежелание подписывать декреты, необходимые для безопасности государства, означают, что он старается выиграть время в надежде на то, что силы герцога Брауншвейгского одолеют армию французского народа. Если король не желает сотрудничать с правительством, короля следует низложить. Правительство должно быть сильным, иначе нация погибнет.

Эти и подобные аргументы мы слышали в течение всего лихорадочного лета девяносто второго года, либо читая о них в «L'Ami du Peuple», либо непосредственно от брата Франсуа, Жака Дюваля. Однако предела волнение достигло первого августа – это почувствовали не только мы, но и весь народ, каждый мужчина и каждая женщина, – когда командующий оккупационной армией герцог Брауншвейгский издал манифест, в котором говорилось, что Париж будет подвергнут опустошению и полному разрушению, если королевской семье будет причинен хоть малейший вред. А мы и не думали о королевской семье. Нас слишком тревожило возможное вторжение неприятельской армии, опасность, грозившая нашим домам, чтобы думать еще и о них. Этот манифест, рассчитанный на то, чтобы нас напугать и заставить подчиниться, оказал обратное действие: он не только не заставил нас испытывать нежные чувства по отношению к королю и королеве, но, напротив, в течение одного дня превратил нас в республиканцев.

Когда десятого августа парижская толпа поднялась и направилась в Тюильри, смела караул из швейцарцев и заставила королевскую семью искать спасения в манеже, где заседало Собрание, наша маленькая коммуна в Шен-Бидо отдала все свои симпатии народу. Пусть, думали мы, теперь герцог Брауншвейгский делает что хочет, мы готовы оказать ему сопротивление. Эта акция парижан имела одно весьма важное последствие: слабые люди, заседающие в Собрании, были окончательно сломлены. Местное самоуправление в Париже – муниципалитет, или Коммуна, как его теперь стали называть, – взяло власть в свои руки, и в сентябре должны были состояться выборы в новое Собрание, называемое теперь Конвентом, на основе всеобщего избирательного права, за которое все это время ратовал Робеспьер.

– Наконец-то, – говорил мой брат Пьер, – у нас будет сильное правительство.

И действительно, один из первых декретов, принятых на следующий день после штурма Тюильри, давал право каждому муниципалитету по всей стране арестовывать всякого, чей вид внушает подозрение.

Мне кажется, что если бы власть получил Мишель и мог бы действовать по собственному разумению, то в тюрьмах не хватило бы места для всех арестованных. Теперь же он вместе с отрядом Национальной гвардии гонялся за неprisягнувшими священниками, с тем чтобы выгнать их из нашей округи, – правда, в Париже Коммуна применяла к ним еще более суровые меры и сажала их в тюрьму.

Королевскую семью держали в заключении в Тампле, где вредоносное влияние королевы не могло нанести стране большого ущерба, поскольку она не могла больше писать за границу своему племяннику, императору Австрии.

Марат в своей газете «L'Ami du Peuple» утверждал, что спасти революцию может только одно: необходимо казнить всех аристократов – всех до одного; однако в этом случае наряду с виновными могут пострадать и невинные. Мы почему-то больше не проповедовали равенства и братства людей.

Тем временем Франсуа и Мишель были заняты организацией первичных выборов, которые должны были состояться на последней неделе августа. Наш департамент Луар-и-Шер был разделен на тридцать три кантона, и каждый кантон состоял из нескольких приходов или коммун. Каждый мужчина, достигший двадцатипятилетнего возраста, мог подать свой голос за выборщика или выборщиков своего кантона, а выборщики, в свою очередь, выбирали депутатов, которые должны были представлять население нашего департамента в Собрании.

Оба они, и брат и муж, должны были стать выборщиками кантона Голль и были полны решимости проследить за тем, чтобы вместе с ними не предложил себя в выборщики ни один человек, в котором можно было бы подозревать хоть малейшие реакционные наклонности. В этом их поддерживал мой деверь Жак Дюваль, приславший Франсуа из Парижа письмо, в котором настоятельно подчеркивал важность того, чтобы в следующем Собрании – Национальном Конвенте – прогрессисты составляли хотя бы относительное большинство. Этого можно было достигнуть только в

том случае, если выборщиками будут прогрессисты и если они сумеют обеспечить, чтобы были выбраны соответствующие депутаты. Себя он для нового избрания не предлагал, потому что у него было плохо со здоровьем. Для Франсуа и Мишеля это стало ударом, поскольку они понимали, что наличие близкого родственника, занимающего в Париже такой высокий пост, могло бы не только оказать помощь нашему скромному предприятию, но, кроме того, явилось бы залогом безопасности в том случае, если возникнут какие-нибудь осложнения.

– Мы д-должны быть т-тверды в одном, – объявил Мишель примерно за неделю до первичных выборов. – Мы должны проследить, чтобы н-ни одному священнику, ни одному бывшему аристократу н-не было разрешено принять участие в голосовании.

– А как быть с теми священниками, которые присягнули Конституции? – спросил Франсуа.

– П-пусть присягают сколько им угодно, – ответил мой брат, – мы все равно их не допустим. Но на всякий случай соберем отряды Национальной гвардии, пройдемся по всем приходам и обеспечим, чтобы каждый избиратель эту присягу принес.

В одно из воскресений – как мне помнится, это было последнее воскресенье накануне выборов – национальные гвардейцы из Плесси-Дорен и нескольких соседних приходов собрались на нашем заводском дворе. Большой отряд, численностью около восьмидесяти человек, под началом Андре Делаланда, которого Мишель к тому времени сделал командиром, отправился в путь с целью заставить каждого будущего избирателя принести присягу Конституции.

Ни один приход, ни одна коммуна не осмелились противиться этому насилию, хотя отдельные протесты были: находились смельчаки, которые говорили, что Национальная гвардия не имеет права силой заставлять верноподданного гражданина приносить присягу.

– Ч-черта с два они верноподданные, – говорил Мишель. – Вот начнем считать голоса, тогда и увидим, кто верноподданный, а кто нет.

Открытое собрание, посвященное выборам, состоялось в церкви в Голле двадцать шестого августа. Мне позволили на нем

присутствовать, но я все-таки старалась держаться в тени. Беспорядки начались с первой же минуты.

Председательствовать на собрании предложили мсье Монлиберу, мэру Голля, которому эта честь принадлежала по возрасту и занимаемому положению. Однако это вызвало громкий протест со стороны моих мужчин – Мишеля и Франсуа.

– Он аристократ! – кричал Франсуа. – Он не имеет права здесь находиться.

– Вот т-такие как он, – вторил ему Мишель, – д-довели страну до ее теперешнего положения. Он уже один раз изменил своим убеждениям, сменил шкуру. Что мешает ему сделать это еще раз?

Недостаток Мишеля – его заикание – очень мешал ему на таких собраниях, причем он отнюдь не отличался самообладанием – шепот и смешки, которые раздавались в разных концах церкви, выводили его из себя. Меня сразу же бросило в жар от стыда, тем более что в этот момент из ризницы вышел кюре Голля в сопровождении своих коллег из Уаньи и Сент-Ажиля. Мишель и Франсуа стали махать над головой какими-то документами и кричать: «Здесь не место священникам!.. Пусть они убираются... здесь им не место...»

Голльский кюре, человек, судя по всему, довольно мягкий, стоял на ступеньках алтаря.

– Те представители духовного сословия, которые принесли присягу, имеют полное право находиться на собрании, – отвечал он.

– Нам здесь не нужны болваны вроде тебя, – орал Мишель, – убирайся отсюда вон, иди и жри свой суп.

На секунду все смолкли, словно объятые ужасом. Затем снова поднялся крик.

Люди старшего поколения стали возражать, тогда как молодые оралы, выкрикивали язвительные замечания, и буквально через несколько минут все три священника с достоинством удалились, несомненно опасаясь того, что их присутствие может привести к насильственным действиям.

От стыда у меня пылали щеки, мне так хотелось, чтобы Мишель и Франсуа перестали бесноваться. Наконец председателем вместо мэра был назначен некий мсье Виллет, который и занял председательское место, обратившись с упреком к «некоторым из присутствующих, которые изгнали с настоящего собрания добрых патриотов».

– Нет такого закона, который запрещал бы присягнувшим Конституции священникам принимать участие в выборах, – объявил он, – равно как и тем, кто прежде принадлежал к аристократии.

Его слова были встречены приветственными криками с одной стороны и протестами, вернее, свистом со стороны моих мужчин и их сторонников. Однако с помощью прямого голосования (путем поднятия руки) собрание высказалось за изгнание бывших аристократов, и мэр Монлибер с сыном и еще несколькими «бывшими» были вынуждены покинуть церковь.

После этого все шло спокойно до того момента, пока избиратели не начали опускать в принесенную урну бюллетени, на которых каждый из них должен был написать свое имя. Виллет, председательствовавший на собрании, только вознамерился отнести урну к поверщикам, которые должны были подсчитывать голоса, когда я увидела, как Мишель подтолкнул локтем моего мужа. Франсуа вскочил на ноги и выхватил урну у председателя.

– Ваши функции на этом оканчиваются! – кричал он. – Подсчет бюллетеней не входит в обязанности председателя. Этим занимаются поверщики.

Он тут же отнес урну в ризницу, где ожидали поверщики – все до одного члены Национальной гвардии, – и я задавала себе вопрос, сколько бюллетеней побывает в руках брата и мужа, прежде чем они поступят к поверщикам. Я сидела молча, потрясенная тем, что увидела. Слова «свобода, равенство и братство» были так далеки от того, что здесь происходило. Никто не протестовал. Даже председатель Виллет, ошеломленный и недоумевающий, сидел не шевелясь.

Они заслуживают такого обращения, говорила я себе, чтобы успокоить свою совесть. Ведь половина избирателей не умеют ни читать, ни писать, и нужно, чтобы кто-то подумал за них, помог им принять решение.

Муж вернулся и сел рядом с Мишелем. Они посоветовались, и затем Франсуа окликнул Анри Дарланжа из прихода Гран-Борд и велел ему подойти. Послышалось шарканье ног, и перед ними стал по стойке смирно испуганный человек.

– У нас есть сведения, – сказал мой муж, – что ты прячешь у себя в доме двух бывших аристократов, у которых нет паспортов, зато есть

оружие.

– В этом нет ни слова правды, – отвечал Дарланж, который баллотировался в выборщики. – Пожалуйста, вы можете обыскать весь мой дом и даже весь приход.

Мишель и Франсуа снова посоветовались и после этого потребовали, чтобы мэр города Голля мсье Монлибер снова предстал перед собранием. Я отлично понимала, что приказания отдает Мишель, тогда как мой муж исполняет при нем всего лишь роль рупора.

– Гражданин мэр, – обратился к нему Франсуа, – вы слышали, что этот человек, Анри Дарланж, отрицает наличие в его доме посторонних людей и спрятанного оружия. Как генерал-адъютант Национальной гвардии, Мишель Бюссон-Шалуар приказывает вам немедленно отправиться в Гран-Борд и произвести обыск у него в доме. Работа настоящего заседания не может продолжаться, пока это не будет сделано.

Едва он кончил говорить, как двери распахнулись и в церковь вступил большой отряд Национальной гвардии, около шестидесяти человек, состоявший исключительно из рабочих Шен-Бидо.

Я начинала понимать, что задумали мои мужчины. На всех выборщиков, придерживавшихся умеренных взглядов, должно быть брошено подозрение – неважно, справедливое или нет. Если человек будет запятнан, никто уже не осмелится за него голосовать. Таким образом будет расчищен путь для прогрессистов.

– По какому праву... – начал мэр, однако Мишель, встав со своего места и подойдя к Анри Дарланжу, перебил его.

– П-по праву сильного, – отрезал он. – Следуйте за гвардией. – А потом, обращаясь к Дарланжу, велел: – Давай свои ключи.

Ключи были ему вручены без единого слова. Франсуа четким голосом отдал команду и вот Мишель, Франсуа, мэр и между ними Дарланж вышли из церкви под эскортом национальных гвардейцев.

Собрание в смущении разошлось. Будущие выборщики стояли на месте, не зная, что им делать, в большинстве своем слишком испуганные, чтобы что-нибудь предпринять. Я видела, как возле церкви одна женщина бросилась к своему мужу и спрашивала его, обливаясь слезами, не посадят ли их в тюрьму.

Я пошла в мэрию и села там, не зная, что делать, и ожидая дальнейшего развития событий. Возле мэрии стояли часовые, наши же рабочие, одетые в форму. Никто из жителей Голля не смел к ним приблизиться.

Наконец процессия возвратилась. У Анри Дарланжа руки были связаны за спиной, так же как и у двух других, – это, по-видимому, были его гости или постояльцы, которые были еще более испуганы, чем он сам.

Тут же было организовано разбирательство, и мэра заставили допрашивать арестованных. Было совершенно очевидно, даже мне, не имеющей ни малейшего понятия о законах, что ни один из этих людей не сделал ничего плохого. Оружия в доме не обнаружили. Эти люди не имели никакого отношения к аристократам. Мсье Виллет, который председательствовал на собрании в церкви, выступил в их защиту.

– Если вы находитесь в сговоре с этими людьми, – сказал Мишель, – имейте мужество признаться в этом или замолчите.

Судя по жестам и тону, я боялась, что может случиться самое худшее, что этих несчастных выведут на улицу и повесят. Они тоже этого боялись. Это было видно по их глазам. Потом Мишель позвал Андре Делаланда, одного из командиров гвардии.

– Возьми этих людей под стражу, – приказал он, – и проследи, чтобы они были доставлены в Мондубло и завтра же утром переданы соответствующим властям.

Андре отдал честь. Несчастных вывели из мэрии на улицу.

– Вот и все, – объявил Мишель. – Больше никаких вопросов. Собрание в церкви будет продолжено завтра утром.

Мэр Монлибер, председатель Виллет и другие официальные лица вышли из мэрии без единого слова протеста. Только тогда брат подмигнул Франсуа.

– Поверщики заперты в церкви, – сказал он, – а ключ находится у меня. Предлагаю отправиться туда и посмотреть, правильно ли они считают голоса.

В тот вечер я возвратилась в Шен-Бидо одна, если не считать шести национальных гвардейцев, которых отрядили в качестве моего эскорта. И первичные выборы в кантоне Голль, которые состоялись на следующий день, прошли без меня. Вся процедура, как мне потом рассказывали, проходила достаточно гладко, до тех пор пока кто-то из

официальных лиц не высказал жалобу в связи с событиями, происшедшими накануне, после чего этому человеку дали понять, что, если он и дальше будет продолжать мутить воду, рабочие из Шен-Бидо с большим удовольствием разделаются с ним по-своему. После этого он замолчал.

Меня нисколько не удивило, что, когда выборы были закончены, от департамента Голль были избраны мой брат и мой муж. Какие бы чувства ни испытывала при этом я сама, было ясно одно: политика запугивания принесла свои плоды. «Судьба нации, – говорил мой деверь Жак Дюваль, – зависит от того, кто будет избран в качестве депутатов». От Луар-и-Шер прошли одни только прогрессисты. Среди них не было ни одного умеренного.

Падение Вердена второго сентября привело всю страну в состояние тревоги. Если враг продвинется хотя бы на один шаг, мы готовы дать ему отпор. Я, по крайней мере, готова была сражаться на нашем заводском дворе бок о бок с мужчинами.

«Опасность надвигается, – писал нам Жак Дюваль из Парижа. – Здесь у нас в столице бьют в набат. То же самое нужно делать повсюду, во всех департаментах Франции, чтобы каждый гражданин встал на ее защиту».

В тот самый день, когда он писал это письмо, толпа парижан ворвалась в тюрьмы, и более тысячи двухсот арестованных были убиты. Мы так никогда и не узнали, кто был в этом повинен. В качестве причины, оправдывающей это деяние, называлась всеобщая паника. Выл пущен слух, который моментально распространился от одного к другому, что аристократы, находящиеся в тюрьмах, имеют оружие и только ждут подходящего момента, чтобы вырваться на свободу и расправиться с жителями Парижа. Снова на сцене появились «разбойники» восемьдесят девятого года.

Двадцатого сентября прусские и австрийские войска потерпели поражение при Аальми, и через несколько дней Верден снова был взят нашими солдатами. Народная армия отозвалась на призыв.

Новое Собрание – Национальный Конвент – собралось в первый раз двадцать первого сентября. На стекловарне в Шен-Бидо мы повесили трехцветное знамя, а наши рабочие в форме Национальной гвардии пели новую песню-марш, которая пришла на смену «Ça ira», она называлась «Марсельеза».

В тот вечер за ужином в господском доме мы с Франсуа и Мишелем достали драгоценные бокалы – точное повторение того, который был сделан двадцать лет тому назад для Людовика XV в шато Ла-Пьер, и выпили за новую республику.

Глава пятнадцатая

«Национальный Конвент объявляет Луи Капета, последнего короля Франции, виновным в заговоре против свободы нации и в попытке нанести урон благополучию и безопасности государства.

Национальный Конвент приговаривает Луи Капета к смертной казни».

В январе девяносто третьего года не было ни одного дома во всей стране, где не обсуждали бы это событие, либо защищая короля, либо, наоборот, осуждая его. Робеспьер сформулировал этот вопрос со свойственной ему ясностью, заявив в одном из своих выступлений в Конвенте в декабре этого года: «Если король невиновен, значит, виновны те, кто лишил его трона».

Двух мнений здесь быть не могло. Либо то, что король был свергнут с престола за оказание помощи иностранным державам против своей собственной страны, было верно, либо это было неверно. Если верно, значит, монарх виновен в измене и должен понести наказание. А если неверно, то нужно распустить Национальный Конвент, извиниться перед королем и капитулировать перед противником.

– Против логики Робеспьера спорить невозможно, – говорил мой брат Пьер. – Конвент должен либо обвинить короля, либо признать виновным себя. Если король будет оправдан, это равносильно признанию, что не следовало провозглашать республику и что нужно сложить оружие перед Пруссией и Австрией.

– Да п-при чем тут логика? – отозвался Мишель. – Людовик предатель, это и без того известно. Стоит Конвенту п-проявить хоть малейшую слабость, и все аристократы, все священники начнут радостно потирать руки. Всех их надо отправить на гильотину, всех до единого.

– А почему нельзя просто выслать королевскую фамилию из Франции? – спросила я.

Оба моих брата дружно застонали, к ним присоединился и Франсуа.

– Выслать?! – воскликнул Пьер. – И допустить, чтобы они использовали свое влияние для получения помощи? Представь себе, например, что королева находится в Австрии! Нет, пожизненное заключение, вот что нужно. Это единственно возможное решение.

Мишель сделал выразительный жест, направив большой палец в землю.

– На этот вопрос может быть только один ответ, – сказал он. – До тех пор пока эти люди, и прежде всего эта женщина, живут на свете, они являются угрозой безопасности.

Однако оказалось, что, когда решение суда – не в пользу короля – было наконец принято и двадцать первого января его казнили, неприятности начались у нас самих.

Власти департамента Голль образовали следственную комиссию по расследованию первичных выборов и той роли, которую играли в этом мои мужчины. По-видимому, мэр Голля, а также другие официальные лица направили жалобу министру внутренних дел мсье Ролану, который и распорядился провести расследование. Меня не удивило, что целый ряд жителей Голля, а также граждане из других приходов выступили свидетелями обвинения.

Разбирательство состоялось двадцать второго и двадцать третьего января (сразу после казни короля). Вполне возможно, что представители наших властей в Луар-и-Шер питали тайное сочувствие к падшему королю, но, во всяком случае, они решительно протестовали против произвола и насилия, и Мишеля с Франсуа подвергли суровому осуждению.

«Суд признал, что господа Бюссон-Шалуар и Дюваль, отстранив в августе прошлого года бывших аристократов и представителей духовенства от первичных выборов, действовали вопреки закону; что в своих действиях по отношению к председателю собрания они превысили свои полномочия; что рабочие со стекловарни в Шен-Бидо угрожали уважаемым гражданам; что наблюдалось нарушение общественного порядка и что в глазах закона и справедливости подобное поведение следует считать предосудительным, и господа Бюссон-Шалуар и Дюваль должны предстать перед трибуналом и понести наказание, предусмотренное для лиц, виновных в нарушении общественного порядка».

Таков был приговор, и понадобилось все влияние моего деверя, для того чтобы спасти Мишеля и Франсуа от тюремного заключения. А так им пришлось уплатить весьма чувствительный штраф, и, кроме того, Мишель лишился своего положения в Национальной гвардии, где он был генералом-адъютантом нашего округа. Этот инцидент отнюдь не преуменьшил его патриотизма, напротив, брат сделался еще большим фанатиком, чем прежде.

В течение всего девяносто третьего года мы постоянно читали нашу газету «L'Ami du Peuple», узнавая из нее о передвижениях внутри Конвента; министры, подобные Ролану (это тот самый, который назначил расследование, направленное против Мишеля и Франсуа), ослабили контроль, в результате чего цены на зерно снова подскочили, несмотря на противодействие Робеспьера и его сторонников-якобинцев, которые предостерегали против опасности инфляции, и понадобилось все влияние Пьера, чтобы Мишель не отправился в Париж и не связал свою судьбу с тамошними экстремистами.

В течение февраля и марта в Париже непрерывно возникали бунты: люди возмущались высокими ценами на сахар, мыло и свечи.

Журналист Марат, рупор всех недовольных, выступил с очередным предложением: единственный способ снизить цены – это повесить пару-другую бакалейщиков перед дверями их лавок.

– Он прав, черт возьми, – одобрил мой младший брат. – Н-не понимаю, почему парижане не восстанут и н-не сделают этого человека диктатором.

Конечно же, нашу республику, за которую мы с такой надеждой поднимали тосты в сентябре, осаждали враги, они были повсюду – и вне ее, за границей, и внутри, в самом сердце.

После февраля я оставила всякую надежду узнать что-либо о Робере. Конвент объявил войну Англии и Голландии, и Робер, если он все еще находился в Лондоне, был теперь не только эмигрантом, но, вполне возможно, вел активную деятельность против собственной страны. Если это так, то он был не меньшим предателем, чем те тысячи наших соотечественников, которые в момент смертельной опасности для республики со стороны вражеских армий нашли возможным поднять восстание на западе, обрекая нас всех на ужасы гражданской войны.

Инициатором восстания было духовенство. Обозленные потерей привилегий, которыми они пользовались на протяжении многих столетий, – конфискацией земель и прочей собственности, – представители духовного сословия все эти месяцы обрабатывали крестьян, ловко играя на их суевериях и предрассудках. Крестьяне, инертные по природе, вообще не любят перемен. Они всегда с подозрением относились к декретам, выпускаемым Конвентом. Больше всего они боялись мобилизации, которая была объявлена в последнюю неделю февраля и согласно которой в армию призывались все здоровые неженатые мужчины в возрасте от восемнадцати до сорока лет, не занятые на жизненно важных участках работы.

Казнь короля и воинская повинность явились решающими факторами, которые заставили подняться крестьян, подстрекаемых неприсягнувшими священниками и исполненными злобы аристократами. Начавшееся восстание распространилось со скоростью лесного пожара, хуже того – как заразная болезнь, поражающая всех недовольных, всех потерявших по той или иной причине веру в революцию.

К апрелю Вандея, Нижняя Вандея, Бокаж, Анжу, Нижняя Луара – все эти территории были охвачены восстанием. Тысячи крестьян, вооруженных кто чем – топорами, ножами, мушкетами и серпами, двинулись на восток через Луару, ведомые вождями, исполненными неукротимой отваги, которым нечего было терять, кроме собственной жизни, предавая разграблению все, что попадалось им на пути. Поначалу они не встречали никакого сопротивления, разве что со стороны перепуганных жителей городов и деревень, через которые они проходили, унося все, что только могли с собой захватить. Республиканские армии вели военные действия на границах, отражая нападение союзных войск; свободными были только немногочисленные подразделения Национальной гвардии, им-то и предстояло оказать сопротивление грозному движению с запада.

Мятежники с триумфом двигались на восток, окружили Нант, продвинулись к Анжеру и Сомюру, гоня перед собой пленников и беженцев; тут же в фургонах ехали женщины и дети – семьи крестьян, а также жены и любовницы бывших аристократов; вся эта масса должна была существовать за счет жителей территории, через которую они двигались, грабя и уничтожая все на своем пути.

Богу известно, мы ненавидели захватчиков-иностранцев – союзные войска и эмигрантов, по наущению которых они вторглись в нашу страну, но вандейцев, как стали называть эту армию мятежников, мы ненавидели еще больше. Лицемерие их военного клича «За Иисуса Христа!» и знамен с изображением «Священного сердца», которыми они размахивали, словно это был новый крестовый поход, можно было сравнить разве только с их жестокостью. Их путь сопровождался массовыми убийствами, значительно превосходившими по масштабу все то, что делалось в свое время в Париже. Жертвами их были патриоты в городах и деревнях, которые осмеливались им противостоять. Не щадили ни женщин, ни детей; людей, еще живых, бросали во рвы, наполненные трупами. Священников, присягнувших Конституции, подвергали ужасной казни – привязывали к хвостам лошадей и волокли по пыльным дорогам. Тут, наконец, мы и узнали, что такое «разбойники», которых так боялись в восемьдесят девятом году, – это были не мифические бандиты, порождение пустых слухов, а самые настоящие, из плоти и крови. Роялистские лидеры с белыми орденскими лентами и белыми кокардами, гнали темную крестьянскую массу вперед, обещая все новую и новую добычу и новые победы, а священники, которые двигались в арьергарде, призывали их к молитве перед каждым сражением. Стоя на коленях перед распятием на рассвете, проходя с боями по беззащитным деревням днем, пьяная от крови и побед к вечеру, эта победоносная, недисциплинированная, но отважная армия, состоявшая из отребья и называющая себя «Божьими воинами», на протяжении апреля и мая двигалась к тому, что казалось им победой.

Это была борьба, как говорил мой брат Пьер, между «Те Деум...»^[44] и «Марсельезой», и в течение всего этого мучительного лета девяносто третьего года те, кто пел «Марсельезу», терпели одно унизительное поражение за другим.

Конвент в Париже, терзаемый разногласиями, царящими в его собственных рядах, поспешно вызывал с фронта генералов, перед которыми теперь встала задача подавления мятежа. И только после того как удалось перегруппировать республиканские армии – это произошло в конце сентября, – наступил конец длинному ряду побед вандейцев. Робеспьер, который теперь властвовал в Конвенте и являлся одним из главных членов Комитета Общественного Спасения,

был непреклонен в своем требовании: мятеж должен быть подавлен, чего бы это ни стоило. Он отдал приказ генералам: пленных не брать и уничтожать их без всякой пощады.

Семнадцатого октября вандейцы потерпели сокрушительное поражение при Шоле в Мэн-и-Луар, где были серьезно ранены двое из их главных военачальников – д'Эльбе и Воншам. Это было началом конца повстанческой армии, хотя сами они об этом еще не знали; и вместо того чтобы отступить за Луару и укрепиться на своей собственной территории, они рванулись на север, намереваясь захватить Гранвиль, один из портов в Ла-Манше, поскольку англичане якобы готовили мощный флот, который должен был прийти к ним на помощь. Население Гранвиля, надо отдать им должное, оказало мятежникам сопротивление, и в середине ноября началось долгое отступление к Луаре, во время которого республиканские армии теснили вандейцев со всех сторон.

У нас в Шен-Бидо работы почти полностью прекратились. Несмотря на то что мятежники находились от нас достаточно далеко к западу, в Майене, а мы – на границе Сарта и Луар-и-Шер, не было никакой гарантии, что их лидерам не придет в голову совершить бросок, в результате которого они окажутся в нашем департаменте. Мишель, так же как и наши рабочие, все время находился в состоянии напряженного ожидания, и ему, капитану Национальной гвардии в Плесси-Дорен, не терпелось построить своих людей и бросить их в самую гущу схватки. Долг, однако, повелевал ему охранять и защищать деревню в случае, если ей будет грозить опасность; и хотя я понимала, что эта горстка рабочих мало что сможет сделать против тысячной армии, если они повернут в нашу сторону, все-таки вид марширующих на нашем заводском дворе вооруженных людей, одетых в форму, придавал мне некоторую уверенность.

Жизнь снова приобрела для меня свою прелесть – двадцать седьмого мая у меня родилась дочь Зоэ-Сюзанна, и ей к этому времени исполнилось уже полгода. Пухленькая и здоровая, она с первого же дня своей жизни выказала больше жизненной стойкости и энергии, чем те два младенца, которых я потеряла, и матушка, приехавшая к нам на лето из Сен-Кристофа, предсказывала, что все будет хорошо. Пусть только вандейцев наконец разобьют, и тогда мы сможем успокоиться – те из нас, кто принадлежит к патриотам.

Твердое правление Робеспьера, несмотря на то что при нем сотни людей были отправлены на гильотину, включая королеву и бывшего патрона Робера, Филиппа Эгалите, герцога Орлеанского, не только спасло страну от поражения, но и сделало каждодневную жизнь простого народа более сносной благодаря законам максимума, ограничивающим цены на продовольствие, ходовые товары и рабочую силу.

В эту осень мы больше всего тревожились за Пьера с его семейством и за Эдме. Вандейцы в своем броске на север к побережью, проходя через Лаваль, находились всего в девятнадцати лье от Ле-Мана, а месяц спустя, при отступлении, они снова проходили по тем же местам. Майен, Лаваль, Сабле, Ла-Флеш – каждый день мы узнавали новости о продвижении на юг этой армии мятежников, не подчиняющейся ни дисциплине, ни законам морали, сплошь зараженной дизентерией, отягощенной огромным количеством женщин, детей, монахов, монахинь и священников, которые тащились за повстанцами.

Во вторник тринадцатого фримера (или третьего декабря) мы узнали, что они подошли к Анжеру и собираются взять город в осаду. Жак Дюваль жил в это время с нами, и именно он привез эту новость из Мондубло, куда ездил на совещание с начальством.

– Все в порядке, – сообщил он. – Анжер будет обороняться. Следом за противником идет наша армия под командованием Вестермана. Мы отрежем их и заманим в ловушку, прежде чем они успеют дойти до Луары.

Анжер находится в двадцати двух милях к юго-западу от Ле-Мана, на расстоянии более чем одного марша от него, и меня охватила волна благодарности – я благодарила Бога за спасение Пьера, Эдме и Мари с ребятишками.

– Тут им придет конец, – продолжал мой деверь, – наши армии зажмут их в клещи. А с отставшими и дезертирами мы сумеем справиться сами.

Я видела, как Мишель бросил быстрый взгляд на Франсуа, и поняла, что произойдет дальше.

– Если бы отряды Национальной гвардии слились воедино и мы выступили бы все вместе, единым фронтом, – сказал он, – мы могли бы разбить их, пусть они только посмеют снова сунуться на восток.

Он подошел к окну и, открыв его, крикнул Андре Делаланду, который в это время проходил через двор:

– Труби тревогу! Явиться всем до одного в полной боевой готовности через час. Будем преследовать этих проклятых разбойников.

Они выступили в третьем часу. По крайней мере три сотни человек шагали под гром барабанов, под трехцветным знаменем, во главе с Мишелем. Будь жив наш отец, он гордился бы своим младшим сыном, который в свое время, более тридцати лет назад, огорчал его своим вечно надутым видом и заиканием.

Весь остаток той недели мы находились во власти слухов, если не считать достоверного известия о том, что под Анжером вандейцы потерпели поражение. Город доблестно защищался и устоял, и повстанческие лидеры теперь пытаются решить, где и когда им следует переправиться через Луару, не дожидаясь, пока республиканская армия атакует их с тыла.

Мне следовало знать, что никогда нельзя доверять слухам, ведь, когда раньше все говорили о разбойниках, никаких разбойников не было. Теперь же все было наоборот: слух о победе разнесся еще до того, как она была одержана.

– Мы уже давно ничего не знаем о Пьере, – сказала я Франсуа в следующий понедельник, как только мы проснулись. – Я хочу поехать сегодня в Ле-Ман, переночевать там и, если все там благополучно, завтра вернуться обратно. Меня отвезет Марсель.

По обычаю всех мужей, Франсуа начал протестовать, уверяя, что, если бы с Пьером что-нибудь случилось, мы бы давно об этом узнали. На дорогах все еще беспокойно, да и погода не слишком хорошая. Если нужно, пусть Марсель едет один и отвезет письмо, а мне лучше сидеть дома, в Шен-Бидо, тем более что ребенок будет ночью без меня беспокоиться.

– Зоэ еще ни разу не плакала и не будила нас ночью с самого своего рождения, – возразила я. – Колыбельку можно поставить возле мадам Верделе, и она там прекрасно будет спать. Я буду отсутствовать всего полдня и ночь, не более, и, если Эдме и Мари с мальчиками захотят, я могу их привезти сюда.

Я настояла на своем, несомненно, из одного упрямства. Мне, должно быть, придал храбрости вид Мишеля, который неделю назад

во главе своего отряда отважно бросился в погоню за вандейцами. А разве Жак Дюваль не уверил меня, что «разбойники», как мы совершенно справедливо их называли, разбиты наголову и отчаянно бьются, чтобы только успеть переправиться через Луару?

Кроме того, – впрочем, в этом я не смела признаться даже себе – я, возможно, думала, что Франсуа оказался не таким смелым и решительным, как Мишель. Мой муж, в отличие от брата, не вызвался добровольно выступить в этот поход с Национальной гвардией. Он мог бы догадаться, что жена не разделяет его колебаний.

Мы с Марселем выехали сразу же после завтрака. Франсуа, видя, что на меня не действуют никакие резоны, в последний момент заявил, что поедет вместе со мной. Но я не согласилась и просила его остаться дома и смотреть за ребенком.

– Если мы увидим разбойников, – сказала я ему напоследок, – мы сумеем с ними справиться. – И я указала на два мушкета, прикрепленных к верхушке шарабана. Я сказала это в шутку, не подозревая о том, насколько близкими к правде окажутся эти слова.

Как только мы проехали Вибрейе, мне пришлось признать, что Франсуа был прав, во всяком случае, в одном отношении – в смысле погоды. Стало ужасно холодно, пошел дождь вперемешку со снегом. Я была тепло укутана, и все равно руки и ноги у меня заledenели, а у Марселя, который пытался что-то разглядеть сквозь потоки дождя, был совсем унылый вид.

– Вы выбрали не слишком удачный день для поездки, гражданка, – сказал он.

После сентябрьских декретов мы были очень осторожны, придерживаясь исключительно новых форм вежливости. Слова «мсье» и «мадам» ушли в прошлое, так же как и старый календарь. И нужно было постоянно себе напоминать, что сегодня девятнадцатое фримера, второй год республики, а отнюдь не девятое декабря тысяча семьсот девяносто третьего года.

– Возможно, ты и прав, – ответила я, – но у нашего шарабана есть по крайней мере верх, так что мы не мокнем, чего нельзя сказать о наших гвардейцах, которые, может быть, в этот самый момент готовятся встретиться с мятежниками.

К счастью, я представляла себе наших ребят веселыми и торжествующими, а не отступающими в полном беспорядке перед

противником, значительно превосходящим их по силам, как это было на самом деле.

Мы добрались до Ле-Мана среди дня, однако из-за ненастной погоды было почти темно, и на мосту через Гуин нас остановил патруль.

Часовые подошли, чтобы проверить наши паспорта, и я увидела, что это были не гвардейцы, а обыкновенные горожане с повязками на рукаве, вооруженные мушкетами. Я узнала начальника – он был клиентом Пьера, – а он, увидев меня, махнул рукой своим подчиненным и сам подошел к шарабану.

– Гражданка Дюваль! – с удивлением воскликнул он. – Что, скажите на милость, вы здесь делаете в такое время?

– Я приехала к брату, – объяснила я ему. – Все это время, вот уже несколько недель, мы очень беспокоимся о нем и его семье, вы и сами должны это понять. А теперь, когда самое страшное уже позади, я при первой возможности приехала его навестить.

Часовой уставился на меня во все глаза, считая, вероятно, что я не в своем уме.

– Позади? – повторил он. – Да разве вы не слышали, что произошло?

– А что такое? В чем дело?

– Вандейцы снова захватили Флеш и вполне могут завтра оказаться в Ле-Мане, – сказал он. – Их чуть ли не восемьдесят тысяч, и они обезумели от голода и болезней. Они рвутся на восток, собираются захватить Париж. Почти весь наш гарнизон двинулся отсюда на юг, чтобы попытаться их остановить, но надежды на это мало, ведь наших всего полторы тысячи против целой огромной армии.

Мне казалось, что бледность, покрывавшая его лицо, вызвана ветром, но теперь я поняла, что это еще и от страха.

– Но нам говорили, что под Анжером была одержана победа, – сказала я упавшим голосом. – Что же нам теперь делать? Мы уже полдня находимся в пути, едем от самого Плесси-Дорена, а ведь уже становится темно.

– Возвращайтесь назад, это будет самое разумное, – сказал часовой, – или переночуйте на какой-нибудь ферме.

Я посмотрела на Марсея. Бедняга был так же бледен, как и все остальные.

– Лошадь не выдержит еще такого же расстояния, – сказала я, – а ночевать нас никто не пустит, после таких-то новостей. По всей округе двери будут крепко заперты.

Гражданин Рожер – я вдруг вспомнила его фамилию – смотрел на меня с сочувствием, со шляпы его струилась вода.

– Не берусь вам советовать, – сказал он. – Я, слава богу, не женат, но если бы у меня была жена, я бы ни за что не позволил ей ехать в город, над которым нависла такая опасность.

Я была наказана за свое упрямство. Какое легкомыслие – уехать из Шен-Бидо, не дождавшись, пока ситуация прояснится.

– Если эти разбойники действительно близко, – сказала я, – я предпочитаю встретиться с ними в Ле-Мане, вместе с братом, а не в чистом поле, под кустом.

Клиент Пьера вернул мне паспорт и пожал плечами.

– В Ле-Мане вы брата не найдете, – отозвался он. – Гражданин Бюссон дю Шарм наверняка уехал вместе с Национальной гвардией защищать дорогу на Флеш. Приказ им был отдан в полдень, тогда же, когда и нам.

Нет, возвращаться было невозможно. Унылые поля за Гуином, откуда мы только что приехали, серые и мрачные под потоками дождя в надвигающихся сумерках, заставили меня решиться. Не говоря уже о лошади, которая понуро стояла между своими оглоблями.

– Придется нам рискнуть, гражданин, – сказала я мсье Рожеру. – Желаю удачи вам и вашим людям.

Он поднес руку к козырьку и помахал нам рукой, и мы въехали в замерший город, в котором все окна были закрыты, а на улицах не было ни души. В гостинице, где мы обычно кормили лошадей, дверь была забаррикадирована, как и во всех остальных домах, и нам пришлось долго стучать, прежде чем хозяин вышел к нам, думая, что это патруль. Несмотря на то что он прекрасно знал и меня, и лошадь, и шарабан, мне пришлось отдать ему тройную плату, прежде чем он согласился поставить лошадь в конюшню.

– Если эти разбойники войдут в город, гражданка, они его сожгут до основания – вам это, конечно, известно, – сказал он мне, когда я уходила, и показал пару заряженных пистолетов, из которых, как он

меня уверил, он убьет свою жену и детей, но не допустит, чтобы они попали в руки вандейцев.

Мы с Марселем быстро пошли по улицам по направлению к кварталу, где возле церкви Святого Павена жил Пьер. По дороге – мы промокли насквозь уже через пять минут – я думала о том, что Франсуа и его брат сидят дома в Шен-Бидо, не подозревая о том, в каком ужасном положении мы оказались. Думала я и о малютке, которая сейчас мирно спит в своей колыбельке, а также о жене и детишках бедняги Марселя.

– Мне очень жаль, Марсель, – сказала я ему, – это я виновата, что втянула тебя в эту историю.

– Не беспокойтесь, гражданка, – отвечал он. – Эти разбойники, может, и не появятся, а если и появятся, мы сумеем с ними справиться при помощи вот этого.

Оба наших мушкета были перекинуты у него через плечо, но я подумала о восьмидесяти тысячах голодных вандейцев, которые, по слухам, находились во Флеше.

В доме Пьера окна были закрыты ставнями, а двери крепко заперты, так же как и во всех соседних домах, но мне достаточно было постучать нашим условным стуком, известным со времен нашего детства, – два быстрых коротких удара, – как дверь тотчас отворилась и на пороге появилась Эдме. Она была похожа на Мишеля, настоящая его копия в миниатюре: беспорядочно спутанные волосы, подозрительный взгляд, и в руке пистолет, несомненно заряженный. Увидев меня, она опустила оружие и бросилась мне на шею:

– Софи... о Софи...

Мы постояли, крепко обнявшись, а потом я услышала из одной из дальних комнат взволнованный голос моей невестки, которая спрашивала:

«Кто это?» Младший ее мальчик плакал, и я могла себе представить, что у них там творится.

Там же, в передней, я быстро объяснила все Эдме, Марсель тем временем помогал ей снова закрыть и запереть двери.

– Пьер ушел в полдень, вместе с Национальной гвардией, – говорила Эдме, – и с тех пор мы его не видели. Он сказал мне: «Позаботься о Мари и детях», что я и делаю. Еды у нас в доме

довольно, хватит на три-четыре дня. Если явятся вандейцы, я готова их встретить.

Сестра посмотрела на мушкеты, которые Марсель положил у двери.

– Теперь мы хорошо вооружены, – сказала она и добавила с улыбкой, взглянув на Марсея: – Ты согласен служить под моей командой, гражданин?

Марсель, долговязый парень ростом более шести футов, глуповато-застенчиво смотрел на нее сверху вниз.

– Тебе достаточно только приказать, гражданка, и я все исполню, – сказал он.

Мне вспомнилось наше детство в Ла-Пьере, то, как Эдме всегда предпочитала куклам игры с мальчишками и вечно приставала к Мишелю, прося его выточить какую-нибудь саблю или кинжал. Теперь наконец настало время, когда она могла по-настоящему играть роль мужчины.

– Нельзя, чтобы солдаты воевали на пустой желудок, – объявила она. – Пойдите в кухню и поешьте. Может быть, и глупо было с твоей стороны уехать из Шен-Бидо, но должна тебе признаться... Я рада, что получила подкрепление.

Тут из внутренних комнат прибежали дети. За Эмилем – это был старший, которому уже исполнилось тринадцать, – бежал младший, шестилетний Пьер-Франсуа, а за ним неслась собака со всеми щенками. Шествие замыкала моя невестка, из-за плеча которой выплядывали престарелая вдова с дочерью, бесплатные пансионеры, постоянно проживающие в этом беспорядочном доме. Меня не удивило то, что Эдме обрадовалась подкреплению. Ее маленькая община, несомненно, нуждалась в защите.

Мы поели, как могли, засыпаемые со всех сторон вопросами, ни на один из которых не могли дать ответа. Вандейцы находятся во Флеше – вот все, что нам известно. Куда они после этого направятся – на север, на восток или на запад, – никто решительно не знает.

– Одно только очевидно, – сказала Эдме. – Если они решат захватить Ле-Ман, город практически беззащитен. У нас есть один батальон валансьенцев, отряд кавалерии и наша Национальная гвардия, и все они сейчас находятся где-то на дороге между городом и Флешем.

Все это она рассказала нам позже, когда мы готовились лечь спать. Она не хотела волновать жену Пьера и этих двух женщин, их жильцов. Она заставила меня лечь на свою постель, а сама, не раздеваясь, улеглась на матрасе возле двери. Марсель же устроился в передней, взяв себе другой матрас.

– Если что-нибудь случится, – сказала Эдме, – мы с ним оба готовы к отпору.

Я видела, что она положила возле себя заряженный мушкет, и была уверена, что Эдме способна нас защитить, так же как если бы на ее месте был Пьер.

На следующее утро, когда мы проснулись, было то же самое мрачное серое небо и проливной дождь. Мы быстро позавтракали, стараясь есть поменьше, чтобы растянуть наши запасы, и послали Марселя в город узнать последние новости. Он отсутствовал более часа, а когда вернулся, мы поняли по выражению его лица, что новости будут невеселые.

– Мэр вместе с муниципалитетом уже отбыли в Шартр, – рассказывал он. – С ними уехали все официальные лица, забрав с собой деньги, документы – все, что не должно попасть в руки мятежников. Они уехали с семьями. Все, кто только мог найти средства передвижения, покинули город.

Его слова воскресили во мне прежние страхи, панику восемьдесят девятого года. Тогда, правда, разбойники были мнимыми, теперь же они стали реальностью, они находились на расстоянии полднейного марша от Ле-Мана.

– Сколько человек могут поместиться в шарабане? – спросила я.

Марсель покачал головой.

– Я заходил туда двадцать минут тому назад, гражданка, – ответил он. – В доме пусто, и в комнатах тоже. Этот негодяй хозяин забрал шарабан вместе с лошадей для себя и своей семьи.

В полном отчаянии я обернулась к Эдме.

– Что же мы будем делать? – спросила я у нее. Сестра стояла и смотрела на меня, сложив на груди руки.

– Нам остается только одно, – сказала она. – Оставаться здесь и защищаться.

Марсель облизнул сухие губы. Не знаю, кто испытывал большее отчаяние, я или он.

– На рыночной площади говорили, что, если вандейцы войдут в город, они ничего не сделают тем, кто не будет оказывать сопротивления, гражданка, – говорил Марсель. – Им нужна только еда, и ничего больше. Женщин и детей они не тронут. А вот мужчин, конечно, заберут и повесят всех до одного.

Мы с Эдме понимали, к чему он клонит. Он хотел, чтобы ему разрешили уйти. Пешком, в одиночку, он еще может прорваться. В противном случае, если он останется, это может стоить ему жизни.

– Поступай, как знаешь, гражданин, – сказала Эдме. – Во всяком случае, ты не принадлежишь этому дому. Пусть решает гражданка Дюваль, а не я.

Я подумала о семье, которая ожидает его в Шен-Бидо, и у меня не хватило духу просить его остаться, хотя это означало, что мы оказываемся беззащитными.

– Уходи быстрее, Марсель, – сказала я ему. – Если ты благополучно доберешься до дома... ты знаешь, что сказать. Вот твой мушкет.

Он покачал головой.

– Без него я смогу быстрее идти, гражданка, – ответил он и, низко склонившись над моей рукой, в следующую секунду уже вышел из дома.

– Он хотел сказать, что сможет быстрее бежать, – сказала Эдме, закрывая дверь на засов. – Неужели все мужчины у вас на заводе такие трусы? Если это так, значит, времена изменились. Ты умеешь стрелять из мушкета, Софи?

– Нет, – честно призналась я.

– Тогда второй я оставляю про запас. Эмиль уже достаточно большой, он может стрелять из пистолета. – И она позвала своего племянника.

Я находилась в состоянии некоего помрачения ума: все, что происходило вокруг, казалось нереальным. Я видела, как Эдме ставит своего тринадцатилетнего племянника у окна в комнате наверху с заряженным пистолетом в руках, а сама становится рядом с ним у соседнего окна, чтобы наблюдать за улицей. Мушкеты она поставила рядом с собой. Мари, младшие дети и вдова с дочерью сидели взаперти в задних комнатах, где обычно жили эти женщины. Окна там

выходили на крыши, улица из них была не видна. Это было наиболее безопасное место.

– Если они взломают двери, – говорила Эдме, – мы сможем защищать лестницу.

В это самое время в Шен-Бидо мадам Верделе, наверное, кормит Зоэ-Сюзанну завтраком, вынув ее из кровати и посадив на высокий стул в кухне. Жак Дюваль, должно быть, едет в Мондубло, а Франсуа вместе с немногими оставшимися рабочими работает в стекловарне.

Незадолго до полудня я отправилась в кухню и приготовила там еду, которую отнесла семье в задние комнаты. Они придвинули кровать к стене, чтобы детям было свободнее играть на полу. Мари, моя невестка, штопала носки, вдова читала дочери, которая в это время нанизывала на нитку бусы, чтобы позабавить малыша. Эта уютная домашняя сцена, этот привычный покой поразили меня гораздо больше, чем если бы дети плакали, а взрослые были испуганы и взволнованы.

Я оставила их обедать и снова заперла дверь. Потом отнесла миску супа и ломоть хлеба Эмилю, который поел с такой жадностью, словно умирал с голода.

– Когда же придут разбойники? – спрашивал он. – Мне хочется выстрелить из пистолета.

Дремотное состояние нереальности, в котором я находилась последние несколько часов, внезапно оставило меня. То, что происходило вокруг, было реальностью. Эдме отвернулась от окна и посмотрела на меня.

– Я не буду ничего есть, – сказала она. – Я не голодна.

Снаружи по-прежнему лил дождь.

Глава шестнадцатая

Я сидела на верхней ступеньке лестницы, положив голову на перила, когда Эмиль вдруг крикнул:

– По улице идут какие-то странные люди. Некоторые похожи на крестьян, у них на ногах сабо, и много женщин, одна даже с ребенком. Похоже, они заблудились.

Я, наверное, задремала, но слова Эмиля заставили меня очнуться и вскочить. Я услышала, как Эдме возится со своим мушкетом, и, подбежав к Эмилю, встала рядом с ним у окна, пытаюсь что-то разглядеть на улице сквозь щелку в ставне. Увидев этих людей, я все поняла: вандейцы вошли в город. Эти, наверное, отбились от общей массы и оказались на нашей улице.

Они шли, заглядывая вверх на дома в поисках каких-нибудь признаков жизни.

Инстинктивно я оттащила Эмиля от окна.

– Тихо, – велела я ему. – Не надо, чтобы тебя заметили.

Он с удивлением посмотрел на меня и вдруг тоже все понял.

– Вот эти оборванцы? – спросил он. – Это и есть разбойники?

– Да, – подтвердила я. – Может быть, они уйдут. Стой смирно, не двигайся.

Эдме неслышными шагами вошла в комнату и встала рядом с нами. У нее в руках был мушкет. Я вопросительно посмотрела на нее, и она кивнула мне в ответ.

– Я не собираюсь стрелять, – сказала она. – Только если они попробуют ворваться в дом.

Мы трое стояли плечом к плечу у окна, глядя на улицу. Первая группа оборванцев прошла вперед, на смену им появились другие – двадцать, тридцать, сорок. Эмиль шепотом считал их. Они шли не строем, в их движениях не было никакого порядка, они не принадлежали собственно к армии – маршевые колонны, должно быть, двигались по главным улицам на рыночную площадь. А это был сброд, который армия увлекла за собой.

Их становилось все больше и больше, в основном мужчины, женщин гораздо меньше; некоторые из них были вооружены

мушкетами и пиками, некоторые шли босиком, но в основном на ногах у них были сабо. Были среди них и раненые, их поддерживали товарищи. Почти все в лохмотьях, изможденные, бледные от усталости, промокшие до костей и покрытые грязью.

Я не знаю, чего мы все ожидали – и я, и Эдме, и Эмиль. Может быть, грома барабанов, стрельбы, боевых песен, криков, торжественного входа в город победоносной армии. Всего, чего угодно, только не этого мерного клацанья деревянных башмаков по мостовой и молчания. Молчание было хуже всего.

– Что они тут ищут? – спросил Эмиль. – Куда они все идут?

Мы ему не ответили. Что можно было ответить на этот вопрос? Словно призраки давно умерших людей шли они под нашими окнами, исчезали в конце улицы, а когда проходили, на их место заступали другие, а временами среди них оказывалась группа женщин, плачущие дети.

– Разве можно найти такое количество еды, чтобы всех их накормить? – проговорила Эдме. – Во всем Ле-Мане столько не сыщешь.

Тут я заметила, что она отставила свой мушкет в сторону, прислонив его к стене. Часы внизу в прихожей пробили четыре.

– Скоро стемнеет, – сказал Эмиль. – Куда денутся все эти люди?

Внезапно мы услышали цоканье копыт, крики, и на улице появился небольшой отряд кавалерии, во главе которого ехал офицер. У него на шляпе красовалась ненавистная белая кокарда, на поясе – белый шарф, а в руке – шпага. Офицер громко выкрикнул какую-то команду, обращаясь к тем, кто шел впереди; они остановились и обернулись. Он, должно быть, говорил с ними на патуа, местном наречии, потому что мы не могли разобрать ни слова, однако по тому, куда он указывал шпагой, мы поняли, что командир велит им заходить в дома.

Некоторые из этих людей, инертные, но послушные, стали стучаться в двери. К нашей двери пока никто не подходил. На улице появилась еще одна группа, это были вооруженные пешие солдаты. Офицер на лошади отдал команду, указывая им на дома, и они рассеялись по всей улице, выбрав для себя по одному дому, и начали стучаться в двери, отталкивая приставших к армии несчастных

замученных людей. Один из солдат подошел к нашему дому и начал стучать в дверь.

Потом конный офицер, приподнявшись на стременах, стал говорить, обращаясь к нам.

– Никому из тех, кто откроет двери, не будет причинено никакого вреда! – кричал он. – Нас здесь восемьдесят тысяч, и всем нужны пища и кров. Если кто не откроет, его дверь будет помечена, дом предан огню и сгорит в течение одного часа. Вы сами должны решить, как вам следует поступить.

Он секунду помолчал, а потом, сделав знак своим кавалеристам, удалился вместе с ними. Пешие солдаты и крестьяне продолжали стучаться в двери домов.

– Что будем делать? – спросила Эдме.

Она вернулась к своей роли младшей сестры. Я смотрела на дом напротив. Один из наших соседей уже успел открыть дверь, и в дом в этот момент вносили троих раненых. Открылась еще одна дверь. Один из солдат крикнул женщине с тремя детьми и показал ей знаком, чтобы она входила.

– Если мы не откроем, – сказала я сестре, – они пометят нашу дверь, а когда вернуться, сожгут дом.

– Может, это просто угроза, – возразила она. – Им будет некогда делать пометки на всех домах.

Мы еще подождали. Улицу заполняли все новые и новые толпы, и поскольку давешний офицер оставил приказ стучать во все дома, молчание было нарушено. Тишина сменилась гулом голосов. Теперь все кричали, беспорядочно переговаривались друг с другом, а между тем становилось все темнее.

– Пойду вниз, – объявила я. – Пойду вниз и открою дверь.

Ни сестра, ни племянник мне не ответили. Я спустилась по лестнице и отодвинула засов. Снаружи стояли в ожидании с полдюжины крестьян – во всяком случае, такими они мне показались. С ними были еще три женщины с двумя детьми и еще одна с младенцем на руках. Один из мужчин был вооружен мушкетом, остальные – пиками. Тот, у которого был мушкет, стал меня о чем-то спрашивать, однако язык его настолько отличался от нашей обычной речи, что я ничего не поняла, уловила только слово «комната». Может быть, он спрашивал, сколько в доме комнат?

– Шесть, – ответила я. – У нас шесть комнат наверху и две внизу. Всего восемь. – Я показала ему на пальцах, как это делает хозяин гостиницы, который старается залучить к себе постояльцев.

– Пошли... пошли!.. – кричал он, гоня перед собой остальных, и они стали заходить в дом – женщины и другие крестьяне. Следом за ними зашли еще двое; они несли на руках товарища, у которого, казалось, от одной ноги осталась лишь половина, да и сами они, хоть и шли на собственных ногах, но, судя по их виду, тоже были серьезно больны.

– Давай-давай... – приговаривал крестьянин с мушкетом, подгоняя своих собратьев, словно стадо. – Давай-давай... – И он направил их в гостиную и в смежную с ней маленькую библиотеку Пьера.

– Там они и устроятся, – сказал он мне. – Им нужны постели.

Я это поняла скорее по жестам, чем из его слов, а он в это время указывал на свой рот и потирал себя по животу.

– Есть хотят. Еле ходят. Совсем скрючило их, то ли от голода, то ли от хвори... – Он ухмыльнулся, обнажив голые десны. – Худое дело. Все в конец изморились.

Человека с отрезанной ногой его сотоварищи положили на диванчик Мари. Женщины прошли мимо меня на кухню и шарили там по шкафам.

– Так-то, – сказал человек с мушкетом. – Кто-нибудь скоро придет, посмотрит больного. – И он вышел на улицу, сильно хлопнув дверью.

Эдме спустилась вниз вместе с Эмилем.

– Сколько их здесь? – спросила она.

– Не знаю, – ответила я. – Не считала.

Мы заглянули в гостиную, народу там оказалось больше, чем я думала. Восемь крестьян, человек без ноги и двое больных. Один из них хватался за живот, его рвало. Запах, который распространялся вокруг него, был просто ужасен.

– Что с ним такое? – спросил Эмиль. – Он умирает?

Второй заболевший поднял голову и посмотрел на нас.

– Это хворь, – сказал он. – Половина армии болеет. Мы заразились на севере, в Нормандии. Пища и вино там были отравлены.

Он казался более образованным, чем другие, и говорил на французском языке, который я понимала.

– Это дизентерия, – сказала сестра. – Пьер нас предупреждал.

Я смотрела на нее с ужасом.

– Их надо отделить от остальных, поместить в отдельную комнату, – сказала я. – Пусть идут в детскую, наверх.

Я наклонилась над тем, кто говорил на понятном мне языке:

– Идите за мной. Вы будете в отдельной комнате.

Снова я вела себя как хозяйка гостиницы, и у меня возникло дикое желание расхохотаться; впрочем, оно мгновенно исчезло, как только я увидела, в каком состоянии находится больной дизентерией, которому его товарищ помогал подняться с пола. Бедняга лежал в своих собственных экскрементах, покрытый ими с головы до ног. Он настолько ослаб, что не мог ходить.

– Бесполезно, – сказал его товарищ. – Он не сможет дойти. Вот если бы можно было занять ту комнату... – И, указав пальцем на библиотеку Пьера, он сразу же потащил больного туда.

– Принеси матрас, – сказала я Эмилю. – Ему нужен матрас. И второму тоже. Принеси им матрасы.

Этого человека, конечно же, нужно раздеть и завернуть в чистую простыню. А все, что на нем, – сжечь... Я пошла в кухню и увидела, что дверцы шкафа распахнуты, все ящики открыты, а все продукты, оставшиеся в доме, свалены на кухонном столе. Две женщины резали хлеб, набивая себе при этом рты и давая по кусочку детям. Третья стояла у очага, подогревая суп, который она там обнаружила, и кормила одновременно грудью ребенка. На меня они не обратили никакого внимания и продолжали разговаривать между собой на своем непонятном наречии.

Я взяла тряпку, ведро воды и пошла в гостиную, чтобы вымыть пол там, где лежал этот несчастный человек. Теперь начал стонать раненый; я видела, что у него через бинты сочится кровь. За ним никто не ухаживал. Его товарищи прошмыгнули мимо меня и направились в поисках еды в кухню.

Было слышно, как они ругают женщин за то, что те наелись, не дожидаясь остальных.

Из верхних комнат доносился топот, и я крикнула Эмилю, чтобы он попросил мать унять детей, – в доме полно вандейцев, среди них

есть раненый и больные. Через минуту он бегом вернулся ко мне.

– Дети проголодались, – объявил мальчик. – Они хотят спуститься вниз и поужинать.

– Скажи им, что никакого ужина нет, – сказала я, выжимая тряпку. – Все забрали вандейцы.

Кто-то стал барабанить во входную дверь, и я подумала, что это, наверное, человек с мушкетом хочет проверить, как поживают его товарищи. Но когда Эдме открыла дверь, в дом бесцеремонно вошли еще шесть человек, пятеро мужчин и женщина; они были одеты лучше, чем давешние крестьяне, и среди них был священник.

– Сколько народу в доме? – спросил священник.

У него на груди в качестве эмблемы висело «Сокровенное сердце», а за пояс, рядом с четками, был заткнут пистолет.

Я закрыла глаза и стала считать.

– Приблизительно двадцать четыре, – сказала я ему, – считая нас самих. Среди ваших людей есть больные.

– Дизентерия? – спросил он.

– У двоих дизентерия, – ответила я, – а один тяжело ранен. У него ампутирована нога.

Он обернулся к стоявшей возле него женщине, которая уже поднесла к носу платок. На ней был военный мундир, надетый поверх ярко-зеленого платья, а на рассыпанных по плечам локонах красовалась шляпа, украшенная пером.

– В доме дизентерия, – сказал он ей. – Впрочем, в остальных домах то же самое. Здесь, по крайней мере, чисто.

Женщина пожала плечами.

– Мне нужна постель, – сказала она. – И отдельная комната. Ведь больных можно поместить отдельно, правда?

Священник прошел мимо меня.

– Есть у вас наверху комната для этой дамы? – спросил он у Эдме.

Я заметила взгляд Эдме, обращенный на «Сокровенное сердце».

– Комната у нас есть, – сказала она. – Пройдите наверх, там увидите.

Священник вместе с женщиной поднялись наверх. Остальные четверо сразу же прошли на кухню. В гостиной несчастный раненый

начал громко кричать от боли. Через минуту-другую священник снова спустился вниз.

– Мадам останется здесь, – сказал он. – Она очень устала и голодна. Будьте любезны, отнесите ей что-нибудь поесть, и незамедлительно.

– В доме не осталось еды, – ответила я. – Ваши люди съели все, что было на кухне.

Он сердито поцокал языком и направился на кухню. Шум сразу же прекратился. Я слышала только голос священника, который сердито что-то говорил.

– Он грозит им адом, – шепнула мне на ухо Эдме.

Угрозы сменились монотонным речитативом. Все они хором стали читать «Аве Мария», причем женские голоса доминировали. Потом священник вернулся в прихожую. У него у самого был голодный вид, но он ничего не поел.

Некоторое время он смотрел на меня, а потом вдруг спросил:

– А где раненый?

Я проводила его в гостиную.

– Здесь раненый, а там, дальше, двое больных дизентерией.

Священник пробормотал что-то в ответ, отстегивая четки, и прошел в гостиную. Я видела, что он взглянул на окровавленные бинты на ноге, но рану осматривать не стал и к бинтам не прикоснулся. Он поднес четки к губам страдальца, проговорив: «Miseratur vestri omnipotens Deus». [\[45\]](#)

Я закрыла дверь в гостиную, оставив их наедине.

Мне было слышно, как эта женщина, последняя из прибывших, ходит наверху в комнате, принадлежащей Мари и Пьеру. Поднявшись по лестнице, я открыла дверь и вошла. Распахнув дверцы шкафа, женщина выбрасывала на пол висевшие там платья. Среди вещей моей невестки была великолепная шаль, которую ей подарила матушка. Женщина набросила эту шаль себе на плечи.

– Поторопитесь с ужином, – сказала она мне. – Я не намерена ждать всю ночь.

Незнакомка не потрудилась обернуться, чтобы посмотреть, кто это вошел.

– Вам повезет, если там что-нибудь осталось, – сказала я. – Женщины, которые пришли сюда до вас, почти все уже съели.

При звуке моего голоса, который был ей незнаком, она обернулась через плечо. У нее было красивое, хотя и неприятное лицо, в котором не было ничего крестьянского.

– Думай, что говоришь, когда обращаешься ко мне, – сказала она. – Одно слово солдатам, что находятся внизу, и тебя выпорют за дерзость.

Я ничего ей не ответила. Вышла и закрыла за собой дверь. Вот таких, как она, вылавливали по распоряжению Комитета общественной безопасности и отправляли в Консьержери, а потом на гильотину. Жена или любовница вандейского офицера, она считала себя важной особой. Мне это было безразлично. На лестнице мне встретилась одна из крестьянских женщин, она несла наверх поднос с ужином.

– Она этого не заслуживает, – пробормотала я. Женщина удивленно посмотрела мне вслед.

Когда я снова вошла в гостиную, раненый тихо плакал.

Кровь просочилась сквозь бинты и испачкала обивку дивана. Кто-то закрыл дверь, ведущую в комнату, где находились больные дизентерией. Священника не было видно.

– Мы забыли про вино, – сказала Эдме, входя в гостиную из прихожей.

– Вино? Какое вино? – спросила я.

– Вино Пьера, – сказала она. – Там, в погребе, было около дюжины бутылок. Эти люди его нашли. Все бутылки стоят на столе. Горлышки они просто отбивают.

Эмиль прокрался мимо меня и стоял, прислушиваясь, у дверей библиотеки.

– По-моему, один из них там умирает, – пробормотал он. – Я слышу какие-то странные стоны. Можно я открою дверь и посмотрю?

Это было уже слишком. Наступил момент, когда я не могла больше выдержать. Что бы мы ни сделали, это не принесет никакой пользы. Я чувствовала, что у меня начинают дрожать колени.

– Пойдемте наверх и закроемся там в какой-нибудь комнате, – сказала я.

Когда мы выходили из гостиной, раненый на диване снова начал стонать. Его никто не слышал. В кухне все пели и смеялись, и, прежде

чем запереть дверь в комнату Эдме, мы слышали грохот и звон разбитого стекла.

Мы каким-то образом проспали эту ночь, просыпаясь каждые несколько часов, теряя счет времени. Нам мешали постоянное хождение в соседней комнате и плач – плакали то ли наши собственные дети, то ли вандейские – определить было невозможно. Эмиль жаловался на голод, несмотря на то что он хорошо поел днем. У нас с Эдме не было ни крошки во рту с самого утра.

Мы, наверное, все трое крепко уснули к рассвету, потому что около семи нас разбудили звуки церковного колокола. Это был радостный звон, так звонят на Пасху.

– Это вандейские священники, – сказала Эдме. – Они собираются праздновать захват города, служить в честь этого события мессу. Желаю им подавиться этой мессой.

Дождь прекратился. Унылое солнце пыталось пробиться на небо сквозь белесую пелену.

– На улице никого нет, – сказал Эмиль. – В доме напротив закрыты все ставни, их еще не открывали. Можно я спущусь и посмотрю, что делается на улице?

– Нет, – сказала я. – Пойду сама.

Я пригладила волосы, оправила платье и отперла дверь. В доме царила тишина, если не считать громкого храпа в одной из комнат. Дверь была полуоткрыта, и я туда заглянула. Женщина с ребенком лежала на кровати, рядом с ней – мужчина. На полу спал один из детей другой женщины.

Я прокралась наверх и заглянула в гостиную. Там царил полный беспорядок – на полу валялись разбитые бутылки, как попало спали люди. Человек с ампутированной ногой по-прежнему лежал на диване, но на самом краю, закинув руки за голову. Он тяжело дышал, при каждом вздохе из горла вырывался хрип. Он, по-видимому, был без сознания. Дверь, ведущая в библиотеку Пьера, по-прежнему была закрыта, и я не могла зайти к больным и узнать, как они себя чувствуют, потому что боялась наступить на спящих. В кухне царил такой же разгром – все было испорчено и переломано, валялись разбитые бутылки, остатки пищи, повсюду было разлито вино. На полу спали четверо, одна из них – женщина, поперек колен у нее спал ребенок. Когда я вошла, никто не пошевелился, и я поняла, что они

будут так лежать целый день. Достаточно было окинуть взглядом кухню и заглянуть в кладовку, чтобы понять, что есть в доме нечего.

Как-то раз, давным-давно, когда мы были детьми, в Вибрейе приехал бродячий зверинец, и отец повел нас с Эдме смотреть зверей. Они сидели в клетках, и мы не могли долго там находиться – пришлось уйти из-за невыносимой вони. Так вот, в нашей кухне пахло точно так же, как в тех клетках. Я вернулась наверх, позвала Эдме и Эмиля, и мы все пошли в задние комнаты, где находились Мари и все остальные. Они страшно беспокоились, не зная, что с нами. Дети капризничали, требовали завтрака, бедная собака отчаянно просилась гулять.

– Давайте я ее выведу, – предложил Эмиль. – Они все равно спят. Мне никто ничего не скажет.

Эдме покачала головой, и я поняла, о чем она думает. Если собака окажется на улице хотя бы на минуту, любой прохожий тут же может поймать ее и убить, для того чтобы съесть. Если у нас в кладовой было пусто, у других, наверное, тоже ничего не было. В Ле-Мане восемьдесят тысяч вандейцев, они должны каким-то образом питаться...

– У тебя есть что-нибудь для детей? – спросила я.

Мари удалось сберечь четыре хлебца, несколько яблок и кувшин прокисшего молока. У вдовы нашлось три баночки варенья из черной смородины. Воды было достаточно, так что можно было сварить кофе. Надо было довольствоваться тем, что есть; дров, слава богу, было сколько угодно.

Мы втроем выпили кофе, зная, что это, вероятно, единственное, что нам удастся получить за весь день, а потом они заперли за нами дверь, и мы вернулись в свою комнату. Мы просидели там все утро, по очереди наблюдая за улицей из окна, и около полудня Эмиль, чья очередь наступила к этому времени, доложил, что в доме напротив наблюдается какое-то движение.

Из дома вышли трое вандейцев, они стояли, потягиваясь, потом к ним присоединился третий, потом четвертый; все они о чем-то совещались и потом пошли по улице.

В нашем доме тоже зашевелились. Мы услышали, как внизу открылась дверь, и двое наших «постояльцев» вышли на улицу вместе

с женщиной и ребенком, которые спали в кухне. Они тоже куда-то пошли вслед за теми.

– Они голодные, – сказал Эмиль. – Пошли, наверное, искать, нельзя ли что-нибудь раздобыть.

– Как будто смотришь какую-нибудь пьесу, – заметила Эдме. – Смотришь и не знаешь, чем кончится. А потом оказывается, что это вовсе не актеры, а реальные люди, которые живут реальной жизнью.

Вдруг на улице показалась карета, на козлах сидел человек в военном мундире и с белой кокардой на шляпе. Карета остановилась у наших дверей.

– Это тот священник, – сказала Эдме. – Ему надоело ходить пешком, вот он и попросил его подвезти.

Она была права. Из кареты вылез давешний священник и стал стучать в нашу дверь. Мы слышали, как ему открыли и впустили в дом. Внизу о чем-то негромко переговаривались, а потом мы услышали шаги на лестнице и стук в дверь – стучали в комнату в конце коридора. Это была спальня моего брата, а вчера там поселилась женщина в зеленом платье.

– Интересно, что он собирается там делать? – шепотом сказал Эмиль.

Эдме что-то пробормотала, и Эмиль хихикнул, едва не подавившись от смеха и засунув кулак себе в рот, чтобы не расхохотаться вслух.

Минут через пять окно в спальне распахнулось, и мы услышали, как священник крикнул что-то солдату, сидевшему на козлах. Солдат ответил, и тут же один из крестьян вышел на улицу и взял лошадь под уздцы, а солдат зашел в дом и стал подниматься по лестнице.

– Как, сразу двое? – прошептал Эмиль, давась от истерического смеха.

Вскоре мы услышали, как по лестнице волокут что-то тяжелое, и, выглянув на улицу, увидели, что священник вместе с солдатом тащат из спальни комод Мари. С помощью одного из крестьян его погрузили в карету.

– О нет, – бормотала Эдме, – нет... нет...

Я крепко схватила ее за руку.

– Успокойся! – велела я ей. – Мы все равно ничего не сможем сделать.

Теперь женщина в зеленом платье стала выкидывать из окна вещи, принадлежащие Мари: туфли, меховую накидку, несколько платьев и, очевидно не удовлетворившись, принялась за постель. Вниз полетели одеяла и стеганое покрывало, которым Мари закрывала кровать с первого дня совместной жизни с моим братом. Больше эта особа, очевидно, не нашла ничего стоящего внимания, потому что вскоре мы услышали, как она спускается по лестнице, и вот уже стоит на улице и разговаривает со священником и солдатом. Говорили они громко, и нам было все слышно.

– Что решили? – спросила она, и солдат со священником стали совещаться между собой, но слов мы разобрать не могли, заметили только, что солдат указал в сторону центра города.

– Если принц Таллемон считает, что нужно оставить город, – говорила женщина, – можете быть уверены, что так оно и будет.

Они еще о чем-то поговорили, еще поспорили, а потом женщина и священник сели в карету, солдат забрался на козлы, и они уехали прочь.

– Этот священник даже не зашел ни к раненому, ни к больным дизентерией, – сказал Эмиль. – Только тем и занимался, что помогал этой тетке красть мамины вещи.

Пример священника оказался заразительным для крестьян, которые теперь пробудились от своего пьяного сна; во всем доме – в гостиной, в кухне, на лестнице – поднялся невероятный шум. Они тоже тащили из дома все, что попадалось под руку: горшки и кастрюли, пальто и сюртуки Пьера, висевшие в шкафу в прихожей.

И вдруг я вспомнила наших рабочих из Шен-Бидо и их мародерские походы в Отон и Сент-Ави. То, что делалось по отношению к другим, постигло и нас самих.

Но, конечно же, это было не совсем то же самое, говорила я себе. Конечно же, Мишель и наши ребята вели себя иначе.

Впрочем, возможно, что и нет. Возможно, что они вели себя совершенно так же. А из окна шато Шарбоньер на национальных гвардейцев смотрели женщины и мальчик, совсем так же, как мы сейчас смотрим на вандейцев.

– Мы не можем им помешать, – сказала я Эдме. – Лучше не будем больше смотреть.

– Я не могу не смотреть, – сказала Эдме. – Чем дольше я смотрю, тем больше ненавижу. Я никогда не думала, что можно так ненавидеть.

Она не отрывала взгляда от улицы, а Эмиль вскрикивал, словно не понимая, что происходит, всякий раз, когда из дома выкидывалась очередная знакомая вещь.

– Вот часы из гостиной, – говорил он, – те, которые со звоном. А вот папина удочка. Зачем она им понадобилась? Смотрите, они сорвали портьеры с окон, свернули их в узел, и эта женщина с ребенком нагрузила его на плечи мужчины и заставляет мужчину нести. Почему ты не разрешаешь мне в них стрелять?

– Потому что их слишком много, – отвечала Эдме. – Потому что сегодня – и только сегодня – счастье на их стороне.

Я видела, как она бросила взгляд на два мушкета, которые все еще стояли в уголке у стены. Я могла себе представить, чего ей стоило удержаться и не схватиться за оружие.

– Все кончено, – сказал вдруг Эмиль, и я увидела, что у него на глазах слезы. – Эта тетка добралась до кладовки под лестницей и нашла там Дада. Вон, смотри, она дает его своему ребенку, они его уносят.

Дада – это была деревянная лошадка, детская игрушка Эмиля, с которой он играл всю свою жизнь и которая теперь принадлежала его братьям. Часы, одежда, белье – с тем, что у нас на наших глазах крадут эти вещи, я как-то могла примириться, а вот то, что уносят Дада, вынести уже не могла, это было слишком.

– Сиди на месте и не двигайся, – велела я. – Я принесу ее назад.

Я открыла дверь, бегом спустилась по лестнице и побежала по улице вслед за женщиной и мальчиком. Ни Эмиль, ни Эдме не сказали мне, что крестьяне погрузили награбленное на телегу и теперь, когда я выбежала на улицу, готовы были отъехать. Трое или четверо крестьян сидели поверх сложенных вещей, и с ними эта женщина и мальчик с лошадкой в руке.

– Лошадка! – крикнула я. – Берите все остальное, но отдайте лошадку, это игрушка наших детей.

Они смотрели на меня с удивлением. Мне кажется, они не понимали, что я говорю. Женщина подтолкнула локтем своего соседа

и засмеялась идиотским смехом. Она крикнула что-то, от чего все остальные тоже рассмеялись, только я не поняла, что это было.

– Я найду вашему мальчику другую игрушку, если вы отдадите лошадку, – сказала я.

И тут человек, который был у них за кучера, взмахнул кнутом и ударил меня по липе. Я вскрикнула от боли и отскочила прочь от телеги, а в следующий момент они уже ехали вверх по улице. Я услышала, как наверху распахнулось окно, услышала, как меня зовет Эдме, – я едва узнала ее голос, сдавленный, ужасный, совсем не похожий на ее собственный.

– Я убью их за это... убью!

– Не смей! – кричала я. – Они сами тебя убьют.

Я побежала назад, вверх по лестнице, и, когда открывала дверь в комнату, услышала грохот мушкетного выстрела. Она, конечно, промахнулась, пуля ударила о стену дома в конце улицы. Крестьяне вздрогнули, осмотрелись вокруг, взглянули на небо, а потом поехали дальше и вскоре скрылись из глаз. Они не поняли, откуда раздался выстрел.

– Это безумие, – сказала я Эдме. – Если бы они тебя увидели, они бы прислали солдат, и нас всех перестреляли бы.

– Ну и пусть бы убили... пусть бы убили... – повторяла она.

Я посмотрела на себя в зеркало, что висело на стене. Через все лицо, там, где его коснулся кнут, шел длинный красный рубец, а из него сочилась кровь. Мне стало нехорошо, не столько от боли, сколько от перенесенного потрясения. Я приложила к лицу носовой платок и села на кровать, вся дрожа.

– Тебе очень больно? – спросила Эдме.

– Нет, – ответила я. – Дело не в этом.

Я просто думала о том, на что способен человек, что он может сделать по отношению к другому человеку. Кучер на телеге бьет меня кнутом по лицу, меня, которую он совсем не знает; Эдме стреляет в него из окна; дикая толпа перед Сен-Винсентским аббатством в восемьдесят девятом году; те двое, убитые в Баллоне...

– Пойду посмотрю, что делается внизу, – сказала Эдме.

Я продолжала сидеть на кровати, прижимая к лицу платок.

Когда она вернулась назад вместе с Эмилем – я и не заметила, как он увязался за ней, – она сказала, что человек без ноги мечется в

бреду, непрерывно стонет и повязка у него вся сбилась.

– Весь диван в крови, и на полу тоже кровь, – сообщил Эмиль.

– Он умрет, если не придет доктор, – сказала Эдме.

Я посмотрела на нее.

– Может, попробовать промыть рану? – предложила я.

– Почему мы должны это делать? – возразила сестра. – Чем скорее он умрет, тем лучше. Одним вандейцем будет меньше.

Она снова подошла к окну и стала смотреть на улицу.

Через некоторое время, когда почувствовала себя немного лучше, я пошла вниз посмотреть на раненого. В гостиной больше никого не было, все остальные ушли. Несчастный стонал и что-то бормотал; из раны, несмотря на бинты, шла кровь, стекая на пол, весь диван был перепачкан. Пройдя через гостиную, я открыла дверь в следующую комнату. Вонь там стояла невыносимая. Я быстро закрыла рот и нос платком. Один из больных лежал на спине, он был мертв. Я сразу это поняла, взглянув на застывшее тело. Другой, тот, что вежливо говорил со мной накануне, поднял голову, когда я вошла.

– Мой товарищ умер, – прошептал он. – Я тоже умираю. Если бы только вы могли позвать священника...

Я вышла и закрыла дверь. Вернулась к раненому и осмотрела его повязку. Если я все это сниму и перевяжу рану чем-нибудь чистым, может быть, удастся остановить кровь. Я, конечно, могла бы догадаться, что вандейцы украли все белье. Бельевой шкаф был пуст. В спальне Мари и Пьера я нашла нижнюю юбку, которой пренебрегла женщина в зеленом платье. Я разорвала ее на полосы, чтобы сделать чистую повязку для раненого.

Когда я попыталась снять пропитанные кровью бинты, увидела, что они пристали к открытой ране, и у меня не хватило духу их отдирать, так что я наложила новую повязку поверх старой. На мой непросвещенный взгляд рана стала выглядеть лучше, по крайней мере чище. Я попыталась напоить несчастного, но он беспокоился, метался и выбил чашку у меня из рук.

Нужно привести им священника, подумала я, как мне помнится. Им нужен священник.

Эдме и Эмиль были все еще наверху, а остальные по-прежнему сидели взаперти в задних комнатах. Все перевернулось, было кувырком. Я даже не знала, который теперь час. Вышла на улицу,

чтобы поискать священника. Первый священник, которого я увидела, слишком спешил; он перекрестил воздух над моей головой, извинился и помчался на собрание вандейских начальников.

Второй, когда я ему сказала, что там умирают люди, ответил:

– Здесь тысячи умирающих, все они просят, хотят исповедаться и получить отпущение грехов. Вашим придется ждать своей очереди. Где вы живете?

Я дала ему адрес, и он тоже пошел по своим делам.

Из любопытства – никто не обращал на меня ни малейшего внимания – я решила пойти и посмотреть, что делается в муниципалитете. Меня несколько не удивило, что его постигла та же участь, что и наши дома: вандейцы выкидывали из дома мебель и прочие предметы не для того, чтобы ими воспользоваться, увезти с собой в качестве трофеев, а просто так, из желания разрушать. Под окнами горел костер, и туда бросали столы, стулья, ковры и все прочее. Толпа, собравшаяся на площади, не имела ничего общего с тем, что я видела в Париже в восемьдесят девятом году и позже. Это были крестьяне, босые, поскольку свои сабо, связанные шнурками, они повесили на шею или на плечо; женщины, которые висли либо на них, либо на солдатах с белыми кокардами; дамы-аристократки в локонах и огромных шляпах, щеголявшие в военных мундирах. Все это напоминало маскарад старых времен или сцену из оперы. Если бы я не знала, что происходит на самом деле, я бы сказала, что они все нарядились и явились на бал, а не прошли с боями от побережья до Луары, а потом в Нормандию и обратно.

Внезапно на площади показались два вандейских военачальника, и толпа расступилась, давая им дорогу. Они были неподражаемы – совершенные старинные гравюры: на шляпах развивались пышные плюмажи в стиле Генриха IV, на поясе у каждого – широченные белые шарфы. Рейтузы у них были телесного цвета, сапоги на высоченных каблуках напоминали котурны, а шпаги были изогнуты наподобие ятаганов.

Неудивительно, что крестьяне, увидев их, почтительно кланялись и осеняли себя крестным знаменем.

– Это принц Таллемон, – сказала женщина, стоявшая рядом со мной. – Это он нас завлек в поход на Париж.

Я пошла дальше в поисках священника, который мог бы прийти к умирающим, но все вокруг были заняты тем, что нагружали на лошадей и телеги добычу, найденную в домах и в лавках, и все, кого я спрашивала, отмахивались от меня, повторяя то же самое, что сказал второй священник, а именно: умирающих слишком много и на всех времени не хватает, к тому же на следующий день город будет оставлен.

В этом наконец было что-то обнадеживающее, пусть даже у нас на руках останутся умирающие люди. Я вернулась домой без священника, и мы ждали до вечера, но так никто и не пришел, – даже наши постояльцы-крестьяне. Они, должно быть, нашли где-нибудь в другом месте больше пищи и более подходящее жилье, чем у нас.

Когда перед самым вечером я вошла в библиотеку, то увидела, что больной дизентерией, который просил привести священника, тоже умер. Я нашла какое-то покрывало, чтобы можно было закрыть оба тела, и затворила за ними дверь. Человек без ноги больше не бредил. Он устремил на меня взгляд своих запавших глаз и попросил воды. Я дала ему напиться и спросила, как его рана. Он ответил, что она больше не болит, но что у него боли в животе. Он метался, перекатываясь с боку на бок, то и дело вскрикивая от новой боли, и я поняла, что у него тоже началась дизентерия. Я ничего не могла для него сделать. Постояв над ним с минуту, я оставила возле него чашку с водой, закрыла дверь и пошла наверх.

Вскоре опустились сумерки и наступила долгая ночь. Ничего не происходило, никто не приходил. На следующее утро сигнальные горны заиграли тревогу, эти звуки разнеслись по всем кварталам, и, так же как и накануне, когда зазвонили колокола, мы бросились к окнам и распахнули их настежь.

– Это сигнал сбора! – закричал Эмиль. – Они уходят... оставляют город.

Вандейцы выбегали из дома напротив, сжимая в руках ружья, некоторые даже не успев обуться. Вдали слышались звуки артиллерии.

– Это наша армия, – сказала Эдме. – Это наконец Вестермен вместе со своими республиканцами.

Эмиль хотел тут же бежать на улицу, и нам пришлось его удерживать.

– Они еще не пришли сюда, Эмиль, – говорили мы ему. – В городе еще могут быть тяжелые бои. И мы не знаем, в какой стороне будет сражение.

– По крайней мере я могу способствовать тому, чтобы сражение было здесь, у нас, – сказала Эдме, потянувшись за мушкетом и тщательно прицеливаясь. На сей раз целиться было легче, поскольку она избрала своей жертвой вандейца, который стоял посреди улицы, не зная, в какую сторону бежать. Он сразу же упал. Ноги у него задергались, и через минуту он перестал шевелиться.

– Попала, – проговорила Эдме неуверенным голосом. – Я его убила.

Мы все трое смотрели на скрюченное тело на улице.

– Вот еще один! – воскликнул Эмиль. – Стреляй вот в этого, который вышел из двери.

Эдме стояла неподвижно. Она просто смотрела из окна.

Вандейцы высыпали из домов, повинуюсь призыву горна. Никто не обратил внимания на человека, которого застрелила Эдме. Они галдели, не зная, в какую сторону бежать, и спрашивая об этом друг друга. Я слышала, как один из них говорил: «На город напали синие. Они, наверное, захватили мост». И все в панике, беспорядочной толпой побежали по улице в ту сторону, откуда раздавались звуки горна, а из домов тем временем стали выбегать и женщины, они метались, словно перепуганные гуси. И тут одна из них увидела человека, которого убила Эдме. Она подбежала к нему и перевернула его на спину.

– Это Жан-Луи! – закричала она. – Он умер. Его убили. Кто-то его застрелил.

Женщина начала кричать, раскачиваясь взад и вперед, а ребенок стоял возле нее и смотрел, засунув палец в рот. Кто-то из крестьян подошел и повел ее прочь, она упиралась и все оборачивалась назад, стараясь посмотреть на убитого через плечо.

– Пойду в ту комнату и все им расскажу, – возбужденно говорил Эмиль. – Всем расскажу, как тетя Эдме застрелила разбойника.

Он побежал в задние комнаты, во весь голос выкрикивая свою новость. Эдме прислонила мушкет к окну.

– Я не знаю, почему мне попался именно этот человек, – сказала она голосом, который все еще плохо ей повиновался. – Он же ничего

мне не сделал. Вот если бы это был тот, с кнутом...

– К сожалению, так не бывает, – сказала я. – Страдает всегда не тот, кто заслужил, поэтому все так бессмысленно и получается.

Я отвернулась от окна и пошла вниз, в гостиную. Человек без ноги скатился с дивана на пол. Он все еще дышал, все еще был жив.

Наверху царила суматоха. Эмиль отпер дверь и сообщил всем, что разбойники уходят и что Эдме убила одного из них, вон того, что лежит на улице. Младшие дети желали посмотреть. Собака тоже скатилась вниз по лестнице, истошно лая и требуя, чтобы ее вывели погулять.

– Нет, – заявила я. – Все отправляются назад. Пока еще ничего не кончилось. На улицах все еще сражаются.

Я видела бледное, испуганное лицо вдовы, которая смотрела с верхней площадки лестницы на раненого человека.

Собаку я заперла в кухне – объедки, раскиданные по полу, успокоят ее на некоторое время. Я слышала, как Эдме уговаривает остальных вернуться в задние комнаты и ждать, пока все не успокоится.

Весь остаток дня и всю ночь напролет в городе продолжали сражаться, а на следующее утро около семи часов мы услышали мушкетные выстрелы на улице возле нашего дома и стук копыт кавалерии.

Мы, конечно, снова заняли наш наблюдательный пост возле окна и увидели, что вандейцы вернулись на нашу улицу, однако на сей раз они не были похожи на победителей. Они бежали со всех ног в поисках спасения. Мужчины, женщины, дети – все мчались по улице, в ужасе раскрыв рот, простирая руки, а следом скакали наши гусары и рубили их саблями, не щадя никого. Женщины дико кричали, слышался плач детей, но все заглушали торжествующие, победоносные крики гусар.

– Так их... бей их... бей... – в ярости твердила Эдме, а потом снова схватила мушкет и выстрелила наугад в бегущую толпу. Кто-то упал, и его немедленно затоптали бегущие сзади.

Вслед за гусарами показался отряд Национальной гвардии, они тоже стреляли, и вдруг я увидела Пьера. Он был безоружен, рука у него висела на перевязи, камзол был изорван в клочья, и он кричал во

весь голос: «Стойте! Прекратите! Здесь женщины и дети! Прекратите эту бойню!»

Эмиль высунулся из окна, возбужденно смеясь.

– Мы здесь, папа! – звал он. – Посмотри, мы здесь, у нас все в порядке.

Эдме, прицелившись, подстрелила еще одного вандейца, который спрятался в дверном проеме, а его товарищ выстрелил в ответ, наугад, не зная даже, куда стреляет, и побежал по улице вслед за другими.

Пуля поразила Эмиля, попав ему прямо в лицо, и он упал навзничь в мои объятия, кашляя и заливаясь кровью.

Больше он не издал ни звука, а снизу все слышался визг вандейских женщин, которых рубили наши гусары.

Пьер не видел выстрела, который сразил его сына. Он по-прежнему стоял на улице, взывая к своим сотоварищам, которые не обращали на него никакого внимания: «Прекратите убийство! Остановите гусар! Пусть не трогают женщин и детей!»

Я стояла на коленях, прижимая к себе Эмиля и раскачиваясь взад и вперед, совсем как та вандейская женщина, которая нашла на улице своего убитого мужа.

– О Агнец Божий! – бормотала я. – О Агнец Божий, ты, который взял на себя бремя наших грехов, сжался над нами. Смилуйся над нами... Смилуйся...

Где-то в дальнем конце улицы послышались приветственные клики и звуки «Марсельезы», которую запели наши люди.

Глава семнадцатая

Всякое сопротивление было сломлено в пятницу к полудню, тринадцатого декабря, и повстанческая армия в беспорядке отступила на юг к Луаре, не оставив в Ле-Мане ни одного вандейца, если не считать женщин и детей, а также больных, раненых и убитых.

Я не говорю о тех первых днях, которые последовали за сражением, просто потому, что милосердная память удержала в себе не так уж много событий. Скорбь об Эмиле, попытки утешить сраженную горем мать и навести какой-то порядок в доме – вот что заполняло все наше время. Помню, что Пьер, убедившись в том, что больше ничего не может сделать для сына, опустился на колени возле раненого и ухаживал за ним, пока тот не умер; пример брата, который старался утолить таким образом свое собственное горе, придавал нам мужества, помогая пережить все последующие дни.

Победа, несмотря на то что она была полной и окончательной, повлекла за собой такие ужасы, что их лучше всего забыть.

Наши солдаты, обозленные предшествующими неудачами, действовали по принципу «око за око, зуб за зуб» не только когда дело касалось преследования противника, но и по отношению к женщинам и детям, оставшимся в городе. Муниципальные власти еще не вернулись из Шартра, и группа горожан, в числе которых был и Пьер, образовала некое подобие администрации, чтобы попытаться восстановить порядок. Однако основная масса населения города нисколько не помогали им в этой работе. Их дома были разорены и разграблены, так же как и наш, и в этих несчастных пленниках, оставшихся в городе, они нашли объект для мщения и ненависти. Я благодарила Господа Бога за то, что мне не довелось присутствовать при одной ужасной сцене: группу женщин с детьми – их было больше двадцати – выловили на дорогах и собрали на площади Якобинцев, и жители Ле-Мана, как мне потом рассказала Эдме, перебили их всех до одного с помощью гусар. Подобные сцены никак не могли утешить человека в горе, не могли они и воскресить мертвых. Они лишь увеличивали бремя скорби. В субботу я отправилась в город, чтобы поискать хлеба для семьи, и стала свидетельницей ужасного зрелища:

груды мертвых тел закидывали на телегу, словно мусор, чтобы отвезти куда-то и похоронить. На самой верхушке этой кучи я увидела распостертое тело в сбившихся на голову зеленых юбках – это была наша рыжеволосая квартирантка.

В пятницу ненадолго появился Мишель. Он ни о чем меня не спросил, даже не удивился, что я в Ле-Мане, настолько все мы потеряли счет дням и времени вообще. Вместе со своим отрядом – они потеряли около двадцати человек в стычках с вандейцами – он затаился где-то в окрестностях города, дожидаясь момента, когда можно будет соединиться с республиканскими войсками. Теперь же, когда вандейцы были окончательно разбиты и обращены в бегство, он спешил вернуться в Мондубло, чтобы сообщить местным властям о разгроме мятежников.

– Два месяца тому назад почти двести тысяч мятежников переправились на эту сторону Луары, – сообщил нам Мишель. – Они смогут считать себя счастливыми, если на тот берег вернутся тысячи четыре из тех, что уцелели и бродят по округе. Да им и не удастся особенно порадоваться, когда вернутся домой, ибо наши войска получили от Конвента приказ сровнять с землей каждую деревню. От Вандеи не останется камня на камне.

Всему западу было оставлено страшное наследие: ненависть. Даже те вандейцы, которые не пошли в поход с остальными, а мирно оставались дома, все равно были виноваты. Не было среди них правых и невиновных, независимо от пола или возраста. Старейший из старых должен был расплачиваться наряду с самым крошечным младенцем. Таков был приказ. К счастью, некоторые из наших генералов, в том числе и Клебер, которому впоследствии было суждено стяжать громкую славу, возражали против жестокости полученных приказов, и поэтому подчиненные им войска не совершали особых зверств. Остальные же командиры не отличались подобной гуманностью. Так же как мой брат Мишель, они считали, что единственный способ подавить мятеж раз и навсегда – это уничтожить потенциальных бунтовщиков всех до единого.

Я целую неделю провела с Пьером и его несчастной семьей, помогая им всем по мере возможности. Потом из Шен-Бидо приехал Франсуа, чтобы забрать меня домой, и мы взяли с собой двух младших мальчиков вместе с их собакой и щенками. Моя невестка,

убитая горем, не хотела расстаться с Пьером, и Эдме осталась в Ле-Мане, чтобы ухаживать за ними обоими.

Контора брата пострадала больше, чем его дом, – вандейцы вломились в комнаты и учинили там полный разгром. Мебель, папки с бумагами, все документы его клиентов были бессмысленно уничтожены бандой варваров, которые, вероятно, жгли все, что попадалось под руку, ради удовольствия видеть пламя.

Единственное, что беспокоило Пьера, это достояние его клиентов. Самые бедные из них, те, чьи дома подверглись опустошению, кто потерял все, что у них было, недолго находились в бедственном положении: они снова получили мебель, белье, провизию – всем этим обеспечил их Пьер из своих средств. Я узнала об этом много позже от Эдме. Это довело его почти до полного разорения, причем он никому, кроме нее, об этом не говорил. В результате ему через год пришлось продать свою практику и поступить на службу в качестве муниципального нотариуса. Мне кажется, что если кто-нибудь и жил согласно принципам равенства и братства, вдохновлявшим нашу революцию, то это был мой брат Пьер.

Тот «оригинал», который, как уверял в свое время наш отец, ничего не сумеет добиться в своей жизни, который не желал зарабатывать себе на жизнь и в семнадцать лет вернулся с Мартиники, не привезя с собой ничего, кроме чемодана, набитого пестрыми жилетами, и пары попугаев – по одному на каждом плече, – был теперь, в свои сорок лет, не только первым патриотом в городе, но и одним из самых любимых и почитаемых граждан в Ле-Мане.

Совсем другим человеком был Мишель. Какая-то часть рабочих боготворила его; все последние годы, принимая участие во всех его походах и начинаниях, они видели в нем отважного человека и вождя, однако многие его боялись и тяготились беспощадной дисциплиной, которую он ввел в своем отряде Национальной гвардии. Среди родственников тех, кто сложил голову в последней кампании против вандейцев, шел ропот: люди говорили, что их родные погибли напрасно. Они вступили в отряд, чтобы защитить свой приход, свою деревню, а совсем не для того, чтобы целых два дня гнаться за противником, во много раз превосходящим отряд по силам.

В некоторых коммунах нашей округи хорошо помнили ту роль, которую играли Мишель вместе с моим мужем во время выборов в

Конвент год тому назад. «Бюссон-Шалуар и Дюваль, – говорили они, – получили преимущество не только благодаря родственным связям с экс-депутатом, но и благодаря своему высокому положению „держателей национальной собственности"». Этот титул, столь популярный в девяносто первом году, в значительной степени утратил свой престиж к девяносто четвертому: бедные продолжали оставаться бедными, а тех, кто разбогател, купив церковные земли, называли теперь спекулянтами, забыв об изначальном патриотизме, которым они в свое время руководствовались.

Если гражданская война против Вандеи и окончилась, то теперь давали о себе знать ее последствия: всеобщее недовольство, которое достаточно остро ощущалось в наших краях, и даже среди наших собственных рабочих. Золотой век так и не наступил. Жить по-прежнему было трудно. А хуже всего было то, что воинская повинность забирала из каждой семьи самых молодых и здоровых ее членов, а зачастую и самого кормильца.

«Почему должны идти наши парни? – этот извечный вопрос задавали и наши женщины – матери и жены. – Пусть бы сначала брали чиновников да богатеев. Пусть они идут первыми, а наши уж за ними». Поскольку мои братья принадлежали и к тому, и к другому разряду, мне было трудно ответить на этот вопрос, я могла только сказать, что для управления страной, так же как и стекольным заводом, нужны знающие и компетентные люди. В ответ на это они просто смотрели мне в лицо или начинали ворчать, говоря, что революция позаботилась о тех, кому и до этого было неплохо, а что до рабочего человека или крестьянина, так у них все осталось по-старому. Эти заявления были неверны, и тем не менее я чувствовала себя неловко.

Дополнительные трудности были вызваны тем, что закон максимума, принятый Робеспьером и Конвентом, устанавливал ограничения не только на продукты питания и товары, но и на заработную плату. Это вызывало серьезное недовольство рабочих по всей стране, а на нашем заводе рабочие обвиняли в этом Мишеля и Франсуа, как будто закон издали они, а не Конвент.

«Гражданин Бюссон-Шалуар и гражданин Дюваль могут покупать национальную собственность, а вот наши заработки должны оставаться на прежнем уровне», – говорили они мне.

В течение всей зимы девяносто четвертого года, а также весной недовольство все возрастало. Новости о ежедневных казнях в Париже, которым подвергались не только бывшие аристократы, но и депутаты-жирондисты,^[46] помогавшие править нами в минувшем году, да, по существу, каждый, кто осмеливался поднять голос против того узкого кружка, который вершил дела в Конвенте, – Робеспьера, Сен-Жюста и немногих других, – доходили и до нашего захолустья.

Смерть Дантона потрясла нас всех, даже Мишеля. Вот вам: величайший наш патриот тоже отправился на гильотину вместе со всеми остальными.

– Мы не имеем права высказывать свое собственное мнение, – сердито говорил мой брат. Сердился он, наверное, потому, что вера его в Конвент была поколеблена. – Дантон, вероятно, участвовал в заговоре против нации, иначе его бы не осудили.

В войне против союзников республиканские армии одерживали одну победу за другой, и тем не менее число несчастных узников, посылаемых на гильотину, все увеличивалось. Франсуа мне признался, что, по его мнению, Робеспьер вместе с Революционным трибуналом зашли слишком далеко, однако он не смел говорить об этом при Мишеле.

Эти чрезвычайные меры и строгости вызвали, в свою очередь, ответную реакцию по всей стране, и наши края не были исключением. На нашем заводе стали случаться мелкие кражи, наблюдались отказы выходить на работу, слышались угрозы в адрес Мишеля.

– Если так будет продолжаться, – говорил Франсуа, – то нам придется либо разорвать партнерство с Мишелем и он должен будет уйти, либо мы сами откажемся от аренды Шен-Бидо и уедем отсюда.

Срок арендного договора истекал в ноябре, в День Всех Святых, или, как мы теперь говорили, одиннадцатого брюмера, так что решение откладывалось до этого времени. А пока оставалось только надеяться, что в течение лета дела наши поправятся, а страсти несколько улягутся.

Больше всего меня огорчало то, что в Шен-Бидо больше не было той атмосферы доброжелательства, которая некогда там царила. И в домах, и возле стекловарной печи постоянно ощущалась беспричинная враждебность, для которой не было никаких оснований; то же самое я чувствовала и в отношении ко мне женщин. Братская

дружба, возникшая между рабочими и Мишелем, когда он только что стал мастером-хозяином стекловарни, исчезла бесследно, и никто не мог сказать, что именно послужило тому причиной – воинская ли повинность, или потери, вызванные гражданской войной, или замороженные заработки, – такие вещи словами не определяются. Мадам Верделе, от которой я обычно получала сведения, говорила мне, что люди «сыты по горло». Именно это выражение бытовало в те времена.

– С них довольно, – говорила она, – довольно революций, довольно войны и лишений, довольно всяческих перемен. Было гораздо лучше, говорят старики, когда делами ведала ваша матушка и всюду был порядок. А теперь никто не знает, чего ждать от завтрашнего дня.

А этот завтрашний день, если говорить о правительстве, принес борьбу за власть внутри самого Конвента и предательскую расправу с Робеспьером и его сподвижниками. Десятого термидора, или двадцать восьмого июля, этот наш вождь, чью честность и убежденность мы так привыкли уважать, несмотря на его беспощадность, отправился на гильотину через двадцать четыре часа после ареста. Парижане, которых он спас от вражеского нашествия, грозившего извне, и внутренних бунтов и беспорядков, даже не пытались его защитить.

Смерть Робеспьера и его друзей послужила сигналом к отмене множества правил и ограничений, без которых страна никогда не смогла бы выжить. К власти снова вернулись умеренные. Закон максимума был отменен. Цены и заработки взвились вверх. Роялисты открыто заговорили о том, что в самом скором времени вернется старый режим и будет восстановлена монархия. Якобинцы повсеместно теряли власть и влияние, и это не замедлило сказаться на муниципальных делах по всей стране. «Прогрессисты» были в немилости не только официально, но и среди рабочего люда, и таких людей, как Мишель, которые открыто поддерживали самые жесткие меры Робеспьера, называли «бешеными», иначе говоря – террористами, и зачастую подвергали аресту исключительно по этой причине.

Остановка в поступательном движении революции и падение якобинцев глубоко поразили Мишеля. Его вера в человека пошатнулась после отъезда в эмиграцию Робера, а теперь такой же

страшный удар был нанесен его вере в революцию. Пострадала также и его гордость. В последние несколько лет Мишель Бюссон-Шалуар сделался заметной фигурой в нашей округе, человеком, с которым приходилось считаться, поскольку он обладал известной властью над своими соседями. Теперь же, в связи с изменениями в правительственной политике, со всем этим надо было расстаться. Он сразу же превратился в ничто, в рядового мастера-стеклодува, дела которого к тому же находились далеко не в цветущем состоянии и за чьей спиной его собственные рабочие злобно шептались, распространяя порочащие его слухи. По мере того как приближался день возобновления контракта, я с тяжелым сердцем пыталась предугадать, чем все это кончится.

– Мы не только терпим убытки, – говорил Франсуа, – мы теряем доверие и коммерческий кредит. Если так будет продолжаться, мы попросту обанкротимся, так же как это было с Робером, хотя и по другой причине.

– Так что же теперь делать? – спросила я. – Как мы должны поступить?

По лицу моего мужа я поняла, что он не уверен, соглашусь ли я с его планами.

– Мой брат Жак вот уже несколько месяцев предлагает мне войти в его дело и работать с ним в Мондубло, – сказал он мне. – Мы можем жить в его доме, места там достаточно. А потом, через несколько лет, мы вообще можем отойти от дел и поселиться в нашем имении в Гедде-Лоне.

– А как же Мишель?

– Мишель должен сам позаботиться о себе. Мы это уже обсуждали. Он подумывает о том, чтобы перебраться в Вандом. Там обосновались некоторые бывшие якобинцы, с которыми он поддерживает связь, хотя они в настоящее время скрываются. Собирается ли он образовать там какое-нибудь общество, я сказать не могу. Он в последнее время не слишком разговорчив.

Если бы в былые времена Франсуа был вынужден сделать такое признание, оно сопровождалось бы глубоким вздохом. Теперь же он спокойно взял на руки нашу дочь Зоэ, которой был уже год и три месяца, посадил ее на колени и стал качать, не думая больше о своем товарище и компаньоне. Их развело время. А может быть, виной тому

была Вандея. Когда мой брат в минувшем году выступил вместе со своим отрядом на войну с вандейцами, оставив моего мужа дома, между ними что-то произошло.

– Если все это так, – сказала я Франсуа, – я ничего не могу возразить, поскольку от моих слов ничего не изменится. Я поеду с тобой в Мондубло. Но пусть это будет так, как ты говоришь, всего на несколько лет.

Я вышла из дома и постояла в саду. В этом году был хороший урожай яблок, и наши старые деревья сгибались под тяжестью плодов. К одному из них была прислонена лестница, а рядом стояла корзина, наполовину наполненная яблоками. В матушкины времена небольшой сарайчик в дальнем конце сада, где хранились яблоки, бывал всегда полон, и фрукты, предназначенные для еды, сортировались в строгом порядке, так что наиболее стойкие сорта подавались к столу уже тогда, когда созревали яблоки нового урожая.

Шен-Бидо был моим домом в течение долгих лет. Я приехала сюда вместе с моими родителями, братьями и сестрой, когда мне было пятнадцать. Здесь началась моя семейная жизнь. И вот теперь, когда приближается тридцать первый день моего рождения – он наступит всего через несколько дней после того, как истечет срок арендного договора на Шен-Бидо, – я должна готовиться к тому, чтобы собрать и упаковать все наше имущество и распрощаться со старым домом навсегда. Я стояла в саду, слезы жгли мне глаза, и вдруг кто-то тихо подошел ко мне сзади и обнял. Это был Мишель.

– Не грусти, – сказал он. – Мы хорошо здесь прожили. А прекрасное никогда не длится вечно. Я уже давно это усвоил.

– Мы были так счастливы здесь все трое, – сказала я, – хотя я иногда и портила вам жизнь своей ревностью.

– Я никогда этого не замечал, – ответил он.

Я подумала о том, сколько, должно быть, приходилось молча переносить моему мужу ради того, чтобы не тревожить своего друга. Как странно иногда проявляется у мужчин преданность товарищу.

– Может быть, – сказала я, – когда наступит более спокойное время и дела пойдут лучше, мы снова сможем начать какое-нибудь дело в другом месте.

Мишель покачал головой.

– Нет, Софи, – сказал он. – Раз уж мы решили р-расстаться, п-пусть так оно и б-будет. Франсуа скоро обоснуется либо в Мондубло, либо в Ге-де-Лоне. Он п-поможет тебе растить детей. А я одинокий волк, всегда был таким. Б-было бы, наверное, лучше, если бы меня подстрелил какой-нибудь вандеец. Наши ребята п-похоронили бы меня, как героя.

Я понимала, почему он испытывает такую горечь. Ему было тридцать семь лет, лучшая часть жизни осталась уже позади. Он был стеклодув, другого ремесла не знал. Всею душой он отдался революции, но его сподвижники-революционеры покинули его, и теперь он чувствовал себя никому не нужным. Мне трудно было себе представить, что в Вандоме его ожидает счастливое будущее.

Когда настало время уезжать, я уехала первой, раньше всех. Мне было бы невыносимо видеть пустой дом. Кое-что из обстановки отправили прямо в Ге-де-Лоне, с тем чтобы люди, которым мы сдали дом, хранили их до того времени, когда мы там поселимся. Остальное мы отдали Пьеру. Прощаясь с нашими людьми, я как бы прощалась со своей юностью, с той частью моей жизни, которая закрывалась навсегда. Те семьи, что были постарше, грустили при расставании со мной, остальным же это было, по-видимому, безразлично. Они смогут заработать себе на жизнь и при новом хозяине – это был какой-то родственник владельца Монмирайля – и для них не имело никакого значения, кто будет жить в господском доме. Когда я выезжала со двора, держа на руках мою малышку, я оглянулась через плечо, чтобы помахать рукой Франсуа и Мишелю. Последнее, что я увидела, была труба нашей стекловарни, уходящая в небо, и облачко дыма над ней. Вот, подумала я, и конец нашей семьи – Бюссоны, отец и сыновья, больше не существуют. Традиция прервана. Тому, что создал в свое время мой отец, наступил конец. Мои сыновья, если мне будет суждено их родить, будут носить фамилию Дюваль, у них будет другая профессия, и жить они будут в другое время. Мишель никогда не женится. Сыновья Пьера, воспитанные кое-как, не получающие никакого образования, вряд ли станут заниматься стекольным делом. Это искусство будет утрачено, мастерство, которое отец завещал своим сыновьям, пропадет втуне. Я вспомнила нашего эмигранта Робера, теперь уже чужестранца. Жив ли он или уже умер, родила ли ему детей его вторая жена?

Моя дочь Зоэ погладила меня по лицу и засмеялась. Я закрыла дверь в прошлое, обратив взор в будущее, и с тяжелым сердцем стала думать о Мондубло, который вряд ли станет моим домом.

Прошел почти год, прежде чем мы четверо – Пьер, Мишель, Эдме и я – снова собрались все вместе, однако на этот раз это была невеселая встреча, ибо соединило нас общее горе. Пятого брюмера третьего года (или двадцать шестого октября тысяча семьсот девяносто пятого по старому календарю) мы сидели за обедом – Франсуа, мой деверь и я с Зоэ, которая занимала уже более достойное положение за столом, сидя на своем высоком стульчике; мой малютка-сын, Пьер-Франсуа, спал в своей колыбельке наверху – как вдруг раздался звон дверного колокольчика и послышались какие-то голоса. Франсуа встал, чтобы узнать, в чем дело. Через несколько минут он вернулся и печально посмотрел на меня.

– Приехал Марион, – сказал он. – Из Сен-Кристофа.

Марион был крестьянин, которого матушка нанимала для работы на ферме и на полях в Антиньере. Он приехал вместе с сыном. Я сразу же обо всем догадалась – это было самое худшее, что могло со мной случиться; мне показалось, что ледяная рука схватила меня за сердце.

– Она умерла, – сказала я.

Франсуа сразу же подошел ко мне и обнял меня.

– Да, – сказал он. – Это случилось вчера, внезапно. Она ехала в шарабане из Сен-Кристофа в Антиньер, чтобы закрыть дом на зиму, за кучера у нее был молодой Марион, и как раз когда они сворачивали с дороги к ферме, она вдруг упала.

Молодой Марион позвал отца, они вдвоем перенесли матушку в дом и положили на кровать. Она жаловалась на ужасные боли в животе, и ее стошнило. Марион послал сына за врачом в Сен-Патерн, но не успел молодой человек выйти из дома, как она умерла.

Одна, никого при ней не было, кроме этого крестьянина. Никого из нас. Зная матушкин характер, я могла предположить, как все это было. Она, наверное, почувствовала себя плохо еще раньше, утром, но никому ничего не сказала. Решила, должно быть, следовать установленному порядку и закрыть дом на ферме ранней осенью, с тем чтобы провести зимние месяцы в другом своем доме, в Сен-Кристофе – в девяносто втором году его переименовали в Рабриан, когда святые вышли из моды. И вот она отправилась на ферму, чтобы

привести там все в порядок. Шок притупил все мои чувства, я еще не могла плакать. Я направилась в кухню, где кормили обедом молодого Мариона, и стала его расспрашивать.

– Да, – подтвердил он, – гражданка Бюссон была бледна, когда мы выехали из деревни, однако ее никак нельзя было уговорить остаться дома и не ехать в Антиньер. Она говорила, что обязательно должна все осмотреть хотя бы еще раз, прежде чем наступит зима. Она была упряма, вы же знаете. Я уж потом говорил отцу: она словно бы знала.

Да, подумала я. Внутреннее чувство подсказывало ей, что это будет в последний раз. Однако это внутреннее чувство пришло слишком поздно. У нее не оставалось времени на то, чтобы еще раз посмотреть на ферму, – только на то, чтобы умереть в своей постели.

Молодой Марион сказал нам, что будет вскрытие. Муниципальный врач нашей округи должен был прибыть в течение дня, чтобы установить причину смерти.

Уже наступил вечер, и было слишком поздно ехать в Сен-Кристоф. Мы решили сообщить о смерти матушки Пьеру и Эдме в Ле-Ман и выехать с утра на следующий день. Молодой Марион сказал нам, что кто-то уже поехал в Вандом, чтобы известить Мишеля.

Был прекрасный теплый день золотой осени – такие иногда случаются в конце октября, – когда мы четверо собрались в Антиньере. Завтра небо закроется облаками, с запада подует ветер, принеся с собой дождь, срывая с деревьев последние листья, как ему и полагается, так что вся природа вокруг нас станет мрачной и унылой. Сегодня же воздух был напоен сладостной негой, и выкрашенный в желтую краску домик в изгибе холма золотился в лучах заходящего солнца.

Был именно такой день, какие любила матушка. Я стояла на взгорке, над самым подворьем фермы, в том самом месте, где, по словам Мариона, матушке стало плохо, и у меня было странное чувство, что она здесь, со мной, держит меня за руку, как бывало в детстве. Смерть, вместо того чтобы разорвать все связи, сделала родственные чувства еще крепче.

В доме нас ожидал доктор, рядом с ним стоял Мишель. Мой брат сильно похудел и побледнел, с тех пор как уехал из Шен-Бидо. Вскоре к нам присоединились Пьер и Эдме, и моя сестра, которая не

проронила ни слезинки в те страшные три дня в Ле-Мане два года тому назад, залилась слезами, увидев меня.

– Почему мама не послала за нами? – говорила она. – Почему не сказала, что болеет?

– Такой уж у нее характер, – ответил Пьер. – Я был здесь всего несколько недель тому назад, и она ни на что не жаловалась. Даже маленький Жак ничего не замечал.

Жак находился в Сен-Кристофе у Лабе, одного из наших родственников, и должен был там оставаться до тех пор, пока не будут решены все вопросы, касающиеся его будущего. Меня несколько не удивило, что Пьер сразу же вызвался быть его опекуном.

В полном молчании мы стояли возле тела нашей матери. Доктор рассказал нам о результатах вскрытия, которое показало, что причиной смерти было прободение язвы желудка, однако невозможно было определить, как давно началось заболевание. Доктор вместе со своим помощником произвели вскрытие в маленьком домике, расположенном по соседству, там и находилось тело матушки в ожидании похорон. Сам матушкин дом был опечатан, но теперь чиновник снял печати и открыл двери, чтобы мы могли войти и убедиться, что все в порядке и никто ничего не тронул.

До этого момента я не плакала, а теперь заливалась слезами. К чему бы мы ни прикасались, во всем чувствовалась матушкина рука. Многие она уже нам раздала, оставив себе лишь те вещи, которые напоминали ей о нашем отце и о прожитой с ним вместе жизни.

Сен-Кристоф мог превратиться в Рабриан, мадам Бюссон – в гражданку Бюссон, короли, королевы и принцы могли отправиться на гильотину, и вся жизнь в стране измениться, а моя матушка оставалась верной своему вневременному миру. В доме по-прежнему стоял комод с мраморным верхом и ореховое бюро; в буфете – дюжина серебряных тарелок, которые ставились на стол, когда в шато Ла-Пьер бывали гости. Она сохранила восемнадцать бокалов и двадцать четыре хрустальные солонки, изготовленные Робером в первые дни его самостоятельной работы, сразу после того как он был произведен в мастера, а в одном из ящичков письменного стола мы обнаружили плотно исписанные страницы с полным изложением хода процесса, связанного с его банкротством.

Были там и более личные предметы, глядя на которые казалось, что матушка все еще находится с нами: кресло перед камином, ломберный столик, на котором она раскладывала пасьянсы, пюпитр для нот – воспоминание о давно прошедших днях, когда у нас был свой собственный хор в Ла-Пьере и в праздники в дом приходили рабочие, чтобы петь вместе с нами; корзинка для Ну-Ну, собаки, которая жила у нее много лет, и клетка, где в свое время жил Пеле, один из двух попугаев, привезенных Пьером с Мартиники в шестьдесят девятом году.

Мы пошли наверх, в спальню, где все дышало ее присутствием: кровать под зеленым пологом – ложе, которое она делила с моим отцом, – обивка на стенах, каминный экран возле письменного столика. Часы на камине, серебряный кубок рядом с ним, отцовская трость с золотым набалдашником и золотая табакерка, которую ему подарил маркиз де Шербон, когда он уезжал из Шериньи в Ла-Пьер; ее зонтик из тафты, ее настольная лампа...

– Как будто бы время остановилось, – прошептала Эдме. – Я снова в Ла-Пьере. Мне три года, в стекловарне звонит колокольчик, возвещающая конец смены.

Мне кажется, больше всего нас поразило ее шкаф и белье, аккуратно сложенное на полках. Мы начисто о нем забыли, а она хранила его все эти годы, используя для себя несколько стареньких простыней, а остальное сберегая нам в наследство. Вышитые простыни и наволочки, дюжины скатертей, нижние юбки, носовые платки, муслиновые чепчики, давно вышедшие из моды, но отлично выстиранные и свежие, – на полках лежало больше сотни этих чепчиков, переложенных розовыми лепестками.

Все эти вещи, столь неожиданные и столь несовместимые с нашим бурным временем, служили как бы обвинением нашей эпохе, которая не испытывала уважения к прошлому и ненавидела все, к нему относящееся.

– Если вы закончили осмотр имущества гражданки Бюссон, – сказал судебный врач, который шел за нами следом, – в свое время будет произведена полная официальная его опись. А пока я должен снова наложить печать.

Мы вышли из мира нашего детства и снова вернулись в месяц брюмер третьего года. Но мне все равно казалось, что, когда мы

выходили из комнаты матушки, ее руки были на моем плече и на плече сестры.

Мы похоронили ее на кладбище в Сен-Кристофе, рядом с ее родителями: Пьером Лабе и его женой Мари Суанэ.

Все мы пятеро получили равные доли наследства; интересы Жака, заменяя его отца-эмигранта, представлял гражданин Лебрэн, общественный нотариус нашего округа. В эти доли входило самое разнообразное имущество, которым матушка владела в приходе Сен-Кристоф. Для того чтобы одному не досталось больше, чем другому, принималась во внимание стоимость каждого объекта: так, например, тот кто окажется владельцем дома Пьера Лабе в Сен-Кристофе, должен будет возместить разницу в стоимости тому, кто получит менее ценное имущество. После этого нотариусы написали на пяти бумажках наименование разных частей наследства, бумажки были сложены в шляпу, и каждый из нас должен был тянуть жребий.

Мишель, которому ничего не было нужно, оказался самым счастливым: ему достался дом нашего деда. Он тут же предложил его Пьеру, который вытащил билетик с названием маленькой фермы возле деревни, и наш леманский брат, у которого было трое собственных, весьма бойких сыновей, а теперь еще и приемный, племянник, не считая того, что вскоре ожидалось очередное прибавление семейства, был очень рад этому обмену. Вскоре после этого он оставил Ле-Ман и перевез семью в Сен-Кристоф, так как на западе снова начались волнения – там то и дело возникали стычки с иррегулярными соединениями роялистских войск, или с шуанами,^[47] как их тогда называли, и Пьер боялся, как бы его семье не пришлось заново пережить все ужасы гражданской войны.

Я получила небольшую ферму Грандиньер, Эдме досталась такая же, она называлась Гупильер, а для Жака нотариус вытянул Антиньер. Мы оставили на всех трех фермах арендаторов, поскольку фермерские дома никому из нас не были нужны.

Личные вещи отца тоже были оценены, и каждый из нас должен был заплатить за то, что ему хотелось получить. Мы с сестрой поделили между собой белье, Пьер, у которого была большая и все растущая семья, забрал все стулья, собачью конуру и клетку, в которой не было попугая, а Мишель, к моему великому удивлению и радости,

заплатил четыре тысячи ливров за отцовскую золотую табакерку и его трость с золотым набалдашником.

– Это первые вещи в моей жизни, которые я помню, – говорил он потом. – Отец по воскресеньям ходил с этой тростью в церковь в Курдисье, а когда заканчивалась месса, он, б-бывало, стоял возле церкви и угощал табаком к-кюре из вот этой самой табакерки. Мне ужасно нравилось на это смотреть.

Он снова положил табакерку в карман и улыбнулся. Неужели это возможно, думала я, что Мишель, который с самого начала бунтовал против отцовского диктата больше всех сыновей, все эти годы любил отца больше нас всех?

Он посмотрел на Эдме, которой, как и ему самому, не надо было думать о семье.

– Какие у тебя планы? – спросил он ее. Сестра пожала плечами. Перспектива переезда в Сен-Кристоф ее не привлекала. Если Пьер действительно намеревался оставить свою должность общественного нотариуса в Ле-Мане и жить в деревне, для нее там не будет никакого дела. Домашние заботы и целый выводок детей могут удовлетворить ее невестку, но Эдме Бюссон-Помар любила работать головой.

– У меня нет никаких планов, – ответила она. – Разве что ты найдешь какую-нибудь новую революционную партию, в которую я могла бы вступить.

Надо сказать, что смерть матушки совпала с новой сменой правительства в Париже. За несколько недель до этого в столице вспыхнуло роялистское восстание, которое было подавлено генералом Бонапартом, и в самый день матушкиной смерти Конвент прекратил свои заседания и исполнительная власть перешла к Директории, состоявшей из пяти министров. Никому не было известно, как они собираются управлять страной. Единственные люди, которые пользовались авторитетом, были генералы, и самый влиятельный из них – Бонапарт, но они были слишком заняты тем, что одерживали победы над нашими врагами за границей, и им было некогда заниматься делами в Париже.

– В Вандоме м-масса якобинцев, – сказал Мишель. – Там находится и Гесин, при Директории он будет комиссаром. Он хочет добиться возвращения робеспьеровской Конституции девяносто

третьего года и покончить с шуанами и всякого рода умеренными. Я его знаю.

Я заметила, как заблестели глаза Эдме. Робеспьер был ее Богом, а Конституция, принятая в девяносто третьем году, – ее требником.

– Он собирается издавать в Вандоме газету, – продолжал Мишель, – под названием «L'Echo des Hommes Libres».^[48] В ней будет сотрудничать Бабёф, один из экстремистов. Он считает, что все богатства, всю собственность надо разделить поровну. Некоторые называют его «коммунистом». Это похоже на новую религию, которую я готов исповедовать.

Он подошел к Эдме и протянул к ней руки.

– Поедем в Вандом, Эйме, – сказал он, называя ее ласковым именем наших детских дней. – Б-будем жить вместе, соединим наши наследства и будем работать во имя революции. Пусть называют меня террористом, экстремистом или п-проклятым якобинцем. Я всегда им был, им и останусь.

– Я тоже, – сказала Эдме.

Они рассмеялись и обнялись, совсем как в детстве.

– Удивительное д-дело, – сказал Мишель, оборачиваясь ко мне. – Это, наверное, потому, что я всю жизнь жил в маленьком обособленном мирке, но я теряюсь, если вокруг меня нет друзей. Если Эдме поедет со мной в Вандом, мне б-будет казаться, что я снова живу на стекловарне.

Я радовалась за них. Будущее, которое, казалось, не сулило им ничего радостного, обрело какой-то смысл. Странно, что смерть матушки сблизила брата и сестру, двух одиноких людей, которые больше всех остальных были похожи на отца.

– А если у нас ничего не получится с политикой, – сказала Эдме, – снова возьмем в аренду стекловарню и станем партнерами. Я вполне могу делать мужскую работу. Спроси у Пьера.

– Я и сам это знаю, – ревниво отозвался Мишель. – Мне н-не нужно никого спрашивать.

Он нахмурился, словно ему внезапно пришла в голову какая-то мысль. Бог знает, в каких глубинах его существа возник его новый проект.

– Мы могли бы взять в аренду стеклозавод в Ружемоне, – сказал он, – и восстановить его во всем его прежнем величии. Не для себя,

конечно, – мы стали бы делить все доходы с рабочими.

Он не назвал Брюлоннери, Шериньи и даже Ла-Пьер. Он выбрал Ружемон, стекловарню, на которой его брат Робер потерпел свое первое банкротство. И я поняла, что Мишель еще раз пытается, сам не зная почему, искупить вину своего брата.

– Решено, – повторил он. – Если в наших сотоварищах по политике мы не найдем того, что ищем, берем Ружемон, вступаем в партнерство и начинаем там работать.

Время показало, что дело было совсем не в сотоварищах, а в том, что пораженная коррупцией Директория отнюдь не разделяла их идей о народовластии и имущественном равноправии – настолько, что через полтора года Гракх Бабёф, их автор, был приговорен к смертной казни, а редактор «L'Echo des Hommes Libres» заключен в тюрьму.

Я до сих пор не знаю, как Мишелю и Эдме удалось избежать тюремного заключения. Всему Ван-дому было прекрасно известно, что они тесно связаны с Гесином и его сообщниками. Что же касается нас с Франсуа, то мы больше думали о своей все растущей семье и старались держаться подальше от политики, не желая подвергаться риску ради безнадежного дела.

В тысяча семьсот девяносто девятом году мы поселились в Ге-де-Лоне, неподалеку от Вибрейе; это случилось вскоре после государственного переворота в Париже, в результате которого Бонапарт был назначен Первым Консулом. В том же году Мишель и Эдме, соединив свои капиталы, полученные в наследство от матушки, взяли в аренду Ружемон в качестве равноправных партнеров.

Этот проект с самого начала был обречен на неудачу, и все мы прекрасно это понимали. Пьер, обосновавшийся в Сен-Кристофе со своим выводком сыновей, который наконец-то пополнился только что родившейся дочерью, получившей имя Пивион-Белль-де-Нюи^[49] – только Пьер мог придумать такое имя, – предупреждал их обоих, что восстановить завод таких размеров и в таком разрушенном состоянии, как Ружемон, невозможно без привлечения достаточно крупных капиталовложений.

Мишель и Эдме не хотели его слушать, как, впрочем, и никого другого. Они мечтали о стеклозаводе, которым рабочие владели бы наравне с предпринимателями, имея равную с ними долю доходов, и они пытались осуществить свою мечту в течение трех лет, и только в

марте тысяча восемьсот второго года вынуждены были от нее отказаться. Подобно всем другим идеалистическим прожектам и до и после них, вроде, например, самой революции с ее идеями равенства и братской любви, эта затея оказалась несостоятельной, как только ее попытались воплотить в жизнь.

– Сам разорился и сестру разорил, – заметил мой муж Франсуа, который теперь был мэром Вибрейе и отцом двух сыновей: Пьера-Франсуа и Альфонса-Киприена, не считая нашей дочери Зоэ. – Мишелю придется теперь служить, найти место управляющего на какой-нибудь небольшой стекловарне, а Эдме либо останется с ним, чтобы вести его хозяйство, либо вернется в Сен-Кристоф и будет жить на своей крошечной ферме. Они поставили на карту все, что у них было, и теперь у них не осталось ни будущего, ни состояния.

Франсуа преуспевал в жизни, в то время как они потерпели поражение. Мы с ним жили в полном довольстве, радуясь на растущих детей, и все-таки было в этой обеспеченности и покое что-то, что порой заставляло меня стыдиться.

Через несколько месяцев после того, как Первый Консул подписал Амьенский мир, положивший конец войне между Францией и Англией, я находилась в нашем саду вместе с детьми, наблюдая за тем, как под окнами гостиной разбивали клумбу. Вдруг ко мне подбежал мой старший сын Пьер-Франсуа вместе с сестрой и сказал, что у калитки стоит какой-то человек и спрашивает мадам Дюваль.

– Что за человек? – спросила я.

На дорогах порой еще встречались бродяги-дезертиры из остатков шуанской армии, а мы жили в некотором отдалении от Вибрейе, и я не любила, когда в отсутствии мужа около дома оказывались чужие люди.

Зоэ, которой было уже девять лет, вмешалась в разговор.

– Сразу видно, что это не нищий, маменька, – сказала она. – Когда он со мной разговаривал, то снял шляпу и поклонился.

Наш садовник находился неподалеку, его всегда можно было кликнуть, и я пошла по дорожке в сопровождении детей.

Незнакомец был высок и худ, платье на нем висело, словно он похудел в результате тяжелой болезни. Покрой костюма выдавал в нем иностранца, так же как и башмаки с квадратными носами. Глаза были скрыты под очками, а слишком яркий оттенок рыжеватых волос

говорил о том, что цвет этот искусственный. Посмотрев на саквояж, стоявший у его ног, я решила, что это бродячий торговец, который будет меня уговаривать купить свой товар.

– Прошу прощения, – сказала я, пытаясь принять строгий вид, чтобы поскорее его спровадить, – но у нас уже есть все необходимое...

– Я очень этому рад, – ответил он, – ибо я не могу вам ничего предложить. У меня в саквояже только чистая рубашка и батюшкин кубок. Я сохранил его в целости.

Он снял очки и протянул ко мне руки.

– Я же говорил, что никогда тебя не забуду, Софи, – сказал он. – Я вернулся домой, к тебе, как и обещал.

Это был мой брат Робер.

Часть четвертая
ЭМИГРАНТ

Глава восемнадцатая

Первый удар, как рассказывал Робер, постиг их примерно через пять месяцев после того, как они приехали в Англию. В первые месяцы все шло хорошо. Его хозяева, владельцы Уайтфрайрской мануфактуры, известной брату по старым временам, когда он занимал должность первого гравировщика по хрусталу на стекольном заводе в Сен-Клу, и к которым он обратился с просьбой предоставить ему место, когда собирался уезжать из Франции в декабре восемьдесят девятого года, встретили его весьма любезно и благожелательно и тут же нашли для него и его жены жилье неподалеку от мануфактуры в Уайтфрайрсе.

Сознание, что он свободен от долгов, от всякой ответственности и начинает во всех отношениях новую жизнь с молодой женой, в которую сильно влюблен, помогало Роберу не обращать внимания на мелкие уколы и неприятности, неизменно выпадающие на долю человека, желающего заново устроить свою жизнь в чужой стране. Язык, обычаи, пища, даже климат, которые, вероятно, обескуражили бы Пьера и Мишеля, более устойчивых в своих привычках, чем старший брат, – все это его только забавляло, он рассматривал их как повод мобилизовать свои способности, свое умение приноровиться к любым обстоятельствам. Он моментально стал пользоваться просторечными выражениями, не обращая ни малейшего внимания на грамматические правила, хлопал по плечу своих товарищей-рабочих, как это делают англичане, пил с ними грог или эль и вообще всем своим видом показывал, что чувствует себя как дома и совершенно не походит на завитых и надушенных французов, какими их изображали карикатуры в английских газетах.

Мари-Франсуаза, вынужденная большую часть времени проводить в одиночестве дома и к тому же делать необходимые покупки, не зная ни слова по-английски, чувствовала себя значительно хуже. Однако молодость, здоровье и откровенное восхищение всем, что делал или говорил ее муж, вскоре привели к тому, что она стала повторять вслед за ним хвалы лондонцам за их добрый нрав и заявляла, что на берегах Темзы она увидела и узнала

больше, чем за все свои двадцать один год в Париже, что было неудивительно, поскольку всю свою жизнь она провела в приюте в Сен-Клу.

Что же касается его работы – Робер работал гравировщиком по хрусталу, – то он скоро понял, что его сотоварищи не могут научить его ничему новому. В то же время он не ощущал и превосходства над ними. Уровень стекольного производства на Уайтфрайрской мануфактуре был чрезвычайно высок. Она была основана еще в тысяча шестьсот восьмидесятом году, и флинтглас, ^[50] изготовленный в ее мастерских, славился по всей Европе. Не было и речи о том, что какой-то француз может чему-нибудь научить английских мастеров. Пожалуй, наоборот, и Робер очень скоро это понял и постарался избавиться от слегка покровительственного тона, который легко мог установиться в эти первые дни дружбы и благожелательства.

Все англичане, как товарищи Робера по работе, так и простые люди, жившие по соседству, проявляли живейший интерес к событиям, происходившим во Франции, – равно как и полное невежество, – и тут Робер чувствовал себя на высоте: как только он достаточно овладел языком, для того чтобы его понимали, он сделался главным авторитетом в этой области.

«Разве можно за несколько месяцев устранить несправедливости, которые совершались в течение столетий», – говорил он, независимо от того, где это было – в дешевом ли ресторанчике на набережной Темзы или в гостиной его квартирной хозяйки.

«Наша феодальная система так же устарела и не годится для современной жизни, как ваши замки с подъемными мостами, если бы вам вздумалось их возродить. Дайте нам время, и мы совершим великие дела. Если, конечно, король будет согласовывать свои действия с настроением народа. Если же нет... – Тут, как он мне говорил, он всегда делал многозначительную паузу. – Если же нет, тогда, возможно, нам придется его заменить, подыскав среди принцев более способного и популярного претендента».

Брат, разумеется, имел в виду своего патрона герцога Орлеанского, чей отъезд в Англию в октябре минувшего года в значительной степени повлиял на решение Робера попытать счастья по другую сторону Ла-Манша.

Вскоре, однако, он обнаружил, что Чапель-стрит это совсем не то, что Пале-Рояль. Аркады последнего были для моего брата родным домом, там он вершил все свои дела – мог свободно приходить и уходить, болтать и сплетничать с секретарями, писцами, личными адъютантами – словом, со всей мелкой сошкой из антуража герцога, которые постоянно там крутились. В Пале-Рояле одного словечка, сказанного на ушко нужному человеку, одного намека, сделанного в подходящий момент, было достаточно, чтобы добиться желаемого результата. Сознание, что он соприкасается с тем обществом, которое окружает самого популярного в Париже человека, придавало Роберу вес в собственных глазах.

В Лондоне ничего подобного не было. Лакло, капитан Кларк, камердинер, еще два-три человека, включая, разумеется, любовницу герцога мадам де Бюффон, – вот и весь штат, который он привез с собой в Лондон. Вся прислуга в меблированном доме на Чапель-стрит была английская. Посетителя встречали на пороге внушительные лакеи, окидывая его безразличным взглядом. Ничего похожего на непринужденную атмосферу Пале-Рояля, где каждый мог свободно войти и выйти, и единственное, что было дозволено Роберу, когда он в первый раз явился на Чапель-стрит, это оставить свою карточку лакею – дальше дверей его не допустили.

Он зашел снова – с тем же успехом. На третий раз он написал личное письмо Лакло и только через неделю получил лаконичный ответ, в котором говорилось, что если герцогу Орлеанскому или его свите во время краткого пребывания его светлости в Англии понадобятся какие-нибудь услуги личного характера, господин Бюссон будет уведомлен.

Роберу ясно дали понять, что в нем не нуждаются, однако это его не обескуражило. Он сделался завсегдатаем пивных, расположенных в непосредственной близости от Чапель-стрит, в надежде повстречать там кого-нибудь из челяди герцога – камердинера или цирюльника, все равно кого, – кто мог бы дать ему какие-нибудь сведения касательно намерений герцога Орлеанского. Ему удалось разузнать, что его патрон осторожно зондирует почву, желая выяснить позицию членов Кабинета на тот случай, если герцогу будет предложена корона Бельгии. Брат был уверен, что это не просто слухи. Как всегда полный

оптимизма, он вернулся домой к Мари-Франсуазе и стал говорить о том, что им, возможно, придется переехать из Лондона в Брюссель.

«Если герцог Орлеанский станет Филиппом Первым, королем Бельгии, – говорил Робер своей молодой жене, – ему понадобится очень большая свита. Нет никакого сомнения, что и я получу какую-нибудь должность».

«Но разве ты можешь так внезапно оставить свое место на Уайтфрайрской мануфактуре? – спросила она. – Разве ты не подписал контракт, по которому должен у них работать в течение какого-то срока?»

От этого возражения муж просто отмахнулся.

«Если я захочу, то завтра же могу оттуда уйти, – сказал он. – Я согласился у них работать только для того, чтобы некоторое время перебиться. Как только я понадобится герцогу Орлеанскому, он сразу же за мной придет, и если потребуется ехать в Брюссель, мы туда поедем. При новом монархе всегда открываются великолепные возможности, и я уверен, что наше будущее будет обеспечено».

Ожиданиям герцога Орлеанского, а вместе с тем и надеждам моего брата не суждено было осуществиться. Неприятности в Нидерландах оказались недолговечными, и в конце февраля австрийцы снова заняли Брюссель.

Робер еще раз оставил свою карточку на Чапель-стрит, и опять ему сказали, что его патрон уехал на скачки. Потеря возможной короны, по-видимому, не помешала привычным занятиям герцога Орлеанского. Настоящий удар последовал восьмого июля тысяча семьсот девяностого года, когда герцог вдруг решил оставить Лондон и вернуться в Париж – столь же неожиданно, как в прошлом году, когда он уехал из Парижа в Лондон. Его девятимесячное пребывание в Англии не дало никаких политических результатов – между двумя странами все осталось как было; оно ничего не дало герцогу и в личном плане, если не считать того, что он без конца развлекался и продал несколько скаковых лошадей. Мой брат не имел ни малейшего понятия о намерении герцога вернуться в Париж, пока не прочел об этом в лондонской газете.

Он сразу же бросился на Чапель-стрит и застал там обычную после отъезда картину: мебель покрывают чехлами, а челядь, еще не

получившая расчета, убирает оставшуюся после упаковки солому и ругает сквозь зубы господина и госпожу, своих бывших хозяев.

Нет, ответили ему, никаких разговоров о возвращении не было. Герцог Орлеанский уехал из Лондона навсегда.

Этот внезапный отъезд оказал решающее влияние на моего брата. Он наконец понял, теперь уже окончательно, что ни герцог Орлеанский, ни его сподвижники не имеют никакого влияния вне пределов Франции; что же касается самой Франции, то перспективы герцога в смысле назначения его регентом или же получения какого-либо достаточно высокого поста в Национальном Собрании также весьма проблематичны. Характеру герцога недоставало огня и энергии. Он не мог стать настоящим вождем французского народа. Не так он «скроен», говорили про него англичане.

Поклонение герцогу, граничащее с идолопоклонством, обратилось у Робера в презрение. Любезность и щедрость, столь превозносимые прежде, теперь не ставились ни в грош. Герцог Орлеанский – ничтожный человек, который окружил себя карьеристами и льстецами, в то время как людей, на которых действительно можно положиться, – в их число, естественно, входил и он сам – герцог оскорбляет и отталкивает.

Робер, признавший себя банкротом, – ему грозило тюремное заключение, если бы он вдруг появился в Париже, – не мог вернуться во Францию. Он должен был стараться самостоятельно добиться определенного положения в Лондоне, продолжая работать гравировщиком у своих хозяев на Уайтфрайрской мануфактуре.

А время шло, и его жена ожидала ребенка. Лондон уже не казался им столь многообещающим городом. Если его английские сотоварищи могли рассчитывать на повышение, то Робер, как иностранец, должен быть благодарен за то, что его хотя бы держат на работе.

Первенец от второго брака, которого называли Робером, родился в конце весны тысяча семьсот девяносто первого года, незадолго до того, как Людовик XVI вместе с Марией-Антуанеттой бежали в Варенн, к величайшему изумлению и возмущению всей Франции. В Англии, как рассказывал Робер, их побег тоже произвел большое впечатление, только по другой причине. Симпатии англичан были на стороне французского монарха и королевы, которые вынуждены искать спасения за границами своей страны. И когда беглецов

схватили, во всем Лондоне не было ни единого человека, который не пел бы хвалы королевской семье за их смирение и достоинство и не поносил бы Собрание.

– Было просто невозможно, – говорил Робер, – относиться к этому событию иначе, чем к нему относились в Лондоне. Сообщение о побеге печаталось во всех газетах. В пивных, на работе, на улицах говорили только об этом, и люди, зная, откуда я приехал, обвиняли всех французов в том, что они обращаются со своим королем, как с обыкновенным преступником. Я понятия не имел о том, что происходит в стране на самом деле. Как я мог не соглашаться с ними? Я пытался объяснить, что в Национальном Собрании все дела вершат горячие головы и безответственные политики, которые заботятся исключительно о своей выгоде, на что кокни^[51] отвечали мне: «Очень плохо, что французы позволяют собой распоряжаться, идут на поводу у таких людей. У нас никогда бы этого не допустили. В Англии достаточно здравого смысла, а французы просто истерическая нация». Таково было отношение англичан к событиям во Франции.

Почти сразу после бегства короля в Варенн в Англию хлынула толпа эмигрантов; все они рассказывали одно и то же: конфискация имущества, захваченные замки, преследование аристократии, духовенства и вообще всех, кто занимал сколько-нибудь видное положение при старом режиме. Англичане, всегда готовые слушать обо всем, что наносит ущерб достоинству их давнего врага по ту сторону Ла-Манша, еще преувеличивали каждую такую историю – все это вместе, объединяясь, превращалось в обвинительный акт революции, которая, как было видно, сотрясала всю Францию.

– Ты должна понять, – говорил Робер, – что уже в девяносто первом году эмигранты говорили о всеобщем разорении и отчаянии. По их словам, жить стало невозможно не только в Париже, но и во всей стране. Нет ни еды, ни порядка, ни закона; страну наводнили фальшивые деньги, для того чтобы скрыть экономическую разруху; в каждой деревне крестьяне жгут дома.

В то время как ты спокойно рожала свою дочь в Шен-Бидо – ту, которая потом умерла, – а Мишель и Франсуа покупали церковные земли, закладывая основы будущего богатства, я считал, что нашу стекловарню давно сожгли, а вы все находитесь в тюрьме. Вся моя

страна и вы в том числе находитесь в руках бандитов – вот такими мы видели все события из Лондона.

Первые эмигранты, которые прибыли в Лондон в течение лета и осени девяносто первого года, были в основном представителями старой аристократии, они не могли или не хотели приспособиться к новому режиму. Под свежим впечатлением от оскорбления, нанесенного ему кликой герцога Орлеанского, и самим Лакло в том числе, мой брат поспешил подружиться с врагами своего бывшего патрона – с теми, кто был близок ко двору, предан королю и королеве, а также братьям короля: графу Прованскому и графу д'Артуа. Как эмигрант с двухлетним стажем, Робер имел известные преимущества по сравнению с новоприбывшими. Он умел разговаривать по-английски, знал местные обычаи и особенности местной жизни, и поэтому ему частенько приходилось выступать в качестве посредника между своими растерянными компатриотами с одной стороны и насмешниками-кокни с другой. Выполнить чье-нибудь поручение, осмотреть меблировку в нанимаемом доме или в квартире, помочь что-то купить подешевле – тут Робер чувствовал себя в своей стихии. Маркизы, графини и герцогини, измученные долгим путешествием сначала по Бретани, а потом по морю через Ла-Манш, были бесконечно рады и счастливы найти соотечественника, который мог им помочь и успокоить после всех треволнений. Его сочувствие, шарм и прекрасные манеры помогали им перенести тяжелое испытание – переезд, переселение в чужую страну. Иногда, когда вновь прибывшие благополучно устраивались на новом месте, его услуги вознаграждались небольшой компенсацией; в дальнейшем же, как они надеялись, об этом, возможно, позаботятся в посольстве. Что же касается личных договоренностей по поводу причитающегося ему процента при сделках с разными лондонскими торговцами или агентами по найму дома или квартир, то эти дела вообще не должны были касаться новых эмигрантов.

Вскоре стало очевидным, что сочетать работу гравировщика на Уайтфрайрской мануфактуре с его новым статусом доверенного лица при бывшей элите парижского общества – дело трудное, если не сказать невозможное. Робер, руководствуясь своим инстинктом игрока, решил расторгнуть контракт с Уайтфрайрской мануфактурой и окончательно связать свою судьбу с эмигрантами, или, как он

выразился в разговоре со своими нанимателями, «моими несчастными соотечественниками». Это предприятие, как и все остальные начинания Робера, оказалось ошибкой, о которой впоследствии он горько сожалел.

– Я поставил на эту карту, – говорил он, – рассчитывая, что мне повезет, и мне действительно везло, но только до того времени, пока у эмигрантов не кончились привезенные с собой ресурсы. Когда же они обнаружили, что им придется прожить в Лондоне не полгода-год, как они рассчитывали, – в течение этого времени с ними носились и всячески их ублажали, считая героями и героинями, – а неизвестно сколько; что у них нет никакой надежды на возвращение домой и они вынуждены принимать милостыню от англичан, счастье отвернулось от них, и от меня тоже. Откуда я мог знать в девяносто первом году, что в девяносто третьем на смену Национальному Собранию в Париже придет Конвент, что королю будет вынесен смертный приговор и что союзники, на которых мы в Англии возлагали все свои надежды, потерпят поражение от народной армии, над которой все так долго смеялись.

Эмигранты, в том числе и мой брат, которые каждый день ждали триумфального вторжения армии союзников, надеялись, что герцог Брауншвейгский возьмет Париж и за этим последует свержение Конвента, возвращение Людовика и массовые расправы с революционными вождями, к ужасу своему обнаружили, что ни одна из их надежд не сбывается. Республика, теснимая со всех сторон, стояла твердо. Король отправился на гильотину. Любого эмигранта, который осмелился бы показаться во Франции, ожидала та же судьба, как изменника и предателя своей страны, и если эмигранты не пожелают присоединиться к другим роялистам в армии принца Конде, они должны смириться со своим статусом беженцев в стране, которая с весны девяносто третьего года находилась в состоянии войны с их собственной страной.

– Медовый месяц кончился, – говорил Робер. – Не мой, конечно, мой кончился уже в первый год, – кончился медовый месяц между французскими эмигрантами и англичанами. Мы не только казнили своего короля – а нас обвиняли в этом, словно мы сами голосовали за его смерть в Конвенте, – мы принадлежали к стану врагов. И любой из нас мог оказаться шпионом. Милости, щедрость, любезность,

гостеприимство – все это прекратилось в тот самый момент, как была объявлена война. Мы больше не принадлежали к светскому обществу, если не считать настоящей знати, имевшей доступ в высший лондонский свет. Все остальные были просто беженцы, у которых не осталось ни денег, ни надежды найти себе какое-нибудь занятие: они были обязаны отчитываться в своих действиях, когда от них этого требовали, и вообще на них смотрели как на досадную помеху.

Владельцы Уайтфрайрской мануфактуры выразили сожаление по поводу того, что не могут больше его нанять, поскольку гравировщиков у них более чем достаточно, так что его место уже давно занято. И вообще времена изменились, французские мастера больше не пользуются популярностью в Англии.

– Я исходил немало улиц в поисках работы, так же как и многие из нас, – признался Робер. – Мне помогало знание английского языка, и через несколько недель поисков я нашел место упаковщика на складе стеклянной и фарфоровой посуды в Лонг-Эйкр – когда у меня была своя лаборатория на улице Траверсьер, я поручал такого рода работу грузчикам. По вечерам я преподавал английский язык в Сомерстоне, в приходе Панкрас, в школе, основанной священником-эмигрантом аббатом Карроном. Нам пришлось не раз менять квартиру, и теперь мы жили в доме номер двадцать четыре по Клевленд-стрит вместе с другими эмигрантами. В этом приходе жило множество французских семей, и жить там было все равно что в Бон-Нузеле или Пуассоньере. У нас там были свои школы и даже своя собственная часовня на Конвей-стрит, недалеко от Фицрой-Сквер.

Мари-Франсуаза, несмотря на отсутствие образования – она до сих пор не умела подписать свое собственное имя, – приспособилась к изменившемуся положению так же мужественно, как это сделала бы Кэти, возможно даже с большей легкостью, поскольку воспитание, которое она получила в приюте, приучило ее переносить лишения.

– Она постоянно напоминала мне Кэти, – признался Робер, – и не только внешне, а и своими повадками. Ты не поверишь, Софи, но мне порой казалось, что я снова вернулся в прошлое, что Клевленд-стрит превратилась в Сен-Клу, где мы жили с Кэти. В девяносто третьем году, когда родился наш второй сын, мы назвали его Жаком. Фантазия сделалась еще более реальной.

Он никогда не говорил Мари-Франсуазе ни о ее предшественнице, ни о другом Жаке, теперь уже двенадцатилетнем мальчишке, который жил у своей бабушки в Сен-Кристофе. Сначала, когда Робер назвался холостяком, это было сделано как бы в шутку, однако потом невинная ложь превратилась в серьезный обман, вокруг которого громоздилась все новая ложь, она сплеталась в такую плотную сеть, что ее уже невозможно было распутать.

– Я и сам начинал верить в то, что сочиняю, – говорил мне Робер, – и эти фантазии служили нам утешением в трудные минуты. Замок между Ле-Маном и Анжером, который я должен был унаследовать и который принадлежал ненавидевшему меня старшему брату, стал для меня реальностью, так же как и для нее, а потом и для подрастающих детей, словно он и на самом деле существовал. Это было нечто среднее между Шериньи и Ла-Пьером, где я провел самые счастливые годы своей жизни, и, конечно же, рядом находилась стекловарня, иначе я не мог бы объяснить свою профессию гравировщика.

По мере того как волна эмиграции набирала силу, когда наряду с аристократией на английские берега в поисках спасения устремились богатые коммерсанты, промышленники и состоятельные буржуа, фантазии моего брата окончательно оформились. В Панкресе, где они жили, – этот приход получил в то время название «Маленький Париж» – брату, который был одним из первых эмигрантов, было необходимо поддерживать свою репутацию стойкого приверженца свергнутого короля, а впоследствии графа Прованского, которого эмигранты называли Людовиком XVII. Что же до его бывшего патрона, герцога Орлеанского, который занял свое место в Конвенте, самовольно приняв при этом имя Филиппа Эгалите, и присоединил свой голос к тем депутатам, которые голосовали за вынесение смертного приговора его кузену, то не было в Панкресе человека, который вызывал бы большую ненависть. Робер внушил своей жене, что она никогда не должна говорить о его прежних связях с герцогом и его антуражем в Пале-Рояле.

«И вообще, – сказал он ей, – у меня не было никаких особых дел с этим обществом. Я соприкасался только с самым его краешком. Их политика с самого начала казалась мне подозрительной».

Это был поворот на сто восемьдесят градусов, который удивил, должно быть, даже Мари-Франсуазу, и для того чтобы смягчить впечатление, муж с еще большим жаром стал распространяться на тему о своем прошлом, расписывая красоты родного гнезда и царившие в нем мир и покой, которых он лишился из-за враждебного отношения мифического брата.

Ему крупно повезло, что среди эмигрантов, бежавших в Англию, не нашлось ни одного человека, который был бы знаком с господином Бюссоном л'Эне, банкротом из Вильнёв-Сен-Жорж, узником тюрьмы Ла-Форс, сидевшим там за долги и мошенничество. Однако при существующих обстоятельствах имя Бюссон л'Эне не очень-то подходило для человека, который объявил о своей принадлежности к аристократии, и Робер по примеру своих настоящих братьев Пьера и Мишеля, которые уже давно добавили к своей фамилии «дю Шарме» и «Шалуар», чтобы их не путали друг с другом, решил, что для поднятия своего престижа как в глазах эмигрантов, так и среди англичан он должен сделать то же самое.

Робер решил добавить к своему имени название места своего рождения – это была небольшая ферма Морье, и вот в конце девяносто третьего года, переезжая на Клевленд-стрит, он подписал свое имя следующим образом: Бюссон Дю Морье. Его жена, равно как и соседи, решили, что «Морье» это замок. Шли страшные месяцы, до Англии стали доноситься слухи о «робеспьеровском терроре». Рассказывались всякие ужасы о тысячах невинных, отправленных на эшафот не только в Париже, но и в провинции, и вот мой братец решил воспользоваться моментом для подкрепления своих фантазий и в один прекрасный день объявил своей жене, а также всем знакомым эмигрантам, что его замок подвергся нападению огромной толпы крестьян, которые перебили всех, кто там находился, а сам замок сожгли и сровняли с землей. Слушатели только ахали и ужасались.

– Я вынужден был это сделать, – сказал мне Робер. – Этот замок стал вызывать серьезные затруднения, даже опасность. Я не знал, что существует настоящий замок Морье в приходе Ла-Фонтен-Сен-Мартен, расположенный неподалеку от Ла-Флеша и принадлежавший семейству д'Орво. В Лондоне появился один из представителей этого семейства – впоследствии он присоединился к армии принца Конде в Кобленце – и, услышав мою фамилию, явился, чтобы посчитаться

родством. Мне стоило больших трудов от него отделаться. Он ведь мог меня выдать. К счастью, мы принадлежали к разным кругам, и вскоре я узнал, что он уехал из Англии.

Миф о принадлежности к старой аристократии, сказки о сгоревшем замке – все эти выдумки, возможно, тешили самолюбие моего брата в первые военные годы, когда эмигранты в Панкресе считали, что их изгнание продлится всего несколько месяцев. Но по мере того как прошел год, за ним еще один, французы одерживали одну победу за другой и не было никаких признаков окончания военных действий, положение беженцев в Лондоне становилось все хуже и хуже и наконец сделалось по-настоящему серьезным.

– В девяносто пятом году у нас родилась дочь Луиза, – рассказывал Робер, – а в ноябре девяносто седьмого – еще один сын, Луи-Матюрен. Таким образом, нужно было кормить четверых детей, то есть семью из шести человек, точнее, даже из семи, поскольку Мари-Франсуаза вынуждена была взять служанку, которая помогала ей ухаживать за детьми. Мы занимали весь второй этаж в нашем доме, и старики Дюманты, жившие на первом, постоянно жаловались на шумные игры наших детей. Я с самого утра уходил на работу в Лонг-Эйкр на свой склад и отсутствовал целый день – я тебе уже говорил, что по вечерам я работал в школе аббата Каррона. И все-таки мне не удавалось заработать достаточно, чтобы всем нам прокормиться и платить за квартиру. Пришлось обратиться за пособием. Был такой фонд, организованный английским министерством финансов совместно с французскими представителями. Я получал семь фунтов в месяц начиная с сентября девяносто седьмого года, это было как раз за два месяца до рождения Луи-Матюрена. Однако и этого не хватало, и временами я просто приходил в отчаяние.

Брат имел известное преимущество по сравнению с другими эмигрантами – в том смысле, что он родился в семье ремесленников и с пятнадцати лет работал на стекловарне. В своей работе старшим упаковщиком на складе в Лонг-Эйкре Робер, конечно, не мог использовать все свои способности и умения, однако все-таки понимал, с чем имеет дело. Другим повезло еще меньше. Графы и графини, которым до этого никогда в жизни не приходилось работать, были счастливы, если им удавалось заработать несколько шиллингов в качестве портных или модисток. Одним из наиболее популярных

«ремесел» в Панкресе и Холборне было изготовление соломенных шляпок. Этим занимались многие эмигранты, если находили среди лондонцев клиентов, готовых купить их товар.

– Стало обычным делом ходить по улицам от Оксфорд-стрит до Холборна в поисках дешевой соломы. Повсюду в этих местах можно было встретить маркиза такого-то или барона такого-то с охапкой соломы под мышкой, которую он нес домой жене, а у нее уже были приготовлены ленты и цветы, сделанные из бархата, для того чтобы украсить готовую шляпку, после того как муж сплетет ее из соломы.

Мари-Франсуаза не умела делать шляп. Ее таланты лежали в области стирки белья – этому ее научили в Сен-Клу. Неподалеку от нас, за углом, на Фитцрой-Сквер, жила одна старая дева по имени мисс Блэк – она была крестной матерью нашего Луи-Матюрена, – так вот, все ее роскошное белье стиралось, гладилось и чинилось у нас, на Клевленд-стрит. Мари-Франсуаза делала всю работу сама, а потом белье относил в корзине наша служанка: не к лицу было мадам Бюссон-Матюрен носить по улицам выстиранное белье. Самое скверное было то, что, когда мне пришлось уехать и отсутствовать в течение семи месяцев, с июля по февраль девяносто девятого года, жена была вынуждена просить друзей получать за нее пособие, поскольку сама ничего не понимала в деньгах и до сих пор не умела подписать свое имя. Это еще усугубляло ее тяжелое положение.

Когда Робер подошел в своем повествовании к этому времени, его рассказ сделался несколько неопределенным. Он намекал на «какие-то другие дела», которыми занимался во время своего многомесячного отсутствия, но на вопросы отвечал весьма уклончиво. Нет, из Англии он не уезжал, он по-прежнему оставался в Лондоне, но жил по другому адресу. Это не имело никакого отношения к войне или к шпионажу и никак не было связано с эмигрантами. Я не стала его спрашивать, надеясь, что в свое время он сам мне все расскажет. Только через несколько дней, когда брат однажды вечером показал моей дочери Зоз и мальчикам фамильный кубок, после чего я убрала драгоценную реликвию обратно в шкафчик, я узнала правду.

– Так вот, по поводу тех семи месяцев, что меня не было на Клевленд-стрит, – рассказывал он, – мое отсутствие было связано с этим самым кубком.

Брат помолчал, глядя мне в глаза.

– Ты сделал с него копию? – предположила я. – Или сам стал делать такие же, и для этого тебе пришлось наняться на какой-нибудь стеклозавод в другой части Лондона?

Робер покачал головой.

– Не так все просто, – сказал он. – Дело в том, что у меня было отчаянное положение с деньгами, и я продал бокал Джорджу Картеру, хозяину склада на Лонг-Эйкре, где я работал, и в тот же момент пожалел о том, что сделал. Однако выкупить его назад не было никакой возможности, поскольку деньги были тут же истрачены на еду, квартиру и всякие необходимые вещи для детей. Оставалось только одно, и так как ключи от склада всегда были у меня в кармане, то сделать это не составляло никакого труда. Мне было известно, где находится кубок, – его уже упаковали, подготовив к отправке на север, в какую-то фирму в Стаффордшире, – и вечером я вернулся на Лонг-Эйкр, открыл запертую дверь и проник на склад. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы достать бокал, снова заколотить ящик, словно ничего не случилось, и спокойно выйти. К сожалению, я неправильно рассчитал время ночного обхода помещения. Я думал, что сторож выходит на работу в одиннадцать, а он пришел в десять тридцать, и, выходя из склада, я столкнулся с ним лицом к лицу.

«Что-нибудь случилось?» – спросил он меня.

«Нет, нет, все в порядке, – уверил я. – Просто мне нужно было кое-что сделать для мистера Картера».

Со сторожем мы были знакомы, и он поверил моим объяснениям, но, когда на следующее утро я пришел на склад, меня вызвали к самому Джорджу Картеру, а у него в кабинете на полу стоял пустой ящик.

«Это ваших рук дело, не так ли?» – спросил он. Отпираться было бессмысленно: кубка в ящике не было, а ночной сторож меня видел.

«Вам будет предъявлено обвинение в правонарушении и краже, – сказал хозяин. – Здесь у меня находится человек от шерифа, он задержит вас, если вы попытаетесь скрыться. Вы должны либо вернуть бокал, либо уплатить мне сто тридцать пять фунтов, которые за него получили».

Я сказал, что оставлю бокал у себя, а деньги верну, как только смогу занять у кого-нибудь из своих друзей.

«У друзей! – воскликнул он. – У каких друзей? У этих жалких эмигрантов вроде вас, которых кормят, поят и одевают исключительно из милости, благодаря английскому правительству. Признаться, я не испытываю особого уважения к этим вашим друзьям, мсье Бюссон-Морье. Если вы не представите сегодня же либо бокал, либо деньги, составляющие его стоимость, вы будете заключены под стражу и предстанете перед судом. Что же касается вашей жены и детей, пусть о них позаботятся ваши так называемые друзья».

Денег я достать, конечно, не мог, о том же, чтобы возвратить бокал, не могло быть и речи. Невозможно было достать даже сумму, необходимую для того, чтобы быть отпущенным под залог, поскольку никто из нас не мог бы наскрести больше двадцати фунтов. Самая неприятная часть этой истории заключалась в том, что надо было вернуться на Клевленд-стрит и сообщить о происшедшем Мари-Франсуазе.

«Почему ты не хочешь вернуть назад этот бокал? – спросила моя жена, которая не могла понять, что для меня это невозможно, что я предпочитаю арест и обвинение в краже. – Робер, ты должен это сделать ради меня и детей».

Я не соглашался. Называй это как хочешь – гордостью, сентиментами, проклятым упрямством, – но у меня перед глазами стояло лицо отца, когда он передавал мне этот кубок. Богу известно, сколько раз с тех пор я доставлял ему огорчения, сколько раз он испытывал разочарование при мысли обо мне. Я подумал о тебе, о Пьере и Мишеле, вспомнил матушку и мою дорогую Кэти и понял: что бы со мной ни случилось, я не могу, не имею права расстаться с этим бокалом.

Робер посмотрел на кубок, который нашел наконец надежное пристанище в шкафчике в Ге-де-Лоне.

– Ты знаешь, отец был прав, – сказал он. – Я дурно распорядился своим талантом, и бокал не принес мне счастья. Пытаясь его продать, я нанес последнее и окончательное оскорбление памяти отца и этому великолепному произведению искусства. У меня было достаточно времени, чтобы это осознать, – целых семь месяцев в тюрьме.

Он улыбнулся, и, несмотря на морщины и очки, несмотря на крашенные волосы, в этой улыбке промелькнуло что-то от прежнего Робера.

– Меня должны были отправить на каторгу – рассказывал он, – но тут вмешался аббат Каррон. Только благодаря ему срок моего заключения был сокращен до семи месяцев, и наконец в феврале девяносто девятого года ему удалось собрать денег, для того чтобы уплатить мой долг, и тогда меня освободили. Это произошло в то время, когда ваш генерал Бонапарт одерживал свои победы над турками, а вы все ему аплодировали. Зимой на Клевленд-стрит было достаточно скверно – дети болели коклюшем, Мари-Франсуаза, снова ожидавшая ребенка, была постоянно занята стиркой белья для мисс Блэк с Фитцрой-Сквер. Однако камера в долговой тюрьме – шесть футов на четыре – была еще хуже, тем более что виной всех моих несчастий были моя собственная глупость и гордость.

Брат огляделся вокруг, увидев знакомую мебель, которую он помнил по Антиньеру и Шен-Бидо.

– Сначала Ла-Форс в Париже, – сказал он, – потом Королевская тюрьма в Лондоне. Я сделался специалистом по тюрьмам по обе стороны Ла-Манша. Это совсем не то, что хотелось бы передать в наследство своим детям. К счастью, они не узнают. Об этом позаботится Мари-Франсуаза. Когда я вернулся на Клевленд-стрит, мы им сказали, что я уезжал по делам в провинцию, а они были еще слишком малы, чтобы спрашивать. Она их воспитает с мыслью о том, что их отец был справедливым и добропорядочным человеком, верным роялистом и вообще воплощением честности и благородства. Она сама в этом уверена и вряд ли станет говорить детям что-либо другое.

Робер снова улыбнулся, словно этот новый образ, который он нарисовал, был отличной шуткой; он был ничуть не хуже прежнего – обедневшего и разоренного революцией аристократа.

– Ты говоришь так, словно Мари-Франсуаза вдова, а тебя уже нет на свете, – заметила я.

Несколько мгновений брат смотрел на меня, потом снял очки и старательно протер стекла.

– Она и есть вдова, Софи, – сказал он, – официально я умер. На пароходе, когда мы плыли через Ла-Манш, рядом со мной ехал один больной человек. Он умер, прежде чем мы прибыли в Гавр, умер с моими документами в кармане. Власти пошлют об этом сообщение в наш комитет в Лондоне, а те известят Мари-Франсуазу. Аббат Каррон

и его помощники сделают для несчастной вдовы с шестью детьми, которых нужно вырастить и воспитать, гораздо больше, чем мог бы сделать я. Как ты не понимаешь, Софи, что это был единственный выход? Назовем это так: моя последняя авантюра.

Глава девятнадцатая

Я была единственным человеком, которому Робер доверил свою тайну, и я ничего не сказала даже мужу. Франсуа, так же как и все остальные, считал, что Робер вдовец, что его жена умерла родами, как и Кэти, в первый же год их пребывания в Лондоне. Достаточно того, что он эмигрировал, потеряв таким образом право на почет и уважение. Но если бы они узнали, что Робер сидел в долговой тюрьме, что он бросил жену с шестью маленькими детьми на милость чужих людей, – с этим, как я прекрасно знала, мой муж примириться не мог бы, так же как и оба брата.

То, что Робер подменил документы и под его фамилией похоронили другого человека, – уголовное преступление, я была в этом совершенно уверена, и если бы все открылось, ему бы снова грозила тюрьма, на этот раз на многие годы. Я была возмущена поступком Робера, но в то же время у меня не хватало мужества его осудить. Изборозженное морщинами лицо, мешки под глазами, дрожь в руках, полная неспособность что бы то ни было делать, которая наступила у него в результате пребывания в тюрьме, показали мне, через что ему пришлось пройти.

Больше всего мне было его жаль, когда я смотрела на его крашенные волосы, – ему хотелось выглядеть молодым, но из этого ничего не получалось. Глядя на этого сломленного человека, я вспоминала всеми любимого милого мальчика, матушкиного первенца. Я не могла его предать, хотя бы во имя ее памяти.

– Что ты собираешься делать? – спросила я у Робера, когда он пробыл у нас около недели, кроме нас с Франсуа, никто еще не знал о его приезде. – Были у тебя какие-нибудь планы, когда ты уезжал из Лондона?

– Никаких, – признался он. – Только огромное желание уехать из Англии и вернуться домой. Ты не знаешь, что такое тоска по родине, Софи. Я раньше тоже этого не знал. Поначалу жизнь в Лондоне казалась мне такой интересной – нечто вроде увлекательного приключения, – совсем как в первые годы в Париже, когда мы жили там с Кэти. Но когда началась война и все от нас отвернулось, а

особенно после этих ужасных месяцев в тюрьме, я стал страшно тосковать по своей родной стране – я имею в виду не Париж, а вот эти самые места.

Мы с ним сидели в саду. Стояло лето, деревья были покрыты листвой; накануне ночью прошел дождь, от земли шел приятный запах; на лепестках роз в моем цветнике и на траве по краям дорожки сверкали дождевые капли.

– Глядя сквозь решетку Королевской тюрьмы на серое закопченное лондонское небо, – говорил он, – я воображал, что я снова в Ла-Пьере, что вернулось детство. Помнишь тот день, когда я был посвящен в мастера и мы шли в процессии от стекловарни до дома, а матушка была в парчовом платье и пудреном парике? Это был самый счастливый, самый гордый момент в моей жизни, этот и еще тот, когда она приехала к нам в Ружемон. Куда все это ушло, Софи? Куда ушло то время и мы сами, молодые и счастливые? Неужели все это исчезает безвозвратно?

– Нет, – ответила я. – Эти картины остаются с нами, они проходят, словно призраки, через всю нашу жизнь. Меня они часто навещают – я вижу себя в передничке поверх накрахмаленного платья, и мы с Эдме бегаем друг за другом по лестницам в Ла-Пьере.

– Или в лесу, – подхватил Робер. – Больше всего я тосковал по лесу. И еще мне все время чудился запах горящих угольев в стекловарне.

Когда Робера выпустили из тюрьмы, никто не хотел брать его на работу. Впрочем, он не мог винить за это лондонцев. С какой стати будут они нанимать чужестранца, врага, да к тому же еще и вора, отсидевшего в тюрьме? Аббат Каррон приставил его следить за библиотечными книгами в школе, и этот небольшой заработок плюс пособие от министерства финансов помогало Роберу и его семье держаться на плаву, не впадая в окончательную нищету. Следующий ребенок, девочка, родился, когда Робер был в тюрьме. Он дал ей имя Аделаида, это было второе имя Кэти. А через полтора года родился мальчик Гийом.

– Я старался воспитывать детей французами, – рассказывал мне брат. – Однако, несмотря на то что мы жили практически во французской колонии, из них получилось нечто среднее: Робер превратился в Бобби, Жак сделался Джемсом, Луи-Матюрену с

самого начала, чуть ли не с четырех лет, нравилось произносить свое имя как «Льюис».

А Мари-Франсуаза, утратив свою красоту и свои надежды на то, что я когда-нибудь добьюсь успеха, стала искать утешение в религии. Ее постоянно можно было видеть на коленях – и дома, и в маленькой французской часовне за углом на Конвей-стрит. Ей непременно нужно было на что-то опереться, а на меня она рассчитывать не могла.

Робер уже не мог вернуть себе свое прежнее положение в глазах сотоварищей-эмигрантов. Его жалели, но в то же время и презирали. К человеку, который жил за счет благотворительности иностранцев, а потом докатился до воровства, уже нельзя было относиться с прежним уважением и доверием. Единственным утешением брата было то, что аббат Каррон сохранил к нему прежнее отношение и не презирал его.

– Если Мари-Франсуаза и дети смирились со своей судьбой, привыкли к мысли, что будущее не сулит им ничего радостного, – говорил Робер, – то сам я все больше тосковал по Франции, по дому. Я начал с презрением относиться к нашим беглецам-принцам: к графу д'Артуа, державшему свой жалкий двор в Эдинбурге, и нашему королю, который жил в Польше. Я втайне радовался победам Бонапарта – это был вождь, столь нам необходимый. Страна, которую я считал погибшей, когда уезжал в Лондон, становилась теперь самой сильной в Европе и внушала страх всем остальным. Если бы я был помоложе и у меня хватило бы мужества, я бы непременно нашел способ переправиться на континент и пойти за ним.

Как только был подписан Амьенский договор и объявлена амнистия эмигрантам, брат решил возвратиться домой. В то время у него не было мысли о том, чтобы бросить жену и детей. Он собирался отыскать меня, посоветоваться с Пьером и Мишелем и попытаться найти себе какое-нибудь занятие, а потом вернуться в Англию за семьей.

– Даже тогда, когда я с ними прощался в нашей тесной квартирке на Клевленд-стрит, – рассказывал Робер, – я снова вернулся к прежним фантазиям – вспоминал сожженный замок, бывшее великолепие, утраченное навек. «Мы все это восстановим, – уверял я их, – на месте старого Ле-Морье. А в парке снова построим стекловарню, на которой ты, Бобби, и ты, Джемс, и ты, Луи-Матюрен, будете работать». Я чуть ли не сам верил тому, что говорю, и хотя я

прекрасно знал, что все это неправда, была какая-то надежда, что со временем мне, может быть, удастся что-нибудь придумать, что у них будет наконец дом, и этот мой обман будет каким-то образом компенсирован.

«Мы увидимся, – обещал я им, – через полгода, а может быть, и раньше. Сразу, как только я устрою наши дела там, во Франции». И да простит меня Бог, когда я вышел из этой квартиры на Клевленд-стрит и сел в дилижанс, чтобы ехать в Саутхэмптон, бремя забот и прожитых лет словно упало с моих плеч. Стоило мне вдохнуть воздух Ла-Манша, как лица моих домашних потускнели, а когда я входил на борт пакетбота, единственной моей мыслью было, что скоро я снова ступлю на землю Франции.

Даже в то время Робер смотрел на свою поездку как на рекогносцировку. У него не было никакой другой цели, он только хотел разузнать, каким образом можно снова устроиться во Франции. И только в вечер накануне прибытия пакетбота на континент перед ним возникло внезапное, молниеносное искушение, когда у его попутчика, ехавшего вместе с ним в тесной каюте пакетбота, сделался сердечный приступ и он умер, прежде чем успели найти врача.

– И вот он лежал у меня на руках, – рассказывал мне Робер, – этот больной человек, такой же эмигрант, как и все остальные на этом судне, ни с кем не знакомый, узнать о котором можно было только по документам. Обменять документы, подложить ему мои и взять его собственные было делом одной минуты. А потом оставалось только позвать на помощь, а по прибытии в порт сообщить о происшедшем портовой администрации и предоставить им позаботиться о похоронах – все это не составляло никакого труда. Я оставил Гавр вольным человеком, Софи. Теперь я свободен и могу начать новую жизнь – я не связан никакими узами, у меня нет никаких обязательств. И нет нужды возвращаться к старому ремеслу, можно заняться чем-нибудь другим, все равно чем. У меня не осталось никакого честолюбия, я просто хочу наверстать то, что упущено. И в первую очередь я хочу увидеть своего сына.

Именно к этому он и вел с самого начала. Обретя наконец пристанище в нашем доме в Ге-де-Лоне, сделав меня поверенной своей тайны, брат сосредоточил все свои помыслы на Жаке. Смерть матери не была для него неожиданностью, и грусть от этой потери

длилась недолго. А Жак сделался символом всего, что было ему дорого в той старой жизни, которой он в свое время пренебрег.

– Я тебе уже говорила, – напомнила я ему, стараясь выиграть время, – что Жака призвали на военную службу. Это случилось в апреле, когда ему исполнился двадцать один год; он служит в инфантерии, только не знаю, где и в каком полку.

Даже Пьер не может тебе точно сказать, где Жак сейчас находится.

– Но расскажи мне о нем, – просил брат. – Какой он стал, на кого похож? Вспоминает ли когда-нибудь обо мне?

Ответить на первые два вопроса было совсем нетрудно.

– У него твои глаза, – сказала я, – и такого же цвета волосы. А фигурой он похож на Кэти, он невысок, ниже среднего роста. Что касается характера, то мальчик всегда был ласковым и привязчивым. Он очень любит Пьера и его детей.

– А как насчет ума? Хорошо он соображает?

– Я бы не назвала его особенно сообразительным. Он скорее добросовестный. Военная служба пришлась ему по душе, судя по его письмам домой, и офицеры хорошо о нем отзываются.

Робер одобрительно кивал головой. Я понимала, что Жак для него по-прежнему остается веселым восьмилетним мальчуганом, который требовал, чтобы ему позволили поработать в поле в то лето восемьдесят девятого года.

– Если у него такой же характер, как у Кэти, мы с ним отлично поладим, – заявил он. – Ведь теперь, когда у нас мир, ему вполне могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам, чтобы повидаться с отцом, верно?

Неужели желание видеть сына до такой степени притупило интуицию моего брата?

– Ты забываешь, – сказала я, помолчав, – что республиканская армия сражалась с англичанами и с вами, эмигрантами, в течение девяти лет. Возможно, что этот неожиданный мир и отвечает интересам Консула и его правительства, однако солдаты, которым приходилось сражаться, не стали от этого менее озлобленными. Вряд ли ты можешь рассчитывать, что командир Жака отпустит солдата в отпуск ради тебя.

Теперь наступила его очередь замолчать.

– Ты права, – сказал он наконец. – Теперь, когда я нахожусь в родных краях, я и забыл, что уезжал. Нужно набраться терпения, вот и все.

Тяжело вздохнув, Робер повернулся, чтобы идти в дом, и я уже не в первый раз заметила, какие сутулые у него плечи, – он стал горбиться, как старик, а ведь ему нет еще и пятидесяти трех лет.

– Кроме того, – сказала я ему вслед, – стоит ли тебе привлекать внимание к своей особе, если официально ты умер.

Брат небрежно отмахнулся, словно это его не касалось.

– Умер для тех, кто находится в Лондоне, – сказал он, – и для служащих гаврского порта. Кого еще может интересовать несчастный эмигрант, который решил окончить свои дни в кругу близких?

Свидание с сыном, таким образом, откладывалось, ибо я не обманывала, сказав Роберу, что ни Пьер, ни я сама не знаем, где находится батальон Жака. Он мог быть где угодно – в Италии, в Египте, в Турции, – и подписание мирного договора совсем не означало, что он вернется домой.

– Если я не могу увидеть сына, – заявил Робер, – я могу по крайней мере повидаться с братьями. Ты не собираешься им написать и сообщить, что блудный сын вернулся домой?

Снова я подумала, что Робер ничего не понимает. Я его приняла, потому что всегда любила, но это не означало, что и остальные испытывают те же чувства и одобряют мой поступок. Франсуа был подчеркнуто холоден, и Робер с этим мирился, поскольку никогда не был с ним близок. Что касается детей, то они были еще слишком малы, чтобы составить собственное мнение, и, видя мою привязанность к давно пропавшему дядюшке, брали пример с меня и обращались с ним так же ласково.

Но Эдме и Мишель... Это совсем другое дело. Эти двое, как я уже говорила, потеряли все свои сбережения, а также деньги, полученные в наследство, вложив их в Ружемон. Теперь они поселились где-то на границе Сартра и Орна, недалеко от Алансона. Мишель нашел работу управляющего на небольшой стекловарне, Эдме вела хозяйство в доме. Никто не знал, сколько это будет продолжаться. У Мишеля появились признаки легочного заболевания – бич каждого стеклодува, – которое скоро могло сделать его нетрудоспособным, а то и свести в могилу. Я слишком часто

наблюдала признаки этого недуга у наших старых мастеров в Шен-Бидо, и, когда у него появились нездоровая бледность, одышка и натужный сухой кашель, я не могла ошибиться. Наличие этих симптомов означало, что болезнь развивается, предвещая скорый конец.

Я гнала от себя эти мысли, то же самое делала Эдме, однако мы себя не обманывали.

В самом конце июля мы получили письмо, извещающее нас об их приезде. Эдме узнала, что в Ле-Мане есть врач, хороший специалист по легочным заболеваниям. Теплые летние ветры, несущие с собой пыльцу различных растений, вызвали у Мишеля обострение – у него усилился кашель, стало труднее дышать. Эдме уговорила его взять на несколько дней отпуск, и они собирались отправиться в Ле-Ман, с тем чтобы на обратном пути заехать к нам.

– Что мне делать? – спросила я у Франсуа. – Прямо сказать им правду, что Робер вернулся домой?

– Они не приедут, если ты это сделаешь, – ответил он. – Ты, возможно, забыла, что говорил Мишель о своем брате, а я помню. Он мне однажды сказал, что лучше бы Робер умер, да и дело с концом. Конечно, их нужно предупредить, чтобы они могли изменить свои планы. Я не желаю никаких ссор в своем доме. Присутствие здесь твоего брата и без того ставит меня в весьма затруднительное положение. Мэру Вибрейе не пристало давать приют эмигранту, хотя бы даже и родственнику. Мне кажется, что ты, как жена мэра, не всегда понимаешь, что можно и чего нельзя делать.

Я знала это слишком хорошо. Годы были благосклонны к Франсуа, однако они не украсили его смирением и сочувствием к ближнему. Я по-прежнему его любила, но это был совсем не тот человек, в форме национального гвардейца, который в девяносто первом году сопровождал Мишеля в его набегах, распевая «Ça ira».

– Я напишу Эдме, – сказала я, – и Мишелю тоже. Пусть лучше они знают, что Робер вернулся и живет у нас, и отменят визит.

Письмо было написано и отослано. Прошла неделя, миновал день, на который было намечено посещение доктора в Ле-Мане. Я ожидала, что по возвращении в Алансон они мне напишут и сообщат, что сказал доктор о состоянии Мишеля, и, возможно, как-то прокомментируют появление у нас Робера. Для меня было полной

неожиданностью, когда однажды днем я услышала стук колес на подъездной аллее и увидела наемный экипаж, из которого вышли сначала Мишель, а потом Эдме.

Робер, читавший в это время книгу, снял очки и отложил их в сторону.

– Разве ты ждала гостей? – спросил он. – Или господин мэ́р исправляет свою должность не только в Вибрейе, но и дома?

Франсуа и Робер не слишком любили друг друга, однако на этот раз я не обратила внимания на шпильку. Меня слишком беспокоили двое других.

– Это Эдме и Мишель, – быстро сказала я. – Я пойду их встречу, а ты оставайся здесь.

Лицо Робера просияло, и он поднялся с кресла. Но тут вдруг увидел выражение моего лица, и его улыбка погасла. Брат снова сел, медленно опустившись в кресло.

– Все ясно, – сказал он. – Объяснения излишни.

Он, вероятно, все-таки кое-что почувствовал. А может быть, его просветил Франсуа, не говоря об этом мне.

Я вышла из гостиной в холл. Эдме уже успела войти, она меня опередила, а Мишель был еще возле экипажа, он расплачивался с кучером.

– Ты нас не ожидала. – Сразу сказала сестра. – Ты была права, мы сначала решили не приезжать, но потом, после визита к доктору, Мишель передумал.

Я посмотрела на нее. Ответ можно было прочитать в ее глазах.

– Да, – подтвердила сестра. – Ему уже не поправиться...

Лицо ее было бесстрастно. О том, что она чувствовала, можно было догадаться только по голосу.

– Это может случиться через полгода, – сказала она, – если не раньше. Он принял это очень хорошо. Решил продолжать работать до самого конца, и совершенно правильно.

Больше она ничего не сказала, потому что в этот момент в холл вошел Мишель. Я была поражена тем, как изменился мой брат с тех пор, как я видела его в последний раз несколько месяцев тому назад. Мишель осунулся, лицо его приобрело сероватый оттенок, а шел он мелкими шажками, волоча ноги. Когда он заговорил, у него сразу же сделалась одышка, словно это усилие причинило ему боль.

– Если у тебя нет места, мы можем переночевать в Вибрейе, – сказал он. – Это я виноват, Эдме тебе, наверное, сказала. Я передумал.

Я обняла его. Некогда крепкая здоровая фигура брата стала вдруг маленькой.

– Ты же знаешь, для тебя у нас всегда найдется место, – ответила я. – И сегодня, и в любое другое время, когда только нужно.

– Т-только на сегодня, – сказал он. – Завтра я д-должен вернуться на работу. Робер здесь?

Я посмотрела на Эдме, она кивнула и опустила глаза.

– Где дети? – спросила она. – Можно я пойду их поищу?

Моей сестре, которая не очень-то любила маленьких детей, должно быть, понадобился предлог. Пусть Мишель передумал и все-таки приехал к нам, она-то своего решения не переменяла.

– Как хочешь, – сказала я ей. – Они где-то в саду. Пойдем, Мишель.

Я взяла его под руку и открыла дверь в гостиную. В тот же момент у меня перед глазами встала сцена из прошлого; я как будто снова увидела, как тринадцать лет назад мы с Мишелем выходили из лаборатории на улице Траверсьер.

Робер, который стоял у окна в моей гостиной, волнуясь и готовясь схватиться с братом – дать отпор насмешке или обвинениям, – никак не ожидал того, что ему пришлось увидеть. Воинственного фанатика с копной непокорных волос на голове больше не существовало. В большом человеке, который стоял в дверях, опираясь на мою руку, не осталось никакого огня.

– Салют, старина, – сказал Мишель.

Вот и все. Шаркающей походкой он подошел к Роберу и протянул к нему руки. Я вышла из комнаты, оставив их одних, и заперлась у себя, чтобы как следует выплакаться.

В тот день Франсуа задержался в Вибрейе и вернулся домой только после обеда, чему я была очень рада, поскольку это дало нам возможность побыть вчетвером. Нам не хватало только Пьера, тогда вся семья была бы в сборе.

Эдме поначалу держалась холодно и церемонно протянула Роберу руку, которую тот поцеловал с насмешливой галантностью, а потом отбросил, чтобы крепко обнять сестру, но скоро не выдержала –

не могла долго сопротивляться нашему былому веселью, не могла устоять против очарования прошлого. Она следовала примеру Мишеля главным образом из любви к нему, ибо знала, так же как и я, что наша встреча – истинное чудо, которое больше никогда не повторится. Если же говорить о Мишеле, то возможно, что вынесенный ему смертный приговор заставил его примириться, забыть свое ожесточение против брата, иначе, если вспомнить те чувства, которые он испытывал прежде, и то, что говорил, когда Робер эмигрировал из Франции, только чудом можно было объяснить мирное состояние, в котором он находился в тот день.

Говорят, что подобное влияние оказывает на нас смерть. Стоит нам осознать ее близость, как мы начинаем понимать, что нелепо тратить драгоценное время на пустяки. Все мелкое отпадает – все, что не имеет прямого отношения к нашей жизни. Если бы мы знали раньше, говорим мы себе, мы бы вели себя иначе – не поддавались бы гневу, губительным устремлениям и, главное, смиряли бы гордыню.

За обедом Робер развлекал нас рассказами о простонародном Лондоне, издеваясь над городом, который его пригрел, над его обитателями и своими товарищами-эмигрантами, безжалостно выбросив из памяти ту помощь, которую ему оказывали и те и другие. Но когда мы после обеда перешли в гостиную, он вдруг сказал:

– С какой стати, старик, ты убиваешься на этой алансонской стекловарне, когда мог бы арендовать какое-нибудь солидное предприятие вроде Ла-Пьера. Матушкино наследство плюс то, что ты получил за церковные земли, составили бы вполне приличную сумму.

У меня упало сердце. Эта тема могла привести нас к драматическим событиям, которых я так опасалась. Я бы с удовольствием ушла из комнаты под каким-нибудь предлогом, но было поздно: Робер, входя в гостиную, плотно прикрыл за собой дверь.

Мишель медленно подошел к камину и встал на коврик, заложив руки за спину. За обедом он выпил вина, и на его сером нездоровом лице горели два красных пятна.

– У меня не б-было выхода, – ответил он наконец. – В седьмом году мы с Эдме затеяли одно предприятие. И п-потеряли все, что у нас было.

Робер удивленно поднял брови.

– Значит, я не единственный игрок в этом семействе, – заметил он. – Что, скажи на милость, вас-то заставило пойти на риск?

Мишель немного помолчал.

– Т-ты заставил, – сказал он.

Ничего не понимая, Робер смотрел то на него, то на Эдме.

– Я? – спросил он. – Как же я мог это сделать, если вы были здесь, а я в Лондоне?

– Т-ты меня не п-понял, – сказал Мишель. – Я это сделал п-потому, что думал о тебе. Мне хотелось д-добиться успеха там, где ты потерпел поражение. Н-ничего не вышло. Мне кажется, ответ надо искать в том, что у нас обоих, и у тебя и у меня, не хватает не только таланта нашего отца, но и его мужества. После меня детей не останется, а вот твой Жак, возможно, передаст будущим поколениям оба эти качества.

Не обязательно Жак, подумала я. Есть и еще дети, брошенные отцом в Лондоне, они тоже могут это сделать.

– Где вы потеряли свои деньги? – спросил Робер.

– В Р-ружемоне, – ответил Мишель.

Мне никогда не забыть лица Робера в этот момент. На нем попеременно отразились удивление, потом восхищение, жалость и, наконец, стыд.

– Мне очень жаль, – проговорил он. – Если бы я мог, я бы вас предупредил.

– Не надо жалеть, – отозвался Мишель. – Мы, по крайней мере, кое-чему научились. Я теперь знаю предел своим возможностям, а также возможностям страны.

– Страны?

– Да. Наш план состоял в том, чтобы п-пользоваться доходами наравне с рабочими. Ты, верно, ничего не слышал о Гракхе Б-бабёфе, который предпочел гильотине самоубийство? Он считал, что вся собственность, все богатства должны делиться поровну между всеми людьми. Он был моим д-другом.

Наш эмигрант, держа в руках очки, смотрел на младшего брата, раскрыв рот. Между ними было не просто тринадцать лет разницы в возрасте, но еще и целое столетие идей. Возможно, Королевская тюрьма и научила Робера некоторому смирению, но он тем не менее

оставался человеком восемьдесят девятого года, тогда как Мишель и Эдме принадлежали будущему, которое нам не суждено было увидеть.

– Другими словами, – медленно проговорил Робер, – вы сделали ставку на мечту.

– Назови это так, если тебе нравится, – ответил Мишель.

Робер подошел к окну и выпянул в сад. Дети ловили бабочек на лужайке.

– Если хорошо подумать, то моя ставка тоже была мечтой, только несколько иного рода, чем ваша.

Все мы замолчали, и молчание длилось до тех пор, пока Мишель не начал кашлять, и мы вдруг вспомнили о том, что ему предстоит. Он сел, задыхаясь, и стал махать нам рукой, чтобы мы не обращали на него внимания.

– Не т-тревожьтесь. – сказал он. – Это скоро проходит. Софи слишком хорошо меня накормила. – Потом он посмотрел на брата и улыбнулся: – А что случилось с бокалом?

– С бокалом?

Робер, слишком внезапно возвратившись в настоящее, растерялся, но только на секунду. Потом, взглянув на меня, подошел к шкафчику у стены.

– Вот он, здесь. Единственная вещь, которую я привез с собой из Англии. Однажды я его чуть было не потерял, но это уже другая история. – Он открыл шкафчик, достал бокал и показал его Мишелю. – Видишь, на нем нет ни единой царапины, – сказал он. – Но я не дам тебе его трогать, говорят, что он приносит несчастье.

– Мне это уже не страшно, – возразил Мишель. – Все несчастья со мной уже произошли. Дай мне его подержать.

Он протянул руку, взял бокал и стал его медленно поворачивать то в одну, то в другую сторону. Свет из окна упал на его грани.

– Вот это были мастера, нужно отдать им справедливость, – и отец, и дядя, – сказал Мишель. – Я сотни раз пытался сделать что-либо подобное, но у м-меня ничего не п-получалось. Ты оставишь его у Софи?

– До тех пор, пока его не востребует Жак, – ответил Робер.

– Он этого не сделает, – сказал Мишель. – Он принадлежит Бонапарту. Жак пойдет за Первым Консулом в сибирские степи и еще

дальше. Надо было тебе завести побольше сыновей. Очень жаль, что т-твой второй брак закончился т-так же трагично, как и первый.

Робер ничего не ответил. Он взял бокал у Мишеля и поставил его обратно в шкафчик. Я по-прежнему была единственной хранительницей его тайны.

– Поздно нам, старик, затевать совместное дело, – сказал Мишель. – Все очень п-просто, я вряд ли проживу больше полугода. Но я буду рад твоему обществу, если ты поселишься с нами, хоть ты и эмигрант черт тебя побери. Ведь ты не возражаешь, Эдме, правда?

– Конечно нет, если тебе этого хочется, – ответила Эдме.

– А потом, когда меня не станет, ты можешь вернуться к Софи и наслаждаться комфортом в доме господина мэра. Как ты на это смотришь?

Теперь настала очередь Робера вспомнить, как они расстались на улице Траверсьер. Горечь и озлобление, которые он тогда испытывал, были забыты, исчезли навсегда после слов Мишеля. Братья являли сейчас странный контраст прошлому: Робер, некогда блестящий денди, сгорбился, платье висело на нем как на вешалке, крашенные волосы были тронуты сединой, глаза скрывались под очками; а бывший террорист Мишель, гроза всей округи Мондубло, готовый сражаться с целым миром, превратился в умирающего старика, которому предстояла его последняя битва.

Если бы они это знали тогда, повторяла я себе, если бы они знали, может быть, они вели бы себя иначе, может быть, не стали бы ссориться. И не было бы одиночества, злобы, мучительной тоски – всего, что терзало их между прошлым и настоящим.

– Я поеду с тобой, – сказал Робер. – С радостью и гордостью. А все эти разговоры, что тебе осталось жить полгода, – это мы еще поспорим.

Если я выиграю, тем лучше для обоих. А если проиграю, то, по крайней мере, не придется платить.

Ясно было одно: ни лондонские туманы, ни мрачная камера Королевской тюрьмы, ни близкая смерть Мишеля – ничто не могло изменить натуру моего старшего брата-игрока, лишить его чувства юмора.

Глава двадцатая

Мой старший брат проиграл пари. Мишель умер через шесть месяцев, в апреле тысяча восемьсот третьего года, слава богу, без особых мучений. Еще за день до смерти он продолжал работать, и конец наступил внезапно, во время приступа кашля. Вот только что он разговаривал с Эдме, а в следующую минуту его не стало. Мы привезли тело в Вибрейе и похоронили на кладбище, где со временем буду лежать я сама, а после меня мои сыновья. Никто из нас не желал, чтобы продлилась его жизнь. Силы Мишеля угасали, а примириться с жизнью инвалида, коротающего свои дни в удобном кресле, ему было бы очень трудно. Присутствие брата очень скрасило его последние месяцы. Робер, по словам Эдме, обращался с ним так ласково, что лучшего нельзя было и желать. Он стелил Мишелю постель, помогал ему одеваться, сидел с ним ночью, когда приступы кашля становились особенно жестокими. И все это делалось легко и весело.

– Я не хотела, чтобы он с нами ехал, – призналась Эдме, – но уже через две недели поняла, что на него можно положиться полностью. Если бы не Робер, я не знаю, как у меня хватило бы сил встретить конец.

Итак, мой младший брат покинул нас первым, и мне хотелось думать – я ведь никогда не переставала верить в Бога, – что теперь, когда его нет с нами, он там, на небе, вместе с нашим отцом работает в некоей небесной стекловарне, он спокоен, со всем примирился и больше не заикается. Наши чувства позволяют нам превратить загробную жизнь в волшебную сказку для детей, но мне это нравится больше, чем теория Эдме о полном забвении.

Смерть Мишеля так страшно на нее подействовала, что жизнь оказалась для сестры лишенной смысла. Последние семь лет она жила только для него, и теперь, когда Мишеля не стало, она чувствовала себя потерянной. Слишком долго они делили все поровну: у них была одна вера, одинаковый фанатизм и даже общее крушение мечты – когда рухнуло их предприятие, они находили утешение в том, что это их общая катастрофа.

– Ей нужно снова выйти замуж, – решительно заявил Франсуа. – Муж, дети и домашние заботы скоро ее вылечат.

Я подумала о том, что некоторые мужчины напрасно думают, что заботы о покое и удобствах какого-нибудь чужого человека, штопанье его белья и носков могут удовлетворить такую женщину, как моя сестра Эдме с ее живым умом и тягой к спорам. Ведь живи она в другие времена, она бы стала бороться за свои убеждения с такой же страстью, как Жанна д'Арк.

Для Эдме революция закончилась слишком рано. Победоносными армиями Бонапарта можно было гордиться, однако, по ее мнению – и по мнению Мишеля, если бы он был жив, – вся эта слава не более чем пустая насмешка, годная лишь для того, чтобы тешить честолюбие генералов, – массы людей в этом участия не принимали. Из друзей Первого Консула составила новая аристократия, разукрашенная, разубранная перьями и лентами; все они толпились вокруг него, плутовали и интриговали ради того, чтобы добиться милостей, совсем как прежние придворные в Версале. Изменились только имена.

– Я пережила свое время, – говорила Эдме. – Меня надо было отправить на гильотину вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом, или же мне следовало погибнуть, защищая их идеалы на улицах Парижа. Все, что было после, испорчено и прогнило.

Нескольких недель, что она прожила с нами в Ге-де-Лоне, оказалось достаточно. Она скучала, не могла найти себе места. А потом быстро собралась и отправилась в Вандом в надежде отыскать кого-нибудь из «бабёфистов»,^[52] которые, возможно, еще уцелели. Некоторое время мы ничего о ней не знали, а потом стало известно, что она пишет статьи для Гесина, друга и соратника Бабёфа, – он снова был на свободе и боролся против законов о воинской повинности.

Я всегда говорила, что Эдме следовало родиться мужчиной. Ее ум, упорство никак не подходили для женщины и только даром пропадали.

Когда наступила весна, мы с Робером поехали в Сен-Кристоф, чтобы повидаться с Пьером, который, конечно, приезжал до этого на похороны Мишеля, так что братья уже виделись. Это свидание не вызывало во мне опасений. Пьер встретил нашего эмигранта так, словно тот никуда не уезжал, и тут же предложил ему ту часть

матушкиного наследства, которую берег, с тем чтобы впоследствии передать Жаку. Доход от небольшой фермы и виноградника был невелик, однако его было достаточно, чтобы брат мог на него существовать и даже что-то откладывать.

– Вопрос в том, – сказал Пьер, – что ты предполагаешь делать с этим наследством.

– Предполагаю не делать ничего, – отвечал Робер, – пока не переговорю об этом с Жаком. Я ничего не понимаю с этим его призывом в армию. Разве нельзя было бы уплатить компенсацию, с тем чтобы его отпустили?

– Нет, – ответил Пьер. – Но даже если бы... Он не договорил и посмотрел на меня. Я очень хорошо понимала, о чем он думает. Жаку было уже почти двадцать два года, и он был уверен, – по крайней мере, мы так считали, – что отец его умер. Изменить этого было нельзя, независимо от того, будет ли Жак продолжать служить в армии или нет.

– Мне кажется, ты должен знать, – сказал Пьер, – что за все время, что мы живем в Сен-Кристофе, Жак ни разу не упомянул твоего имени. Мои ребята говорили мне то же самое. Может быть, он разговаривал о тебе с матушкой, когда жил с ней, но со мной – никогда.

– Возможно, это и так, – возразил Робер, – но это не значит, что он обо мне не думал.

Я чувствовала, что Пьера это беспокоит – как из-за Робера, так и из-за Жака. Больше всего на свете ему, конечно, хотелось бы помирить отца с сыном, что же до Робера, то он не видел в этой ситуации ничего необычного. Он, наверное, думал, что это то же самое, как если бы он уезжал в колонии и вернулся после долгого отсутствия. Но ведь он бросил своего сына, покинул свою страну и в течение тринадцати лет жил в Англии эмигрантом. Он не вправе ожидать, что найдет по приезду ту же любовь, которую помнил по прежним временам.

– А как его другие дедушка и бабушка? – расспрашивал Робер. – Он, наверное, потерял с ними связь? Я думаю, что так оно и есть.

– Напротив, – возразил Пьер. – Он регулярно с ними переписывается и часто ездит к ним, по крайней мере ездил, пока его не призвали в армию. Я специально оговорил это обстоятельство,

когда стал его опекуном. Насколько я понимаю, после смерти Фиатов все их состояние перейдет к нему. Возможно, там будет не так уж много – дом в Париже и то, что старику Фиату удалось скопить, – но, во всяком случае, это будет приятным добавлением к его военному жалованью.

Робер помолчал.

– Боюсь, что Фиаты не особенно высокого обо мне мнения, – сказал он наконец.

– А чего ты, собственно, ожидал? – спросил Пьер.

– Нет, нет, это вполне естественно. А как ты думаешь, они не настраивали Жака против меня?

– Возможно, – отвечал Пьер, – хотя маловероятно. Они славные старики и, скорее всего, просто избегали упоминать твое имя. Вряд ли они стали бы произносить при Жаке слово «эмигрант».

Лицо Робера словно отвердело, приняв необычное для него выражение. Странно, что он узнал от Пьера то, чего ему не захотел сказать Мишель.

– Неужели нас так презирали? – спросил он.

– Честно говоря, да, – сказал Пьер. – И не забудь, что ты уехал одним из первых. В твоём случае нельзя даже говорить о преследовании.

– А угроза тюремного заключения? – возразил Робер.

– Это опять-таки не вызовет особого восторга со стороны твоего сына, – сказал Пьер.

Пьер, который был самым снисходительным и сострадательным из людей, обладал тем не менее способностью называть вещи своими именами, когда дело касалось эмиграции, и он хотел избавить брата от унижения. Но он не принял во внимание богатую фантазию Робера и не подозревал – в отличие от меня, которая знала о его лондонской жизни, – что у нашего брата всегда найдется в запасе куча объяснений, с помощью которых он успокоит свою совесть.

Испытание наступило скорее, чем мы предполагали. Был последний день нашего визита, когда Пьер-Франсуа, шестнадцатилетний сын Пьера и полный тезка моего собственного, прибежал домой, задыхаясь от возбуждения, и сообщил, что четвертый батальон девяносто четвертого пехотного полка находится в Туре.

– Они следуют на север, к побережью, и остановились там на отдых, – сказал он. – Пробудут в казармах дня три. Жак, конечно, попросит, чтобы его отпустили, и приедет повидаться с нами. Хотя бы на час или два.

Жак служил в пятой роте этого батальона, и если сведения были верны, если они действительно находились в Туре, было вполне вероятно, что он попросит отпуск.

– Мы должны немедленно отправиться в Тур, – сказал Робер, который пришел в лихорадочное возбуждение при мысли, что скоро увидит сына. – Какой смысл дожидаться его здесь?

– Надо сначала выяснить, насколько достоверны эти сведения, – отозвался Пьер. – Это несомненно девяносто третий полк, но почему обязательно четвертый батальон?

Он пошел выяснить, откуда взялись эти слухи, в то время как Робер – я не видела его таким беспокоящим и нетерпеливым со дня его возвращения из Англии, он даже стал похож на прежнего Робера – шагал взад-вперед по гостиной в доме Пьера, где царил отчаянный беспорядок: под ногами вертелись щенки, котята и ручные ежики, валялись самодельные клетки, по углам были свалены книги, которых было слишком много, так что они не помещались на полках, а на стенах висели поразительные рисунки дочери Пьера, очаровательной семилетней Пивуан-Белль-де-Нюи, которая очень скоро стала любимницей дядюшки.

– Если я по вине Пьера не сумею повидать Жака, – говорил Робер, – я никогда ему этого не прощу. До Тура всего полтора часа езды. Мы могли бы нанять экипаж и к четырем часам были бы уже на месте.

Я видела, как он мучается, и жалела его, но в то же время понимала и Пьера, который считал, что необходимо действовать с осторожностью. С одной стороны, жалко было бы проехаться впустую, а с другой – я опасалась, как бы по приезде в Тур Робер в своей горячности не стал бы спорить и ссориться с офицерами – начальниками Жака.

– Положись на Пьера, он сделает все, что нужно, – уговаривала я. – Ты ведь достаточно хорошо его знаешь.

Вместо ответа брат жестом показал на беспорядок в комнате.

– Я не слишком в этом уверен, – возразил он. – Все, что ты видишь, говорит о том, что такой же беспорядок у него в голове. Его сыновья, конечно, отличные ребята, они могут наложить лубки на лапу какого-нибудь котенка, но ведь они же едва умеют писать на своем родном языке. Я уверен, что и мой сын тоже не получил образования из-за теорий Пьера.

Я предоставила ему бушевать. Он просто очень волновался. Ему было прекрасно известно, так же как и мне, что теории Пьера относительно воспитания детей не имеют решительно никакого значения, важно было только то, что Пьер – глубоко порядочный человек. Если бы не предусмотрительность Пьера, у Робера сейчас не было бы ни гроша.

– Прошу прощения, – сказал Робер немного погодя. – Я его ни в чем не обвиняю. Просто он, по-моему, не понимает, что для меня означает эта встреча.

– Он прекрасно все понимает, – заметила я, – поэтому и старается сделать все так, как нужно.

Пьер вернулся через час. Сведения оказались верными. Четвертый батальон находился в Туре.

– Я предлагаю, – сказал Пьер, взглянув на часы, – подождать до пяти часов, в это время прибывает дилижанс из Тура на Шато-дю-Луар – может быть, Жак приедет сюда сам. Если это так, а я думаю, что это вполне вероятно, то через два часа мы его увидим. Но у меня к тебе одна просьба: я хочу сначала сам встретиться с мальчиком и сообщить ему, что ты находишься здесь.

– Но почему, скажи на милость? – Робер, потерявший всякое терпение, закричал так, что Белль-де-Нюи, рисовавшая что-то у окна, испугалась.

– Да потому, – терпеливо объяснял Пьер, – что для вас с Жаком это будет не простая встреча, вы оба будете волноваться. Ты же не хочешь, чтобы на вас глазела вся улица?

Следующие два часа были исполнены беспокойства. Если Жака не окажется в дилижансе, Робер будет страшно разочарован и нужно будет придумывать новые планы, если же он приедет... я была не совсем уверена, что тогда произойдет, так же как и Пьер.

За пять минут до назначенного часа Пьер направился к мэрии, возле которой пассажиры обычно выходили из дилижанса. Он пошел

туда один. Пьер-Франсуа и Жозеф, его второй сын, вместе с матерью и Белль-де-Нюи остались дома, согласно строгому распоряжению отца. Дети помчались наверх и устроились там у окна, из которого им сразу будет видно, когда приедет Жак. Мы с Робером сидели в гостиной, вернее, сидела я, а он мерил комнату шагами. Моя невестка деликатно удалилась в кухню.

Через некоторое время я увидела, что в дверях гостиной стоит Белль-де-Нюи, прижимая к животу двух щенков.

– Папа и Жак гуляют перед домом, – доложила она. – Давно уже гуляют, ходят туда и обратно. По-моему, Жак не хочет заходить в дом.

Робер сразу же бросился к выходу, но я схватила его за руку.

– Подожди, – сказала я. – Может быть, Пьер все объяснит.

Не прошло и минуты, как Пьер вошел в комнату. Он встретился со мной взглядом, и я сразу поняла, в чем дело. Затем он обратился к Роберу.

– Жак приехал, – коротко сообщил он. – У него всего час времени, он должен вернуться в Тур обратным дилижансом. Я сказал ему, что ты находишься у нас.

– Ну и что?

Тяжело было наблюдать, как волнуется наш старший брат.

– Случилось то, чего я боялся. Он потрясен и согласился встретиться с тобой только ради меня.

Пьер вышел в переднюю и позвал Жака. Робер двинулся было за ним, остановился в нерешительности и стоял, не зная, что делать дальше. Его сын вошел в комнату и встал у дверей рядом с дядей. Жак не вырос с тех пор, как мы с ним виделись, но окреп, раздался в плечах и даже пополнел – видимо, солдатский рацион пошел ему на пользу. Ему очень шла форма, правда, она казалась тяжеловатой, и он чувствовал себя несколько стесненно. Я подумала о том, как он не похож на своего отца тех времен, когда тот служил в полку аркебузьеров и гораздо больше интересовался покроем мундира, чем самой службой.

Он стоял у дверей, бледный, без тени улыбки на лице, а я задавала себе вопрос: кто из них страдает больше – Жак, который смотрел на своего старого отца, нервно теребящего в руках очки, или Робер при виде враждебно настроенного сына.

– Ты ведь не забыл меня, правда? – спросил наконец Робер, заставив себя улыбнуться.

– Нет, – коротко отрезал Жак. – А было бы, наверное, лучше, если бы забыл.

Пьер сделал мне знак, приглашая выйти из комнаты.

– Пойдем, Софи, – сказал он. – Пусть они побудут вдвоем.

Я уже направилась к двери, но Жак поднял руку.

– Нет, дядя, – сказал он. – Не уходите. И вы тоже, тетя Софи. Я предпочитаю, чтобы вы остались. Мне нечего сказать этому человеку.

Лучше бы уж он подошел и ударил отца по лицу, это было бы не так жестоко. Глаза Робера были полны мучительной боли – он не мог поверить своим ушам, – но потом понял, что потерпел полное поражение. Тем не менее он сделал последнюю попытку выйти из положения при помощи бравады.

– Полно, мой мальчик, – сказал он. – Сейчас не время разыгрывать драмы. Ты славный юноша, я горжусь тобой. Подойди же, пожми руку твоему старому отцу, который любил тебя все эти годы.

Пьер положил руку на плечо племянника, но тот стряхнул ее.

– Простите меня, дядя, – сказал он. – Я сделал то, о чем вы меня просили, вошел в комнату. Он видит, что я существую. А теперь я хотел бы пойти и повидаться с тетей Мари и с ребятами.

Он повернулся на каблуках, но Пьер загородил ему дорогу.

– Жак, – тихо сказал он. – Неужели в тебе нет ни капли жалости?

Жак резко обернулся и посмотрел на всех нас по очереди.

– Жалости? – повторил он. – Почему я должен его жалеть? Он ведь меня не пожалел четырнадцать лет тому назад, когда бросил. Он думал только о том, чтобы поскорее убраться из страны, спасая собственную шкуру. А теперь, когда объявили амнистию, решил, что можно и вернуться. Ну, это его дело, я только не понимаю, как у него хватило наглости это сделать. Можете жалеть его, если вам угодно, я же могу его только презирать.

Как плохо, когда видишь прошлое так же ясно и отчетливо, как и настоящее, когда хранишь в памяти картины, такие же яркие, как в тот день, когда они происходили. Я вижу себя в Антиньере, я сижу в шарабане, собираясь ехать домой, а рядом с коляской стоит Жак,

загорелый малыш в синем костюмчике, он целует своего папу и машет ему на прощание рукой.

– Ну, довольно, – спокойно сказал Робер. – Пусть он уходит.

Пьер отошел в сторону, и Жак вышел из комнаты. Я слышала, как Белль-де-Нюи позвала его с лестницы, потом что-то говорили мальчики и возбужденно залаяли собаки. Дети забрали его в свой мир, и мы, старшее поколение, остались одни.

– Этого я и боялся, – сказал Пьер, обращаясь то ли к Роберу, то ли ко мне, я так и не поняла. Словно в глубокой задумчивости он повторил еще раз: – Этого я и боялся.

Робер тут же ушел наверх и заперся в своей комнате. Он оставался там до тех пор, пока Жаку не настало время снова садиться в дилижанс. Тогда он встал на площадке лестницы в надежде на то, что сын смягчится и придет сказать ему «до свидания». Мы умоляли об этом Жака, но он был тверд. Ни Пьер, ни Мари, ни я не могли заставить его изменить свое решение. Весь час своего отпуска он провел с двоюродными братьями в старой детской комнате наверху, рассказывая им, как мы узнали впоследствии, о том, как ему служится в армии, и, судя по смеху который слышался сверху, он изображал жизнь новобранца с достаточным юмором. Он не сказал ни одного слова об отце, и все остальные, следуя его примеру, тоже не касались этой темы.

Когда Жак отправился к дилижансу в сопровождении Пьера-Франсуа и Жозефа, расцеловавшись со всеми нами, и мы услышали, как за ними хлопнула входная дверь, наверху, словно эхо, раздался такой же звук. Это Робер, ждавший до последней минуты, захлопнул дверь в свою комнату.

В этот вечер я открыла тайну Робера, рассказав Пьеру о его семье, оставленной в Англии. Он выслушал всю эту некрасивую историю, не сказав ни слова, а когда я кончила, поблагодарил меня за то, что я ему это рассказала.

– Ничего другого не остается, – сказал он, – как привезти сюда его жену и детей. Неважно, кто за ними поедет, он или я. Но если этого не сделать, он пропадет, после того что сегодня сделал Жак.

Для меня было большим облегчением разделить ответственность с Пьером. Мы долго разговаривали, обсуждая, что необходимо сделать для того, чтобы переправить жену и детей Робера из Англии во

Францию. Она считала себя вдовой и, вероятно, получала какое-нибудь вспомоществование от английских властей. Там никто не должен знать, что Робер вовсе не умер, потому что, если все откроется, его ожидает суровое наказание, я была в этом почти уверена. Пьер, несмотря на всю свою образованность в области юриспруденции, не знал, в чем могло заключаться это наказание и как оно могло быть применено. Это мошенничество носило весьма специфический характер, и ему придется очень осторожно навести справки у своих друзей-юристов.

– Мне кажется, – сказала я, – что лучше всего было бы написать Мари-Франсуазе письмо – это может сделать кто-нибудь из нас – и предложить ей приехать сюда и поселиться у нас. Мы можем сказать, что здесь ее ожидает наследство, оставленное Робером.

– А если она не захочет приехать? – возразил Пьер. – Что тогда? Может быть, она предпочитает жить в Лондоне вместе с эмигрантами, которые не хотят возвращаться домой. Лучше уж поехать туда и попробовать ее уговорить. Как только она узнает, что Робер жив, то, конечно же, согласится приехать, в этом нет никакого сомнения.

Я вспомнила о том, что рассказывал мне Робер о своей жене, о том, что, когда он находился в тюрьме, Мари-Франсуаза обратилась к религии и сделалась очень набожной. Вполне возможно, что она сочтет грехом умалчивание об обмане и пожелает рассказать о нем аббату Каррону, который был к ней так добр.

Этим проблемам не было конца, однако я понимала, что Пьер прав. Единственным способом исправить зло, причиненное Робером его второй семье и Жаку, было немедленное возвращение к жене и детям. Он дважды совершил одно и то же преступление. Именно так обстояло дело, иными словами это не выразишь. К чувству вины за первое преступление должно было присоединиться чувство вины за второе, а когда это случится... Пьер выразительно посмотрел на меня.

– Чего ты боишься? – спросила я его.

– Я боюсь, как бы он не покончил с собой, – отвечал Пьер.

Он пошел наверх к Роберу и оставался у него в течение долгого времени. Вернувшись, он сказал мне, что Робер согласился сделать все, что мы найдем нужным. Жак для него потерян, и, несомненно, навсегда. Робер понимал, какой жестокий удар он нанес

впечатлительному юноше. Мысль о том, что для него не потеряна надежда соединиться с детьми, оставленными в Англии, может стать спасительной.

– Ты можешь отложить на несколько дней свое возвращение домой? – спросил Пьер.

Я ответила, что могу. Мое семейство вполне можно было оставить на Шарлотту, племянницу нашей милой мадам Верделе, которая служила у нас кухаркой в Шен-Бидо.

– В таком случае, – сказал Пьер, – я завтра поеду в Париж и узнаю, какие существуют возможности поездки в Англию, – все равно, кто из нас поедет, он сам или я. А ты тем временем побудь здесь с Робером. Не выпускай его из виду.

Пьер уехал на следующий день, еще до того как Робер встал с постели, а я делала то, что мне поручил Пьер: вместе с мальчиками и Белль-де-Нюи составляла компанию Роберу.

Он вел себя странно, был не похож на себя: молча бродил по дому с покаянным видом и за двадцать четыре часа, прошедшие с отъезда Жака, превратился в настоящего старика.

Брат был глубоко потрясен, причем были не только уязвлены его чувства, но и поколеблено его самоуважение. За те несколько часов, что он провел в своей комнате после разговора с Пьером, он, наверное, понял наконец, что произошло за последние несколько лет. Он понял, что такое клеймо эмигранта, что это означало для Жака, сына эмигранта, воспитанного в семье патриотов. Старшее поколение – мы с Пьером и в меньшей степени Мишель и Эдме готовы были его принять, нам это было легче, учитывая наш почтенный возраст. Что же касается молодежи, она вообще гораздо менее склонна прощать.

Пока мы ожидали возвращения Пьера из Парижа, Робер начал поговаривать – сначала нерешительно, а потом с энтузиазмом – о возможности снова увидеть Мари-Франсуазу и детей.

– Она скоро примирится с тем, что я ее обманул, – говорил он. – Я придумаю какую-нибудь историю, например, что перепутали документы или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, это не имеет особого значения. Когда же они приедут сюда, то теперь, с полученным наследством, нам нетрудно будет купить какое-нибудь небольшое имение и... Дети, по крайней мере, будут говорить на двух языках, а это даст им большое преимущество в будущем, когда они

начнут самостоятельную жизнь. Моя малышка Луиза сейчас почти такого же возраста, как Белль-де-Нюи. Они будут подружками.

Говоря это, брат взял племянницу на руки, и ласковая девочка крепко к нему прижалась.

– Да, – продолжал он, – да, теперь я понимаю, что с моей стороны было безумием сделать то, что я сделал. Надо было просто приехать к тебе, как я сначала и собирался, и мы бы вместе все устроили, привезли бы и их тоже. Правда, в то время я еще ничего не знал о наследстве, я даже не был уверен, застану ли кого-нибудь из вас в живых.

Я действовал по вдохновению, это моя всегдашняя манера.

Я всячески поощряла его стремление строить планы на будущее, решать всякие практические вопросы – единственный способ занять время, к тому же это отвлекало его от мыслей о Жаке.

Прошло пять или шесть дней, он почти пришел в себя и стал с нетерпением ожидать возвращения Пьера. Наконец, ровно через неделю после того, как Пьер уехал в Париж, – мы все были в столовой и собирались садиться обедать – вдруг раздался голосок Белль-де-Нюи: «Папа приехал, я слышу его голос в передней». Она стала слезать со своего стула, однако Робер ее опередил. Я слышала, как он поздоровался с Пьером, они обменялись несколькими словами, и наступило молчание. Я вышла из-за стола и направилась в переднюю.

Пьер стоял возле брата, положив руку ему на плечо.

– Ничего нельзя сделать, – говорил он. – Между нами и Англией возобновились военные действия, и порты в Ла-Манше закрыты. Теперь я понимаю, почему батальон Жака послали на север. Говорят, Наполеон готовится к вторжению в Англию.

Перемирие, которое длилось в течение года и двух месяцев, окончилось, и снова началась война, которой суждено было продлиться еще тринадцать лет. Планы Пьера оказались несколько преждевременными. Робер не только потерял своего старшего сына, он потерял всякую надежду соединиться со второй женой и детьми. Ему не суждено было их увидеть, и он никогда больше о них не слышал.

Глава двадцать первая

Мы настолько привыкли к победам Наполеона, что рассматривали возобновление войны между Англией и Францией только как временное затруднение, мешающее нашим планам. Через несколько месяцев все будет окончено, Бонапарт вторгнется в Англию, прямым маршем направится в Лондон и заставит английское правительство принять свои условия, каковы бы они ни были. Что же касается эмигрантов, живущих под покровительством Англии, то их, разумеется, отправят домой, в свою страну, и, следовательно, желание Робера вновь соединиться с Мари-Франсуазой и детьми не замедлит осуществиться. Поскольку мы рассуждали таким образом, возобновление войны не было для нас ударом, мы рассматривали его скорее как досадное нарушение наших планов. Так, по крайней мере, рассуждала я с полного одобрения Пьера. Но именно Робер, который стал гораздо спокойнее, словно бы примирился с неизбежным, предупредил нас о том, чтобы не рассчитывали на быструю победу.

– Не забывайте о том, – говорил он, – что я прожил среди этих людей тринадцать лет. Возможно, что война на континенте не заставит их особенно воодушевиться, но, если возникнет угроза их собственным берегам, они будут стоять твердо. Не рассчитывайте на скорую победу, мне кажется, что, если Бонапарт планирует вторжение, он может крупно просчитаться.

Следующие месяцы показали, что брат был прав. Огромная армия, сосредоточенная в Булони, напрасно ожидала случая, чтобы переправиться через Ла-Манш, а когда на смену лету пришла осень, надежда на победу улетучилась, так же как и наши собственные надежды.

Однажды вечером, в один из особенно ненастных дней февраля тысяча восемьсот четвертого года, Робер, который снова жил у нас в Ге-де-Лоне, признался мне, что Бонапарт, по его мнению, не отважится на вторжение, даже когда наступит весна.

– Слишком велики шансы, что он потерпит поражение на море, – говорил брат. – Я считаю, что мы должны настроиться на то, что война с Англией примет затяжной характер, независимо от того,

какие победы Бонапарт будет одерживать в других местах. Это означает, как я понимаю, что мне следует перестать думать о Мари-Франсуазе и о детях. Я для них умер и должен примириться с тем, что для меня они тоже не существуют.

Робер говорил без всякой горечи, однако достаточно решительно, и я поняла, что он уже давно вынашивает эту мысль.

– Ну что же, пусть будет так, но только если ты действительно так думаешь, а не просто хочешь успокоить свою совесть. Дети твои живы, они находятся в Лондоне и растут, так же как растут Пьер-Франсуа. Альфонс-Сиприен и Зоэ, как растут ребяташки Пьера в Сен-Кристофе. Примирись с мыслью о том, что они живы, но ты ничем не можешь им помочь. Тебе будет легче смотреть правде в глаза, если у тебя хватит на это мужества.

– Дело тут не в мужестве, – возразил Робер. – Я хочу сказать, что они умерли для меня эмоционально. Это очень странно, но я даже не могу мысленно представить себе их лица. Они для меня словно тени. Когда я думаю о Луизе, которая всегда была моей любимицей, вместо ее лица мне видится личико Белль-де-Нюи. Может быть, потому, что они одного возраста.

Этого я никак не могла понять. Я-то знала, что если бы мне пришлось расстаться с моими детьми, неважно на какой долгий срок, я всегда бы видела их лица, слышала их голоса, и чем дальше, тем отчетливее. Мне стало казаться, что тягостная встреча с Жаком, словно шок, поразила сознание Робера и в результате у него что-то произошло с памятью. А может быть, ему было просто удобнее забыть то, что причиняет ему беспокойство? Я сомневаюсь, что мысли о Жаке сильно тревожили его в Лондоне, а решение назвать второго мальчика Жаком было продиктовано скорее упрямством, желанием утвердиться в своем новом, фантастическом существовании. В то же время я не могла не отметить, что к моим детям и к детям Пьера он относился с искренней любовью. Несмотря на разницу в возрасте, ему ничего не стоило завоевать их ответную любовь – у него был такой веселый, добродушный, открытый характер, и я не раз замечала, что мои сыновья, когда у них возникали трудности с уроками – не решалась задачка или попадалось особенно трудное правило, – бежали охотнее к нему, чем к собственному отцу. Ведь именно Робер учил меня когда-то латыни в те далекие времена в Шен-Бидо, еще до того

как я вышла замуж, а в Лондоне, в последние годы его пребывания там, он помогал аббату Каррону учить эмигрантских детишек в организованной тем школе.

– Ты неправильно выбрал профессию, зря загубил свой талант, работая гравировщиком, – сказала я ему однажды, когда увидела, что он сидит с учебником латыни, а по обе стороны от него – мои сыновья. – Тебе нужно было стать учителем в школе.

Он засмеялся и отложил книгу в сторону.

– В Лондоне мне очень нравилось учить детей, тем более что за это платили. А сейчас это помогает убить время, отвлечься от неприятных мыслей. Согласись, что дело того стоит.

Робер опять говорил спокойно, без горечи, но я знала, что, хотя он и рад нашему обществу и ему нравится жить в нашем доме, в душе его все равно ощущается пустота. Год тому назад он в своем воображении строил планы совместной жизни с Жаком. Теперь же, когда это не получилось, ему приходилось думать о том, чем заполнить свои дни. Моему брату было пятьдесят четыре года. Наследство, которое он получил от матушки, оставалось нетронутым. Нужно было за что-то уцепиться, найти смысл дальнейшей жизни.

«По первому твоему слову, – писал ему Пьер, – я готов принять участие в любом начинании, которое ты можешь мне предложить, с одним только исключением. Стекольное дело нам с тобой заказано. Во-первых, у нас нет необходимых средств. А во-вторых, хотя парижские кредиторы тебя забыли, тем не менее как только твое имя снова возникнет в знакомых кругах, они тут же на тебя набросятся. Здесь, в Турени, тебя никто не знает. Господин Бюссон л'Эне вместе с его влиятельными друзьями остались в далеком прошлом».

В начале мая Пьер сообщил мне, что получил письмо от Жака, который написал ему, что его бабушка, мадам Фиат, умерла, оставив наследство, причитающееся ему по завещанию. Дед его, старик Фиат, тоже хворает, и Жак пишет, что после его смерти он получит дом и все остальное имущество.

– Иными словами, – заметил Робер, – Жак теперь знает, что он самостоятельный человек и ни от кого не зависит. Он может продать дом и вложить деньги в какое-нибудь предприятие, а капитал не трогать, пока не выйдет из военной службы.

– Что означает, – продолжила я его мысль, – ему уже никогда не потребуется твоя помощь. Когда вы виделись в последний раз, ты не был в этом уверен. А теперь знаешь наверняка.

– Он, конечно, ничего не стал бы просить прямо у меня, – сказал Робер, – но мог бы обратиться к Пьеру. А теперь я лишился даже этой надежды.

Только после того, как мы получили известие о том, что полк Жака отправляют в Тулон для несения службы в Средиземноморье и что он будет там находиться не менее двух лет, Робер наконец решил, что он собирается делать с полученным наследством.

Он попросил Пьера приехать в Ге-де-Лоне на семейный совет, и когда мы собрались там втроем – Франсуа предпочел не участвовать в нашем совещании, а у Эдме было слишком много дел с ее якобинскими друзьями в Вандоме, и она не смогла приехать, – он рассказал нам, в чем состоит его предложение.

– Я хочу посвятить свою жизнь – по крайней мере, то, что от нее осталось, – малым и беззащитным, – сказал он. – Я хочу попытаться делать, конечно, в более скромных размерах, то, что делал в Лондоне аббат Каррон. Он устроил у себя нечто вроде приюта, отыскивал в эмигрантской колонии бедных сирот, мальчиков и девочек, поил их, кормил и одевал, а кроме того, давал им какое-то образование. Вполне возможно, что сейчас он это делает для моих собственных детей. Во всяком случае, я хочу заняться этим здесь.

По-моему, мы с Пьером просто онемели от удивления, настолько неожиданным показался нам проект Робера. Мое замечание о том, что он загубил свой талант, работая гравировщиком, было тогда сделано в шутку. Я никак не предполагала, что оно будет иметь какие-нибудь последствия. Что же касается Пьера, то у него были свои, довольно своеобразные взгляды на воспитание: дайте ребенку волю, он сам научится всему, что нужно. Этого метода он придерживался при воспитании собственных детей в своем безалаберном, хотя и веселом доме. И теперь, когда мы услышали заявление Робера, поразившее нас, как пушечный выстрел, мне было очень интересно, как будет на него реагировать Пьер. Я ожидала, что возникнет спор, который затянется до утра, поскольку в ход пойдут теории Жан-Жака и все прочее. Пьер же, к моему великому удивлению, отнесся к этому предложению с энтузиазмом. Он вскочил на ноги и хлопнул брата по плечу.

– Молодец! – закричал он. – Ты попал в самую точку. У меня уже есть на примете шестеро ребяташек – сыновья моих клиентов в Ле-Мане, – которых мы можем взять. Я могу учить их философии, ботанике и вопросам права, предоставив все остальное тебе. Плату мы назначим самую незначительную, денег на этом зарабатывать не станем. Только чтобы хватило заплатить за аренду дома и на еду для ребяташек. Софи, ты нам отдашь Пьера-Франсуа и Альфонса-Сиприена. Я не уверен, что нам подойдет моя троица, пусть они лучше работают на ферме. Но это означает, что нужно будет перебраться в Тур, а дом в Сен-Кристофе сдать внаем. Тур будет нашим центром. А что, если попытаться уговорить Эдме, чтобы она читала им лекции о политических свободах? Впрочем, лучше, пожалуй, не нужно, идеи у нее слишком передовые, а нам не следует идти против Гражданского Кодекса.

Энтузиазм Пьера оказался заразительным. Все мы с воодушевлением взялись за дело. Уже через два дня Пьер отправился в Тур в поисках подходящего помещения для будущего пансиона и, что еще важнее, для того, чтобы получить для «Братьев Бюссон» разрешение властей на учреждение «воспитательного дома» для сирот. Даже Франсуа, который по-прежнему относился подозрительно к начинаниям Робера, был вынужден признать эту новую идею достойной всяческих похвал, хотя и не сулящей особой прибыли. Он только заявил, что наши собственные дети не отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатам на прием в эту школу, поскольку у них имеется отец.

Нам понадобилось полгода для того, чтобы подготовить пансион для приема первой партии учеников. Он открылся в начале декабря тысяча восемьсот четвертого года в доме номер четыре по улице Добрых Детей, и я вспоминаю, что наше семейное торжество в связи с этим событием совпало с общенациональным праздником. Весь город был украшен флагами, улицы были запружены праздничной толпой, в связи с тем что Первый Консул Наполеон Бонапарт был коронован и отныне стал именоваться императором.

Я не знаю, насколько всеобщее воодушевление способствовало торжественному настроению моих братьев, но церемония открытия приюта получилась весьма трогательной. Когда Пьер и Робер стояли бок о бок, приветствуя своих первых учеников в большой квадратной

комнате на первом этаже старинного дома в центре Тура, который они сняли для своего пансиона, я подумала, что колесо совершило полный оборот, круг замкнулся и братья Бюссоны снова вместе, снова живут одной семьей. Такой общей жизнью они жили в детстве, на стеклозаводе в Шериньи или в Ла-Пьере. Они родились и были воспитаны для такой жизни. И хотя здесь, в Туре, не было стекловарной печи, хотя не делалось ничего руками, все-таки в этом было что-то общее, был один и тот же дух.

Мои братья были мастера-наставники, они передавали детям свои знания, внушали свой образ жизни, почти так же, как в свое время мой отец и дядья передавали свои знания и мастерство моим братьям, когда те были подмастерьями в Ла-Пьере. Здесь, на улице Добрых Детей, не было расплавленной стеклянной массы, не было стеклодувных трубок; мастера-стеклодувы не стояли у печи с трубкой в руке, вдывая жизнь в медленно формирующийся сосуд. На его месте были дети, их нежные податливые души, и мои братья должны были направлять процесс становления, придавая душе нужную форму – так же медленно и осторожно, как в свое время они придавали форму жидкому стеклу, – доводя каждую душу до зрелости, формируя законченную гармоническую личность.

У Пьера были идеалы, и он обладал самоотверженностью, с которой пытался воплотить эти идеалы в реальные дела, Робер же обладал способностью к убеждению, у него было необходимое учителю обаяние и изобретательность, с помощью которой он превращал урок истории в интереснейшее приключение.

Я видела живые, светящиеся надеждой личики этих мальчишков-сирот и единственной среди них девочки – это была малышка Белльде-Нюи – все двадцать человек, не отрывая глаз, смотрели на моих братьев, каждый из которых обратился к детям с короткой приветственной речью. Пьер, с его горящими голубыми глазами, так похожими на матушкины, с его волосами, торчащими словно щетка, мало чем походил на профессоров и педагогов, с которыми мне приходилось встречаться в Туре.

– Я нахожусь здесь, – начал он, – не для того, чтобы вас учить, но для того, чтобы учиться. Я давно позабыл все, чему меня учили, кроме разве законов, которые я пытался приложить к нашей повседневной жизни, когда был нотариусом в Ле-Мане. Я совсем ничего не знаю о

купле-продаже, но если вы будете спрашивать об этом у моего брата, это вам также мало поможет, ибо он потерял на спекуляциях все, что у него было. Зато я помню, где нужно искать лесную землянику и на какое дерево нужно залезть, чтобы найти гнездо сарыча, – для этого нужно летом отправиться в лес, что мы и сделаем с вами вместе. Сарыч – хищник, этот разбойник разоряет гнезда других птиц и поедает их птенцов. Его поведение антиобщественно, и за это другие птицы расправляются с ним, нападавая на него целой стаей. Людей, которые ведут себя подобным образом, постигает та же участь. Мы можем все вместе проследить цикл жизни какой-нибудь бабочки или мошки. А вы сами в этот период вашей жизни все равно что личинки или гусеницы, и очень интересно наблюдать, как вы растете и что из вас в конце концов получится.

Если у нас будут установлены какие-то правила, я в первую очередь буду соблюдать их сам. А если вы найдете нужным установить свои собственные, я тоже буду им подчиняться. У моей жены к вам одна-единственная просьба: не бросайте на пол пищу. Всякая еда, попадая на пол, смешивается с грязью, и от этого заводятся крысы, а крысы разносят чуму. А нам здесь, в Туре, чума вовсе не нужна. Сегодня вечером, если кто-нибудь захочет послушать, я буду читать вслух первые главы «Эмиля» Руссо. А если никто не придет, это тоже не важно, потому что я люблю слушать собственный голос, и я ни на кого не обижусь. А после этого я начну строить вольер для двух птичек со сломанными крылышками, которых моя дочь, Пивион-Белль-де-Нюи, привезла с собой из Сен-Кристофа, и если найдутся помощники, то милости прошу. Ну а теперь послушайте, что вам скажет мой брат, он старше меня на три года и, соответственно, более умный из нас двоих.

Пьер сел на свое место под вежливые, хотя и несколько растерянные аплодисменты, а Франсуа, который сидел рядом со мной, шепнул мне на ухо, что не пройдет и года, как этот пансион будет закрыт властями.

Робер поднялся на ноги. Волосы у него были покрашены для этого случая, составляя несколько странный, хотя и живописный контраст с новым камзолом цвета сливы. В руках он держал несколько листов бумаги, чтобы не было заметно, как дрожат руки.

– Жил на свете один мальчик, – заговорил он, – который отправился искать счастье на остров Мартиника. Домой он вернулся с пустыми руками – все, что у него было, он раздал людям, а себе оставил только красивый вышитый жилет и двух попугаев. Этот мальчик, теперь уже пожилой человек, только что говорил с вами. Нельзя сказать, чтобы он с той поры узнал о жизни больше, чем знал тогда. Что до меня, то я могу вас научить, как сложить все свое состояние в какое-нибудь сомнительное предприятие и потерять его в течение года. Однако не рассчитывайте, что мой брат или я сможем внести залог, чтобы взять вас на поруки и избавить от долговой тюрьмы.

Один английский поэт по имени Шекспир сказал, что жизнь это «повесть, рассказанная дураком, где много шума и страстей, а смысла нет». ^[53] Но он вложил эти слова в уста шотландского вождя, который убил своего короля, приехавшего к нему в гости. Принимая во внимание это обстоятельство, данное высказывание не имеет к вам прямого отношения, разве что кому-нибудь захочется встать как-нибудь среди ночи и убить меня или моего брата прямо в постели. Жизнь, напротив, безмолвна, в особенности в самом интенсивном своем проявлении, – тишина и безмолвие тюремной камеры, к примеру, дает прекрасную возможность для размышления, так же как когда ты бодрствуешь у гроба любимого тобой человека, с которым тебе не довелось проститься при его жизни.

В свое время, однако, вам придется пережить «шум и страсти», это когда придет ваш срок и вы, как послушные солдаты, пойдете сражаться за приумножение славы императора и Франции. Но пока вы находитесь здесь, в доме номер четыре по улице Добрых Детей, – интересное совпадение, не правда ли? Ведь мы нашли этот дом и эту улицу совершенно случайно – я буду стараться вселить в ваши непокорные души стремление к тишине. Сам я человек беспокойный – мечусь, словно лев в клетке, – и не могу оставаться на одном месте больше одной минуты, поэтому я с большим уважением отношусь к тем, кто на это способен. В некоторые периоды моей жизни я был вынужден находиться в тишине и неподвижности довольно долгое время – может быть, когда-нибудь я вам об этом расскажу, это будет зависеть от того, сколько я выпью.

«У маленьких кувшинчиков длинные ушки» – еще одна цитата из Шекспира, на сей раз из «Ричарда Третьего», – мне, видите ли, пришлось в свое время заняться английским языком, – и если вы будете держать на макушке свои собственные ушки, то услышите много поучительного о проделках разных людей, а также принцев. Ибо я могу говорить как человек, который был свидетелем расцвета Людовика XV, видел затем его несчастного наследника, а теперь преклоняет колена перед императором Наполеоном. История, литература, латынь, грамматика, арифметика – я могу быть наставником во всех этих предметах, по крайней мере, так считаю я – не знаю, что думает на этот счет мой брат, – и хочу, чтобы к тому времени, когда вы покинете эти стены и станете проливать кровь на полях сражений в Европе, вы с моей помощью приобрели основные сведения во всех этих науках, наряду с умением отыскивать лесную землянику, для того, чтобы, умирая, вы могли пробормотать: «*Virtuti nihil obstat et armis*»,^[54] что послужило бы вам утешением в данных обстоятельствах.

Я в юности придерживался другого правила: «*Video meliora proboque, deteriora sequor*»,^[55] вот потому у меня сегодня дрожат руки, мне приходится красить волосы, и я не призываю вас следовать моему совету.

А пока моя жизнь принадлежит вам. Дом этот ваш. Пользуйтесь и тем и другим на здоровье и будьте счастливы.

Робер сложил свои бумажки, поправил очки и сделал знак, что можно расходиться. Дети, которые на примере первой речи поняли, что нужно аплодировать, громко захлопали в ладоши – громче всех хлопала Белль-де-Нюи. И только мой муж, мэр Вибрейе, чрезвычайно шокированный, упорно разглядывал носки своих башмаков.

– Я считаю своим долгом поставить вас в известность, – сказал он моим братьям, как только дети скатились вниз по лестнице и помчались через маленький дворик в свои комнаты, – что, несмотря на наши родственные отношения, я принужден вычеркнуть название этого пансиона из списка, рекомендованных мэрией. Дети, которыми вы собираетесь руководить, не имеют никаких шансов чего-либо добиться в жизни. Из них вырастут либо негодяи, либо шуты.

– А мы все такие, – ответил Робер. – Либо то, либо другое. К какой категории ты причисляешь себя?

Это был не особенно удачный момент для семейной ссоры, и я взяла мужа под руку.

– Пойдем, – сказала я ему. – Я хочу, чтобы ты посмотрел дортуары. Пьер устроил их очень ловко, перегородил комнату на две половины.

Моя попытка проявить такт оказалась тщетной, потому что в этот момент к нам подошла Эдме, которая ради этого случая приехала из Вандома.

– Мне понравились обе речи, – сказала она со своей обычной прямоотой. – Только вы оба почему-то ничего не сказали о тирании. Первый урок, который должен усвоить каждый ребенок, состоит в умении видеть разницу между тираном и вождем, разве не так? И кроме того, ни один из вас ни слова не сказал о «Правах человека».

Пьер удивился.

– Но я же привел прекрасный пример тирании, когда говорил о сарычах, – сказал он. – Что же до «Права человека», то я внятно объясню им, в чем суть дела, когда мы в первый раз найдем в гнезде яйца и не тронем их, оставив лежать на месте. У птиц тоже есть права, так же как и у людей. Постепенно, мало-помалу, дети сами увидят все, что нужно.

Эдме, по-видимому, успокоилась, хотя и не вполне согласилась с доводами брата, и когда мы знакомились с домом, я заметила, как она поморщилась, увидев над дверями одной из спален выведенную огромными буквами приветственную надпись: «Vive l'Empereur»,^[56] которую написал один из мальчуганов.

– Это надо немедленно убрать, – спокойно заметила она.

– А чем ты предлагаешь ее заменить? – спросил Робер. – Ведь детям, так же как и взрослым, нужны свои символы.

– Лучше уж «Vive la nation»,^[57] – ответила она.

– Это слишком безлично, – возразил Робер. – Народ не может сидеть на белом коне на фоне трехцветного знамени и грозового неба. Ведь когда мальчики писали, они видели именно это. И ни ты, ни я не сможем их разубедить.

Эдме вздохнула.

– Ты, наверное, не сможешь, – отозвалась она. – Но если бы мне разрешили поговорить с ними хотя бы минут двадцать о призыве в

армию и о том, что это для них означает, они бы уж никогда не написали у себя на дверях «Vive l'Empereur».

Я не могла не порадоваться за моих братьев, что Эдме не пригласили читать лекции в пансионе на улице Добрых Детей, потому что, если бы это случилось, его закрыли бы не через год, как предсказывал Франсуа, а через три месяца.

Тем не менее пансион братьев Бюссон просуществовал более семи лет, хотя и не совсем в том виде, как предполагали Пьер и Робер. Дело в том, что законы, касающиеся образования, делались с каждым годом все более строгими, поскольку они входили в Гражданский Кодекс, и местные власти по всей стране были обязаны следить за их исполнением. Мальчикам пришлось посещать государственную школу, где занятия вели дипломированные преподаватели, и поэтому еретическим теориям моих братьев так и не суждено было осуществиться на практике. Пансион остался приютом для сирот, местом, где они ели и спали, но при этом каждый день ходили в школу.

По мере того как шло время, дети вырастали и покидали пансион, на их место приходили новые, бездомные и несчастные, столь любезные сердцу моего брата Пьера. Нечего и говорить, что они не могли платить за стол и кров и рассчитывали на милосердие Пьера. И пансион, на который возлагались такие большие надежды, превратился в ночлежный дом, в котором мог поселиться всяк, кто захочет, и где хозяином был Пьер, а Робер, стараясь как-то компенсировать полное неумение брата вести практические дела, репетировал в частном порядке учеников, которым нужно было сдавать экзамены.

Этой деградации, как говорил Франсуа, следовало ожидать. И действительно, можно было только удивляться, что заведение вообще как-то продолжало существовать. Мне грустно было смотреть, как ветшал дом, грустно было видеть некрашенные стены, грязные, неметеные лестницы. Когда же я приезжала в гости на улицу Добрых Детей, мне так не хватало смеха и болтовни детишек, которые жили там в первые годы, когда пансион только что открылся. Вместо этого из-за дверей раздавался хриплый кашель какого-нибудь немощного постояльца, а на лестнице, когда я спускалась во внутренний дворик,

где, бывало, играли ребятишки, непременно оказывалась какая-нибудь мрачная личность.

Ни Пьер, ни Робер, по-видимому, не замечали этих признаков упадка и разрушения. Они выбрали такую жизнь, и она, по-видимому, их устраивала. Светочем жизни обоих братьев была Белль-де-Нюи, ее сияющее личико превращало жалкий пансион в место радости.

У этой прелестной девочки, которой было суждено – слава богу, ни ее отец, ни дядя никогда об этом не узнали – умереть от туберкулеза, не дожив и до двадцати лет, были все достоинства, присущие нашему семейству, и ни одного его недостатка. Она была добра и великодушна, как ее отец, но обладала большей проницательностью, и ее великодушие носило более целенаправленный характер. Она была так же умна, как Эдме, но ни к кому не испытывала враждебных чувств и никому не завидовала. Она великолепно рисовала, и, если бы ее таланту суждено было развиваться, она могла бы стать настоящей художницей. В моем шкафчике в Ге-де-Лоне до сих пор хранится папка, в которой аккуратно сложены ее рисунки. Она единственная из всех детей Пьера извлекла пользу из его системы воспитания. Его сыновья, отслужив военную службу, сделались ремесленниками: Жозеф поселился в Шато-дю-Луар и стал там шорником, а Пьер-Франсуа, тезка моего сына, работал парикмахером в Туре.

– Естественный результат отсутствия заботы о детях, – говорил, бывало, мой Франсуа. – Эти молодые люди при правильном воспитании могли бы получить какую-нибудь интеллигентную профессию, например врача или адвоката.

Но все равно они были талантливый – у них были талантливые руки. Я видела изделия из кожи, изготовленные Жозефом с той же любовью, которую гравировщик вкладывает в свои бокалы или кубки, и парики Пьера-Франсуа – сама императрица не погнушалась бы надеть такой. Никакой труд не может быть унижительным, если человек работает с любовью. Мой отец передал свою страсть к созиданию внукам, которых он никогда не видел.

– Пусть каждый занимается тем, к чему он способен, – говорил Пьер. – Мне все равно, что они делают, лишь бы это делалось с душой и как можно лучше.

Эти слова стали его эпитафией. Однажды, когда он ловил рыбу на берегу Луары, он увидел, как с противоположного берега в воду бросилась собака за палкой, брошенной хозяином. Собака билась посередине быстрого потока, испуганно молотя лапами по воде, и Пьер, быстро сняв камзол, поспешил ей на помощь. К собаке, когда она увидела избавителя, вернулось присутствие духа, она повернула назад и благополучно добралась до берега. Но у Пьера, которому к тому же мешала одежда, сделалась от холодной воды судорога, и он пошел ко дну. Хозяин собаки поднял тревогу, на воду спустили лодку, но было уже поздно. Тело нашли только через три дня.

Этот порыв Пьера, стоивший ему жизни и причинивший такое горе близким, имел свои последствия. Одно из них никогда не осуществилось бы, если бы он был жив. Это иногда заставляет меня думать, что смерть Пьера не была такой уж бессмысленной.

Трагедия произошла в апреле тысяча восемьсот десятого года, за несколько дней до того, как ему должно было исполниться пятьдесят восемь лет, и незадолго до двадцать девятого дня рождения Жака. В это время в Париже состоялись праздничные торжества по случаю бракосочетания императора с Марией-Луизой Австрийской. Полк Жака с тысяча восемьсот седьмого года был частью «Великой Армии», он принимал участие в сражениях по всей Европе, и поэтому его назначили нести караул в столице во время свадебных торжеств.

Как только я услышала о несчастье с Пьером, я тут же написала Жаку, чтобы он мог послать письмо тетушке и кузенам с выражением соболезнования. Я никак не предполагала, что ему удастся получить отпуск.

Мы с Франсуа и нашей дочерью Зоэ, которой минуло семнадцать лет, поехали на похороны в Тур и задержались там на несколько дней, намереваясь пригласить мою невестку Мари и ее дочь Белль-де-Нюи к нам погостить.

Девочка – ей было уже четырнадцать лет – обожала отца, но всячески старалась подавить свое горе, ухаживая за матерью. Мы как раз готовились к отъезду и находились с ней в ее комнате, когда она вдруг повернулась ко мне и сказала:

– Я не знаю, правильно ли я поступила, тетя Софи, но я написала Жаку и сообщила ему, что у нас случилось.

– Я сделала то же самое, – успокоила я ее. – Я не сомневаюсь, что он скоро напишет и тебе, и твоей маме.

Она украдкой посмотрела на меня и добавила:

– Я просила его, чтобы он приехал. Сказала, что он нам здесь нужен.

Эта новость встревожила меня. Ни к чему было повторять сцену, которая разыгралась здесь семь лет тому назад. Смерть Пьера потрясла старшего брата, здоровье его пошатнулось, и если бы его еще раз оттолкнули, он бы просто не выдержал.

– Это было не очень разумно, Белль-де-Нюи, – сказала я ей. – Ты же знаешь, Жак не хочет встречаться с отцом и разговаривать с ним. Помнишь, он никогда не приезжал в отпуск в Тур, если твой дядя был дома, а только тогда, когда тот был в отлучке.

– Я прекрасно это знаю, – сказала она, – но папа всегда мечтал, что они когда-нибудь помирятся. И мне кажется, что сейчас для этого самое подходящее время. Вот посмотрим.

Я не знала, стоит ли предупредить Робера или лучше оставить все, как есть. Я была уверена, что из-за праздничных торжеств Жаку не удастся получить отпуск, однако я ошиблась. Я так никогда и не узнала, каким образом Белль-де-Нюи удалось его уговорить, уверена, что мои собственные просьбы остались бы безуспешными. В тот вечер я спускалась по старой лестнице во внутренний дворик вместе с Робером и задержалась на минуту, положив руку на резные перила. Вдруг я услышала восклицание Белль-де-Нюи, которая приветствовала кого-то в воротах под аркой, ведущей на улицу.

Я сразу почувствовала, кто это, и сделала движение, чтобы повернуть назад.

– В чем дело? – спросил Робер. – Если пришли выразить сочувствие, девочка отлично справится сама.

Они вышли из-под арки вместе: Белль-де-Нюи в своем черном траурном платье и Жак в форме капрала-фузильера. Мальчик стал взрослым человеком, он по-прежнему был невысок, но сильно раздался в плечах и превратился в плотного, коренастого мужчину. Я бы никогда его не узнала, если бы не голубые глаза и копна русых волос.

Они стояли внизу и смотрели на нас, и я почувствовала, как побледнел Робер. У него, наверное, возникло такое же желание, как и

у меня, потому что он повернулся и медленно, спотыкаясь, стал подниматься по лестнице.

– Нет, дядя, не уходите! – крикнула ему снизу Белль-де-Нюи. Ее голос звучал ясно и отчетливо, словно приказ. – Командир дал Жаку отпуск на два дня, а после этого полк направится в Испанию. Жак приехал, чтобы поздороваться с вами.

Робер остановился. Рука его, лежавшая на перилах, дрожала.

– В прошлом году я получил медаль за Ваграм, – сказал Жак. – Если тебе интересно, я могу ее показать.

В его голосе уже не было прежней резкости и высокомерия. Напротив, он говорил с уважением, даже с некоторой робостью. Робер снова обернулся и посмотрел на своего сына. Он уже больше не красил волосы, они были совершенно седые, как у Пьера, и ему вполне можно было дать его шестьдесят лет.

– Я слышал, что тебя наградили, – сказал он. – И больше всего на свете хотел бы увидеть твою медаль.

Жак быстро взбежал вверх по лестнице к нам. Я тут же спустилась вниз во двор, где стояла Белль-де-Нюи. Мы не нужны были при этой встрече. Обернувшись через плечо, я увидела отца и сына, они стояли на повороте лестницы. Потом Робер взял сына под руку, и они пошли наверх к нему в комнату.

На следующий день мы уехали в Ге-де-Лоне, а Жак провел оставшиеся двадцать четыре часа своего отпуска вдвоем с отцом. Я могла только догадываться, что означало для них двоих это примирение.

Мне почти нечего добавить к тому, что здесь рассказано о моем старшем брате. Несмотря на мои уговоры бросить пансион и переселиться к нам в Ге-де-Лоне, он не хотел этого делать. Мне кажется, он чувствовал, что Пьеру это было бы неприятно.

– Пусть он будет открыт, – говорил брат, – пока у меня хватает на это средств.

Однако после того как вдова Пьера вернулась в Сен-Кристоф, взяв с собой Белль-де-Нюи, – после смерти мужа она не могла больше оставаться в Туре, – старый дом лишился озарявшей его радости, а вместе с этим ушло и все то, что привязывало брата к жизни.

В течение следующей зимы Робер очень ослаб и постарел и так же, как в свое время Мишель, стал жаловаться в своих письмах на

одышку. Он продолжал заниматься репетиторством, готовил учеников к экзаменам, потому что молодые лица остались единственной его радостью, напоминая ему не только Жака и Белль-де-Нюи, но и его семью по ту сторону Ла-Манша, о существовании которой никому не было известно, кроме меня.

Он говорил мне о них, когда мы виделись в последний раз, это было в мае тысяча восемьсот одиннадцатого года, примерно через год после смерти Пьера.

– Если они все еще живы, – говорил мне Робер, – моему второму Жаку сейчас должно быть восемнадцать, Луизе – столько же, сколько Белль-де-Нюи, ей скоро сравняется шестнадцать, а Луи-Матюрену минуло четырнадцать. Я все время думаю о том, что они, наверное, стали настоящими англичанами и отвергают все французское, даже французский язык.

– Сомневаюсь, – возразила я. – Когда-нибудь, лет через десять—двадцать, а может быть, и все тридцать, они вернутся домой.

– Возможно, – согласился брат. – Только меня уже здесь не будет.

Он помахал рукой из окна своей комнаты в доме номер четыре по улице Добрых Детей, поскольку я не разрешила ему проводить меня до дилижанса, который отправлялся обратно в Вибрейе, – это было бы слишком большой нагрузкой для его сердца. Мне было грустно с ним расставаться, у меня были дурные предчувствия. В пансионе оставалось не более десятка человек, все это были чужие люди, не способные ухаживать за ним, если он заболит.

Месяц спустя, второго июня, приблизительно в три часа дня, поднимаясь из внутреннего дворика к себе в комнату, Робер упал прямо на лестнице, – по-видимому, сгусток крови закупорил один из сосудов сердца. Там его и нашел кто-то из постояльцев, и он умер несколько минут спустя.

Его отнесли наверх в его комнату, положили там на кровать и стояли возле него, не зная, что делать и за кем послать. Он пытался что-то сказать и не мог, им показалось, что ему не хватает воздуха, и они открыли окно. До сих пор, хотя прошло уже тридцать лет, мне больно, что мой брат умер среди чужих людей.

Эпилог

Мадам Дюваль отложила перо шестого ноября тысяча восемьсот сорок четвертого года, за день до того, как ей исполнился восемьдесят один год. Ей понадобилось немногим более четырех месяцев для того, чтобы написать историю своей семьи, и в течение этого времени она вновь мысленно пережила многие эпизоды, которые считала давно забытыми. Она ясно видела родные лица – видела своего отца Матюрена, мать Магдалену, трех своих братьев: Робера, Пьера и Мишеля, сестру Эдме.

Она пережила их всех, даже своего племянника Жака, который был тяжело ранен в январе тысяча восемьсот двенадцатого года и умер в июне того же года, вскоре после того, как вышел из госпиталя, пережив своего отца всего на один год.

Эдме, бедная Эдме, как она мечтала о том времени, когда все люди объединятся, образуя «*communauté des biens*»,^[58] когда наступят всеобщее равенство и счастье! Реставрация монархии была для нее шоком, от которого она не могла оправиться до конца своей жизни. Одинокая и разочарованная, она продолжала жить в Вандоме, рассказывая всем, кто соглашался слушать, о великих днях революции и о Конституции девяносто третьего года. Одержимая страстью к реформам, она писала бесконечные статьи, касающиеся будущей политической системы, которые не осмеливался напечатать ни один издатель в Вандоме, и умерла в возрасте немногим более пятидесяти лет, «*sans fortune et sans famille*»,^[59] республиканкой до последнего вздоха.

Франсуа Дюваль дожил до радостных событий – его сын Пьер-Франсуа сменил отца на посту мэра Вибрейе, а дочь Зоэ вышла замуж за доктора Розию, – прежде чем упокоился на кладбище в Вибрейе, рядом со своим другом и партнером Мишелом Бюссон-Шалуаром.

Стеклозаводы, основанные и расширенные Матюреном Бюссоном более века тому назад, работают и процветают, хотя и без участия кого-либо из членов его семьи.

В восемьдесят первый год своего рождения, несмотря на прохладное время года и угрозу дождя, мадам Дюваль уговорила

своего сына-мэра отвезти ее в Ла-Пьер; она хотела выйти из коляски к воротам и посмотреть сквозь железные прутья на шато и расположенную возле него стекловарню.

Дом был закрыт, его владельцы находились в Париже, но из печной трубы поднимался дым, и воздух был напоен знакомым горьковатым запахом древесного угля. Между стекловарней и сараями сновали рабочие с тачками, рядом стояла телега, запряженная двумя лошадьми, в ожидании погрузки, а из сарая со смехом и шутками вышли три мальчика-подмастерья, неся в руках ящик с товаром. На некотором расстоянии, отделенные от завода широкой поляной, расположились домишки рабочих; кое-где возле открытых дверей стояли женщины, с интересом разглядывая экипаж. Воспользовавшись скудными лучами осеннего солнца, они разложили на траве выстиранное белье. Прозвонил колокол, возвещающий конец дневной смены, из стекловарни и сараев стали выходить рабочие и собираться в группы. Так же как и женщины, они бросали любопытные взгляды на стоявший в отдалении экипаж.

– Ну как, ты все увидела, что хотела? – спросил Пьер-Франсуа Дюваль, мэр Вибрейе. – Мы привлекаем всеобщее внимание.

– Да, – ответила его мать. – Я увидела все, что хотела.

Она снова села в коляску и еще некоторое время смотрела в открытое окно экипажа. Здесь ничего не изменилось. Это по-прежнему была община, небольшое сообщество мастеров и рабочих, безразличное и даже враждебное окружающему миру, со своими установленными правилами и обычаями, которые облегчали им жизнь. То, что они сделали своими руками, разойдется по всей Франции, попадет в Европу, а потом и в Америку. И конечно же, каждый предмет будет носить на себе отпечаток, оставленный на нем первыми мастерами, которые работали здесь многие годы тому назад, работали с любовью и гордостью, передав в наследство нынешнему поколению свои старые традиции. В последнем взгляде, который бросила мадам Дюваль на Ла-Пьер, дом своего детства, запечатлелась стекловарня и окружающие ее строения, освещенные на мгновение бледным ноябрьским солнцем, окруженные, словно защитной стеной, высокими деревьями подступившего к ним леса, который был источником силы и самой жизни для стекловарной печи, ибо это он кормил горевший в ней огонь.

В тот вечер она собрала все исписанные листки, перевязала их лентой и отдала пакет своему сыну с просьбой передать его ее племяннику Луи-Матюрену, живущему в Париже.

«Даже если он не станет читать это вслух, – сказала она себе, – или опустит те части, в которых его семья, и в особенности отец предстает в не слишком благоприятном свете, это не имеет значения. Я все равно исполнила свой долг, рассказав всю правду».

Самое главное, это чтобы бокал перешел к его сыну Джорджу, к тому, которого они называют Кики.

Мадам Дюпон подошла к окну и открыла его, прислушиваясь к шуму дождя, шелестевшего в ветвях деревьев. Даже здесь, в своем доме в Ге-де-Лоне, ей казалось, что люди, которых она так любила, это тесное сообщество из далекого прошлого, находятся здесь, рядом, возле нее. Мужчины в Шен-Бидо и в Ла-Пьере скоро отправятся на работу в ночную смену, женщины будут готовить им кофе, и хотя она сама уже не живет среди них, дух прошлого жив в ней по-прежнему.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Крестьянские мятежи, разжигаемые роялистами во время Великой французской революции. Названы по главному очагу контрреволюции в 1793 г. – департаменту Вандея.

Члены политической группировки (жиронды), представлявшей преимущественно республиканскую торгово-промышленную и земледельческую буржуазию. Название получила по департаменту, откуда были родом многие депутаты группировки.

Мирный договор, заключенный между Францией и Великобританией в 1802 г.

4

Королева Венгерская (фр.).

5

Около ста седемдесети пати сантиметров.

6

Поместный дом или замок в имени землевладельца (фр. chateau).

7

Стремление к знатности и богатству (фр.).

Торговый календарь (фр.).

9

Безответственный (фр.).

10

Владелица, хозяйка поместья (фр.).

Граф д'Артуа (1775–1836) – младший брат Людовика XVI, будущий король Франции Карл X (1824–1830).

Красная лошадь (фр.).

Английский фарфор.

Господин (фр.) (в официальных бумагах).

Женщина-мастер стекольного дела (фр.).

Имеется в виду Жан-Жак Руссо.

Мануфактура хрусталя и глазури под покровительством королевы (фр.).

«Женитьба Фигаро» (фр.).

Главный судебный распорядитель Франции (фр.).

Королевская люстра (фр.).

Откупщик (фр.).

Жак Неккер (1732–1804) – министр финансов Франции в 1777–1781, 1788–1790 гг. Сыграл значительную роль в подготовке Генеральных штатов, частичными реформами пытался спасти государство от финансового краха.

Податное население Франции XV–XVIII вв. – купцы, ремесленники, крестьяне, с XVI в. также буржуазия и рабочие. Дворяне и духовенство (первые два сословия) не облагались налогами.

«Опасные связи» (фр.).

Да здравствует герцог Орлеанский! Да здравствует отец народа!
(фр.).

Да здравствуе Третье сословие! Да здравствуе Неккер! (фр.)

Да здравствует Людовик Шестнадцатый,
Да здравствуют этот доблестный король,
А также мсье Неккер
И наш добрый друг герцог Орлеанский! (фр.)

Суд в Париже до революции; тюрьма при нем.

«Красная шапочка» (фр.).

«Совершенство и почет» (фр.).

Ложа св. Юлиана «Тесное содружество» (фр.).

Смерть им... смерть... (фр.)

Бешеные (фр.).

Менада (гр. *mainas* [*mainados*]), букв. «бешеная, иступленная». В Древней Греции – жрица бога вина и веселья Вакха (у римлян – Дионис).

Консьерж – привратник, швейцар (фр. concierge).

Ассигнаты – бумажные деньги периода Великой французской революции, обращались в 1789–1797 гг.

«Клуб маленьких людей» (фр.).

Знаменитая песня времен Великой французской революции.

Музыкальная пьеса, имитирующая колокольный перезвон.

Дело пойдет, аристократов на фонари,
Дело пойдет, аристократам конец! (фр.).

Дело не пойдет (фр.).

Ришар, о мой король, все покинули тебя (фр.).

«Друг народа» (фр.).

«Тебя. Боже...» (лат.) («Тебя, Боже, славим» – католическая молитва.)

Да смилуется над тобой Всемогущий Господь (лат.).

Жирондисты—члены политической группировки, представляли преимущественно республиканскую торгово-промышленную и земледельческую буржуазию. Название дано по департаменту Жиронда, откуда были родом многие депутаты группировки.

Контрреволюционные мятежники, действовавшие на северо-западе Франции в 1792–1803 гг. (фр. chouans).

Эхо свободных людей (фр.).

Пион, красавица ночи (фр.).

Английский хрусталь.

Лондонское простонародье: язык этой части населения Лондона.

Сторонники Бабёфа.

«Макбет», акт V, сцена 5. Перевод М. Лозинского.

Храбрый не отступает ни перед чем, даже перед силой оружия
(лат.).

Вижу хороший пример, но следую дурному (лат).

Да здравствует Император (фр.).

Да здравствует народ (фр.).

Содружество добрых людей (фр.).

Без средств и без семьи (фр.).